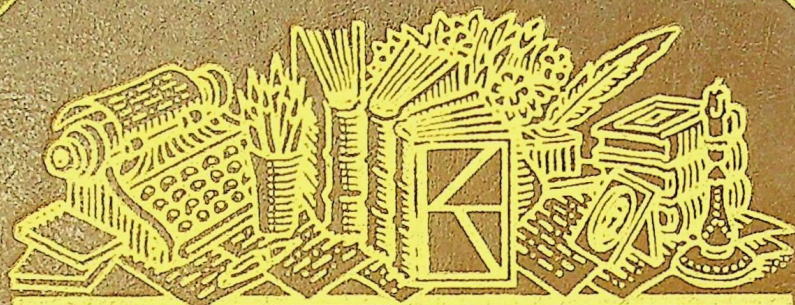




ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. ВАРЖАПЕТЯН
ПУТНИК СО СВЕЧОЙ

Лети, созвездье человечесье,
Все дальше, далее в простор
И перелей земли паречья
В единый смертных разговор.

Велимир Хлебников
«Ладомир»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. ВАРЖАПЕТЯН
ПУТНИК СО СВЕЧОЙ

ПОВЕСТИ О ЛИ БО,
ОМАРЕ ХАЙЯМЕ, ФРАНСУА ВЬЙОНЕ

282415.
БИБЛИОТЕКА РГБ

Инв. № 282415

МОСКВА «КНИГА» 1987

Вступительная статья *Б. Ш. Окуджава*

Рецензенты: *Г. И. Айдинов*;
кандидат филологических наук, *Л. Е. Бадьякин*;
доктор филологических наук, *Ч. Г. Гусейнов*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера,
Н. А. Яцука

Художник *А. Антонов*

Общественная
редколлегия серии:
Д. А. Гранин, А. М. Зверев, Ю. В. Манн,
Э. В. Переслегина, Г. Е. Померанцева, А. М. Турков

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вардван Варжапетян написал три небольших романа, три повествования о великих поэтах далекого прошлого.

Я отношусь к числу почитателей автора. Мне приятно размышлять о его работе, и главным образом о ее литературной стороне, потому что, как бы ни погружался писатель в исторические дебри, с каким мастерством ни распоряжался бы историческими реалиями, для меня он представляет интерес прежде всего как художник.

Что пользы сравнивать объемы труда, затраченного на архивные разыскания или на поиски магического кристалла? Настоящий художник всегда кропотлив, трудолюбив и прилежен. Разве большие усилия расходуются на изучение документов, чем на хождение по улице и беседы с воображаемыми персонажами или на то, чтобы со страстью закоренелого эгоиста сосредоточиться на себе самом, осмысливая собственный опыт?

В общем, не отмечая знание исторического материала как особую заслугу, я могу сказать, что автор хорошо знаком с архивом, что также подтверждает его добросовестность и профессиональную зоркость. Конечно, переизбыток сведений о прошлом, недостаточно отжатый, не всегда относится к числу заслуг, но это уже о другом...

Иное дело фантазия художника, ее размах, ее пределы. Какую задачу ставит перед собой автор, изображая историческую личность? Намерен ли он обстоятельно и достоверно пересказать мне лишь биографию героя, или ему необходимо раскрыть его сущность? И, наконец, буду ли я, читая, примитивным соучастником и сопереживателем этой жизни и только, или же я, соучаствуя и сопереживая герою, буду с напряжением задумываться о жизни своей?

Герои романов В. Варжапетяна — будь то Омар Хайям, Франсуа Вийон или Ли Бо — люди разные, из разных эпох, по-разному оценивающие окружающий мир, обладающие различными темпераментами и несовместимыми объемами житейского благополучия, но это люди, имеющие одно общее свойство — стремление к Добру. Я вижу, как горячо и непреклонно в них это свойство.

Но стремление к Добру — это не развлекательная прогулка в пространстве, населенном приятными собеседниками, и во времени, насыщенном благородными порывами. Это, к сожалению, прежде всего — путешествие сквозь Зло по просторам маловеликодушной реальности, через препятствия, нагроможденные несовершенствами действительности и наших собственных душ.

Видимо, это и лежит в основе наших судеб, что принято именовать *трагичностью*. Мы сами, находясь в плену у маленьких страстей, этого подчас не осознаем. Но это с очевидностью осознают

и ощущают *они*, те самые, в ком велика природная способность к познанию сути. И я понимаю желание автора вскрыть художественными средствами природу этого вечного конфликта между потребностью Добра и необходимостью Зла. И если в этом трагичность судьбы великого поэта — это в чем-то, в какой-то малой степени и наша судьба. Может быть, это звучит и тривиально, но что поделать? Нужно только не воспринимать трагичность судьбы как трагичность житейских обстоятельств. Это — *мироощущение*.

Заурядная личность страдает от несовершенств окружающего мира, великая — от того же и еще от несовершенств собственных, которые-то и лежат в основе мирового конфликта. Скорбь о несовершенстве, словно большая грустная река, текущая среди племени людей из века в век, всегда одна и та же для каждого из поколений. А легкая дрожь, охватывающая меня при слове трагический или трагическое в судьбе поэта, — не что иное, как дань давнему ханженству, еще не искорененному мной: чем-то предосудительным веет от сочетания *поэт и печаль*. Но разве это печаль? Это же естество. Истинный поэт не может существовать вне конфликта с окружающим его миром — ни древний поэт, ни нынешний. Разве что-нибудь меняется в главном оттого, что гений сытно ест и сладко спит на мягком ложе, благополучно доживая до глубокой старости?

Меня так и подмывает навязать автору для очередных раздумий, для нового исследования образ иного великого предшественника, дожившего до преклонных лет, обстоятельства жизни которого не преминут явиться подтверждением нехитрой мысли, что трагичность мышления не противоречит добротному и respectable житейскому успеху.

Каждый нерв героев, каждая клеточка мозга — все обострено до крайности. И всякий, даже самый пустяковый укол действительности — причина страдания за себя, за меня, за нас за всех. И все эти герои, мудрые, опытные, всезнающие, обремененные внешним благополучием или раздражаемые страстями и даже побиваемые камнями, — все они в равной степени кажутся беспомощными детьми пред ликом, как это принято говорить, самой Судьбы, если подразумевать под этим эпоху и общество с его предрассудками. Они преисполнены любви, и сострадания, и удивления, ибо нельзя творить Добро, пренебрегая элементарной добротой, как нельзя любить все человечество, не испытывая любви к ближнему.

Сказка? Но это все было, и было именно так, как и реальная гибель без надежды на чудесное воскрешение, хотя где-то за рамками сюжета подразумевается, что Добро все-таки побеждает.

«В ту ночь я лежал без сна, глядясь в свои годы...» — из письма Ли Бо.

Искусство вглядываться в свои годы в высшей степени интимно и требует высокой духовной подготовки. Умеющий «вглядываться» склонен к самоисповеди: Когда мы размышляем о себе, о своем предназначении, о месте среди себе подобных, мы исповедуемся перед самими собой. Исповедуясь, мы совершенствуемся, преодолевая еще одну ступень на пути к нравственному идеалу.

Я прочитал эти три небольших романа-притчи с волнением и сочувствием, и не только потому, что к этому располагает историческое амплуа героев, их загадочная судьба, но главным образом благодаря искусному и вдохновенному перу, придававшему страницам дыхание подлинности, благодаря тому, что вот передо мной слились в одно целое и скудные архивные сведения, и выкрикнутое великими поэтами за их короткую жизнь. Авторское горячее усердие изобличает в нем очевидца тех, не посещенных мною, времен, ибо философская концепция, выраженная с художественной убедительностью и страстью, — разве это не благодатная почва для размышлений о нашей собственной жизни и о смысле жизни вообще?

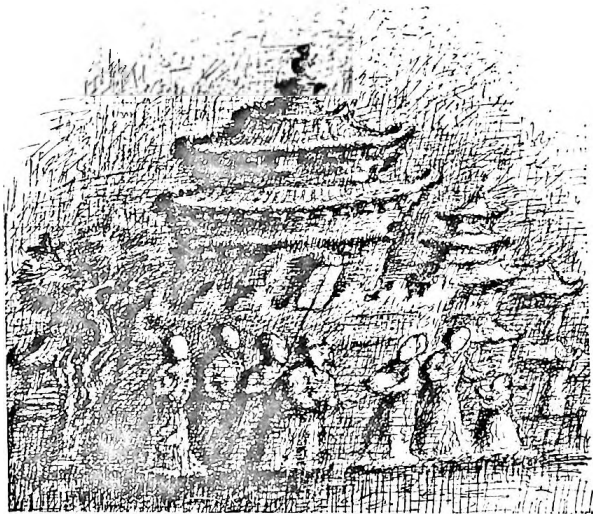
...Таковы мои самые общие впечатления после прочтения романов В. Варжапетяна. И я думаю: пусть поэзия бессильна внезапно преобразить, облагородить и улучшить мир, зато этот мир, может быть, и не погиб до сих пор благодаря ей, ее усердию, уравновешивающему Добро и Зло.

25.12.85

Москва

Б. Окуджава

*Памяти моей матери
Анастасии Петровны*



ПУТНИК СО СВЕЧОЙ

Древний поэт брал в руки свечу
и с нею гулял по ночам.
Большой был в этом смысл!

Ли Бо

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Сын!

У дверей моей тюрьмы уже весна, а у нас здесь нет ничего зеленого. Горько писать, вздрагивая от короткого свиста меча и стука отрубленных голов. В горах тигр не смел меня тронуть — в стране людей захлопнули дверь тюрьмы.

Вспоминаю персиковое дерево, которое я посадил перед разлукой с Пинъян и тобой к востоку от моей верхней комнаты. Наверное, высоко оно поднялось, листья его окутаны розовым туманом. Годы не ждут нас... Я вижу, как Пинъян сломала цветущую ветвь, но не

может показать мне цветы и плачет, слезы текут по ее щекам. А ты стоишь рядом и смотришь, отыскивая мой след. Одиноко стоите вы под персиковым деревом, и некому погладить вас по голове.

Когда-то, мой сын, ты катался в маленькой тележке, в которую твоя мать запрягала белую козу, а сейчас ты строен и широк в плечах.

Прошлой ночью я сильно продрог — земляной пол был холодный как лед, и сердце было ледяное. Открыл глаза — бумага окна посветлела от одинокого сияния луны, во дворе гремел на ветру бамбук.

Когда идешь по бамбуковому полу, листья гремят, как железные. Издалека слышишь — кто-то идет. Издалека слышат — ты идешь.

В ту ночь я лежал без сна, вглядываясь в свои годы.

Ты, конечно, слышал, как воробей и цикада смеялись над птицей фэн¹, не веря, что она пролетает тысячи ли² без остановки: «Уж мы-то знаем, что иной раз можно долететь даже вон до того вяза, но и это получается не каждый раз. Очень часто случается упасть на землю прежде, чем до него долетишь. Все эти разговоры о полетах на многие сотни ли — чистая болтовня».

Мой сын, не верь воробьям и цикадам, даже если они тысячи раз окажутся правы — их правота не стоит и медной монеты, она не имеет ничего общего с правдой, умножающей познание и возвышающей дух. Следи, не отрывая глаз, за редкой птицей: ее правое крыло закрывает крайний запад, а левое покрывает пустыни востока; когда ее охватывают границы земли, а в полете она охватывает границы небес; она вьет гнездо там, где ничего нет, и дом ее — в пустоте.

Большую часть своей жизни я провел в пути, указанном Лао-цзы³. Но чем больше я становился похож на совершенного мужа, тем меньше становился похож на Ли Бо. Я стремился постичь Дао, но, постигая его, затруднялся постичь Ли Бо. Я освободился от страстей, стремлений и желаний, как учил Будда, но, заглянув в себя, увидел одинокого светлячка. Душа моя стала великой белизной, которую увидела во сне моя мать, когда я лежал, свернувшись комом в ее чреве, но разве я был рожден все понять и ничего не прибавить? Жизнь моя стала тушью, сам я — кистью из кроличьей шерсти.

...В ту ночь прощания с жизнью я лежал без сна, слыша смех палача и стражников. Впору и мне было смеяться: переплыв моря, утонуть в капле... От горестных мыслей меня отвлек шорох за стеной, словно скреблась мышь. Я прислушался и забыл — до нее ли мне было? У нее свои заботы, у меня свои.

¹ По преданию, птица фэн появляется, когда в мире торжествует Добро.

² Ли — 576 м.

³ Лао-цзы (VI—V вв. до н. э.), автор трактата «Дао дэ цзин», родоначальник даосизма (от дао — путь и с — ученый, т. е. даос — ученый даосского толка). Дао — путь жизни, путь постижения Истины бытия, путь гармоничного слияния с природой.

Шуршание смолкло, потом послышалось снова. Я обернулся и увидел, как в щель между бревнами посыпались зерна. Проросшие зерна овса струйкой стекали в мои ладони. Набралась горсть, а я был голоден. Разжевал зерна, не зная, кто же послал их мне — небо или человек? Наверное, человек, потому что вскоре я услышал ругань стражников, громы колодок. Потом голоса обогнули тюрьму и я снова услышал их — надменные, грубые. И — стук, который ни с чем не перепутаешь: голова падает на твердую землю.

Кто он был, тот несчастный, что, не думая о своей смерти, задумался, не голоден ли я, и молча отдал последнее, что имел на этом свете? Мы часто сожалеем, что нет больше доблестных мужей — и это справедливо, но кем же, если не великим, назвать того, кто наполнил мои ладони зерном, а сердце — благодарностью и скорбью о несовершенстве мира?

В ту ночь я, как и он, ждал смерти. Долго сидел на земляном полу, торопился написать госпоже Цуй и тебе, как печалюсь о вас, о могилах предков, которые никогда не обмету ивовым веником. Я молил небо не оставить вас, когда свершится великое событие.

Когда исполняют казнь по суду, двое готовятся к ней — приговоренный и палач. Палач проверяет остроту меча или прочность шелкового шнура, приговоренный думает о перерождении. Сердце его крошится от ужаса, как ледяная глыба.

Люди неглубокого ума часто повторяют: все рождается, чтобы умереть, приводя в подтверждение своих слов, что они видели смерть. Действительно, и туфля нечаянно топчет муравья, и пустельга бьет перепелку, и человек умирает от болезней и несчастных случаев, и в бою погибают сразу десять тысяч воинов. Но все это чужие смерти. А свою смерть никому не дано видеть.

Я знаю — не все из того, что здесь написано, ты поймешь сейчас, и не собираюсь, как это принято у конфуцианцев, к каждой строке писать сто строк домыслов и пояснений; одно ты поймешь сейчас, другое — через десять лет, третье — лет в пятьдесят. Ты станешь взрослым, но какое бы имя ты ни принял, помни: ты Ли Байцин — сын Ли Бо. Мой сын.

Днем даже сильный ветер не слышен. Ночью лежишь без сна, а ветер шумит, то отдаляясь, то набегая, как волны Янцзы, — без конца. Всю ночь скрипит старая сосна.

Вздыхая, встаешь, зажигаешь светильник и долго смотришь на кисть, почему-то медля взять ее из подставки. А тут сильный порыв загасит пламя, о стену ударит еловая шишка и вздрогнешь — то ли от холода, то ли от одиночества... Даже собственной тени не видно. Совсем один.

Уж лучше ветер, чем дождь...

Тюрьма, в которую брошен, называется «Умиротворенный покой». Скрипит сосна за решеткой. Скрипит тюрьма. Не хочется зажигать огонь, все равно на таком ветру ему не гореть — ветер раздувает пожар, а светильник гасит. Хотел бы прочитать «Записки» Сыма Цяня. Тюрьма, в которой томился величайший наш историк, называлась «Яшмовое благополучие»; благополучие же было тако-

во, что истинный муж сидел голым, со связанными руками и ногами, с колодкой, веревкой на шее, а его били палками. Концы их сейчас окрашивают красным, чтоб кровь была не так заметна; когда человека бьют, он громко кричит — поэтому нас, наказанных, еще называют «мясными барабанами».

Лошадь погоняют криком «Юй, юй!», кур скликают — «Ачи, ачи!» А поэтов?

В прошлом письме, сын, я писал тебе об императоре Цао Пи и брате его Цао Чжи. Император поверил злым словам, сказанным о брате, и велел ему явиться во дворец. Войдя и встав на колени, Цао Чжи увидел шелковый шнурок на атласной подушке, отчего горло его сразу зачесалось, и сглотнул слюну. Прежде чем поднести шнур брату, император повелел ему сочинить строки о братьях, причем слово «братья» не должно было упоминаться. Семь шагов отделяли Цао Чжи от шнура в руках брата, и за эти последние семь шагов надлежало сложить стихи. С тех пор они так и зовутся — «Строки семи шагов».

Чтобы сварить бобы, зажгли ботву.
Бобы в котле заплакали:
Ведь мы одного корня,
Зачем же вы так торопитесь сварить нас?¹

Сколько прекрасных песен сложено в клетке...

Видишь, мой сын, так было до меня, так и при мне. Но жаль, что пришлось в мои вечерние годы думать о смерти в одиночестве...

Близкие — далеко. Бесконечное — рядом. В такую ночь кажется: даже звезды унесло ветром, закружило по водам небесной реки.

Три весны птицы прилетают в покинутое селенье, кружатся над пустыми домами и улетают. И мое имя покружится над Срединной страной, и кто-то окликнет меня в другой жизни, посмотрит вслед, провожая взглядом. Кем хочешь считай себя при жизни — Конфуцием или Буддой, скажи, что ты выше горы Тайшань и глубже моря Семи Островов — это твоё дело, твои слова, но после жизни от тебя останется только то, что останется, а будет ли это с пылинку или с Великую стену — измерят люди.

Тянет холодом из щелей. Только бамбуковой роще не страшен ветер. И старой сосне. А река опять прорвет дамбу и затопит посевы, и три дня будет пусто в сетях рыбаков — предчувствуя сильный ветер, рыба заранее уходит в глубину.

Долго лежу без сна, слушаю ветер. В тушечнице есть еще тушь. Когда-то ее для меня растирала любимая наложница государя Янгуй-фэй, а сам император Сюань-цзун держал кисть. Когда-то я ездил на жеребце из императорских конюшен, уздечка на нем была филигранной, седло украшено белым нефритом, постель моя была из слоновой кости, тюфяк — из тончайшего шелка. Я ел с золотой посуды. Но сейчас я сам достаю кисть, растираю тушь, и все это только для тебя, моего сына. Ты пришел в мир из такой дали, где свет и тьма еще не разделились, и я пришел оттуда, и все люди.

¹ Пер. Л. Черкасского.

Твоя мать часто называла меня «легкомысленным» — она права. Я оставил вас, мать твоя вышла меня провожать с мокрыми рукавами, а я ни разу не оглянулся назад. А сейчас сижу лицом к ней и слышу ветер, вижу только тьму. Я написал сто тысяч знаков, но письма не любил писать. В винных лавках Чанъани и Лояна платил за вино золотом и серебром, а вы ели бобовую похлебку, сваренную на бобовой ботве.

Я мог сделать твою мать счастливой, но хотел осчастливить всю Поднебесную, спасти мир. Я хотел послужить опорой нашему просвещенному властителю, но тщетно я обсуждал имперскую политику — пурпурная лента министра никогда не свисала с моего плеча. Ну разве не легкомысленный Ли Бо?!

Если кто-нибудь скажет, что я был великим храбрецом, знай — это так: в искусстве фехтования на мечах я мало кому уступал, в рукопашном бою не уступал никому. Но есть мужество отваги, есть мужество отчаяния и есть мужество надежды — среди всех других оно как яшма среди обычных камней.

Когда я писал на белой бумаге черной тушью, каждым ударом кисти я белил черную прядь волос твоей матери. Мы, мужчины, тщеславны и высокомерны, мы кичимся остротой ума и чиновничьим поясом, мы постигаем Дао, мы укрощаем варваров. Но среди мужчин мало истинных мужей, и это печально.

Хочу тебе сказать: знание только в юности приносит радость, в зрелые годы его не замечаешь, в старости оно тяготит, если не превращается в поэзию, как расплавленный металл в девять колоколов на горе Фэншань, которые звонят, едва на них осядет иней. Сердце поэта — фэншаньские колокола, ему достаточно иней.

В моих стихах ты найдешь то, что не прочитаешь в моих письмах, но в них есть то, о чем я умолчал в стихах; то и это — две половинки тигрового знака. Сложи их.

Великое событие можно запечатлеть одним ударом кисти. Сейчас я дожил до того возраста, когда сердце болит не от любви или гнева, а просто потому, что слишком долго билось; я понимаю, что был расточителем в словах. А каждому отпущено не только точное число дней, но и число слов; если ты не скажешь их, ты не выразишь себя; если будешь говорить без умолку, слова не выразят тебя. Слово, сказанное вчера, должно отличаться от слова, сказанного сегодня. Снег при свете солнца и луны различного цвета.

В вечерние годы мой я понял то, чего не понимал в начале и середине жизни: мастеру стрельбы из лука не нужен лук и стрелы — ему нужна цель.

Однажды Ван Вэй сказал мне, что Бодхидхарма семь лет просидел в монастыре лицом к стене. Я промолчал. Он повторил. Я снова промолчал. Он повторил в третий раз, тогда я ответил: «Бодхидхарма семь лет просидел лицом к стене».

Ван Вэй обнял меня и заплакал. Плачут и от малого, и от великого. Тогда я смеялся над его слезами, но только в тюрьме, где, куда ни глянешь, видишь стену, понял причину его слез, его печали обо мне. Ван Вэй плакал обо мне, а я над ним смеялся. Теперь воробы и

цикады смеются надо мной: Ли Бо упал с лежанки, а возомнил, что рухнул с небес.

Поздно лить слезы. Кованое не изменишь, пока не раскалишь докрасна. Хотя я стоил больше, чем царства, мне не повезло — печальная история, которую я не хочу больше повторять.

Запомни: убогая одежда, стоптанная обувь — это бедность, а не стесненное положение. Стеснен тот муж, который, обладая естественными свойствами, не может их проявить. Такого называют не получившим признания своего времени.

Великая птица фэн отправилась в полет, решила навестить все концы земли. Но посреди неба она дрогнула, ей не хватило сил...

Сын мой, я не оставляю тебе золотую печать, императорскую дорогу, могучих коней на каждой подставе. После меня останется примятая трава, след сандалий на горной тропе, воды сомкнувшейся реки за старой лодкой. Ищи меня, как охотник выслеживает тигра, — и ты отыщешь мои следы. А мне пора возвращаться домой.

2

Голый человек — никто, дикарь, животное. Но когда с плеч струится тяжелый фиолетовый халат, расшитый на груди и спине золотыми фазанами, перетянут атласным желтым поясом, к которому подвешена лаковая коробочка для письма, когда под подбородком завязаны тесемки лиловой прямоугольной шапки, голый человек чудесно преобразается в ханьлиня — члена императорской академии, в китайца выдающегося, гордость трех поколений родни, на которую он отбрасывает благословенную тень, потому что даже из миллиона один не становится ханьлинем; конь у него из императорской конюшни, седло выложено серебром, двое слуг по бокам несут трехъярусные зонтики, оберегая великого человека от зноя и дождя, два стремянных ведут кобылу под уздцы, и стража, охраняющая запретный город в Чаньани, беспрепятственно пропускает ханьлиня в пурпурные ворота. Ханьлинь — человек государственный, все необходимое получает из казны: уютный дом с маленьким садиком и прудом с красноперыми карпами, слуг и наложниц, шелк и фарфоровую посуду, сою и рис, тушь и бумагу. Ли Бо — единственный, кто стал ханьлинем, не сдавая экзаменов, потому что он талант редчайший, драгоценный, единственный, шелковые свитки с его строфами покупают принцы и министры не торгуясь: взмахнул кистью — и пригоршня полна золота.

Однажды его матери приснилось, что звезда Тайбо¹ упала ей на грудь и она зачала сына — так родился он, Ли Бо. Уже в пять лет он держал кисть, как взрослый; в восемь знал наизусть древние книги; десяти лет от роду писал стихи и владел литературным стилем; в четырнадцать добился славы великих. Мальчиком он уходил за крепостные стены ловить птиц, терпеливо таился в кустах, а перепел

¹ Венера.

или пересмешник клюют просо рядом с корзиной, дразня птицелова-простака. Теперь состарился птицелов, сам угодил в сеть.

Зацвели в саду хризантемы, но с кем любоваться курчавыми белыми шапками? Где учитель Мэн Хаожань? Когда-то спустился с гор в Чанъань, но талант его не оценили по достоинству, десять лет прожил в столице и снова вернулся в деревню, среди сосен он спит и среди облаков, заблудился в цветах... Благородный Ван Вэй проводит все дни в горном монастыре за чтением сутр, провожая взглядом медлительные облака. Ушел и князь Хэ — самый близкий друг Ли Бо в столице; он первый ввел его в свой дом и назвал братом; он, когда никто из ханьлиней не смог прочесть письмо, привезенное послом из страны Бохай, доложил императору Сюань-цзуну, что никому не известный Ли Бо знает бохайские письмена, и государь приблизил Ли Бо к золотым ступеням, даровал ему звание ханьлиня, подарил лежанку из слоновой кости, а принцесса приподнесла ему тюфяк из тончайшего бирюзового шелка и розовое одеяло, расшитое орхидеями. Тогда все сановники вдруг вспомнили, что Ли Бо не сын черепахи, а древнего рода.

Каждая из вещей на нем стоит дорого: халат фиолетового шелка дороже дома с черепичной крышей; золотой атласный пояс равен по цене породистому жеребцу; лиловая шапка — за нее, пожалуй, дадут тридцать корзин риса. Но отчего так тяжелы дорогие одежды? Разве не халат, пояс и шапка на нем, разве взвалили на него дом, жеребца и тридцать корзин риса? Отчего сердцу так тяжело, почему болит, мешая дышать глубоко и спокойно? Видно, пришли его вечерние годы, вечер жизни настал.

Да, он древнего рода, его прадед находился в родстве с императором Тай-цзуном, обе семьи — потомки «крылатого полководца» Ли Гуана, победителя хунну; если копать корень рода еще глубже, в глубине вспыхнет небесный свет старца Лао-цзы. Вот он какого рода! Но, кажется, ныне его имя производят с насмешкой, забыли, что он не стотысячным войском, а взмахом кисти устранил страну Бохай, забыли, что Ли Бо и государь — одного рода, одной крови, что он вправе называть принцев братьями. А при дворе его считают человеком в простой одежде, и в суде он, величайший поэт Поднебесной, держал ответ наравне с лекарями, гадалщиками, заклинателями!

В чем причина его несчастий? Виноват талант или «кость гордости» в поясице, что мешает склониться в поклоне? Но что его беды, когда в опасности родина!

Правила поведения призваны провести границу между благородным и подлым, внести порядок в дела семьи и государства; если отец не исполняет родительских обязанностей, как может он поддерживать порядок в семье? Если государь нарушил долг перед народом, как может он управлять государством? Размышляя об этом, испытываешь великое сожаление.

Небо послало Ли Бо почтительно взять государя за руку, дабы Сын Неба, опираясь на него, как на ясеневый посох, ступил на путь справедливости, но император Сюань-цзун отшвырнул посох. На-

слаждаясь красотой наложниц и цветущими пионами, не внял грозным знамениям. Весной 750 года небывалая засуха спалила весь рис, ячмень, просо, гаолян на равнине Шу. Весной 751 года посреди Хуанхэ от страшных молний загорелся флот, направлявшийся с зерном в Чанъань, — сгорело двести кораблей. Осенью 751 года над Яньчжоу пронесся ураган, громадные волны потопили девятьсот двенадцать кораблей, собравшихся в порту. Тогда же военачальник Гао Сянжи с тридцатитысячной армией перевалил Тяньшань и напал на владения арабов, но при Таласе был разгромлен, в результате чего империя лишилась всякого влияния на Великом шелковом пути. Тогда же в Чанъани пожар уничтожил императорский арсенал, а в Чэнду, Цзиньчжоу, Цзянлу, Синъюане несколько дней шли дожди. В 752 году небо лишило жизни первого министра Ли Линьфу. Летом того же года ураган сильно разрушил Лоян. Осенью 754 года дождь лил без остановки шестьдесят дней, в Лояне затопило девятнадцать кварталов, погибли тысячи жителей, цены на зерно поднялись вдесятеро против прежних, люди скорее пожалели бы миску риса, чем много горстей жемчуга.

В 755 году взбунтовался Ань Лушань — наместник северных областей. Достаточно государю было припасть ухом к земле — и он услышал бы топот конницы, но государь сочинял мелодию «Плывут лиловые облака». Уже тридцать тысяч воинов пали, прикрывая Чанъань, и на пути полков взбунтовавшегося цзедуши¹ остался только перевал Тунгуань — в девяти переходах от Западной столицы², а евнух записывал в секретной книге: «Государь осчастливил Царственную супругу».

На всем пути от перевала Тунгуань до Западной столицы не осталось ни пешего, ни конного отряда — всего девять дневных переходов отделяли Ань Лушаня от алых ворот дворца и золотого трона. Император не стал считать дни, в ночь двенадцатого дня шестого месяца бежал. Во дворцах и парках стало тихо.

Двухсоттысячная армия цзедуши вошла в Чанъань без боя. Они жгли дома, если не могли найти золото и серебро, всех захваченных чиновников убили — это они называли «очищением предметов», а когда отчаянный смельчак ранил кинжалом Ань Лушаня, они устроили резню, рубили головы даже тем, кто заклеил рот бумажной полоской с иероглифами «покорный народ»: воины Аня не умели читать; по улице Трех перекрестков кровь текла потоком, через нее шли, настелив доски, — это они называли «омовением столицы». Сожгли храмы, библиотеку, срубили парки, почтенных академиком-ханьлиней³ гнали палками, как коров.

И его, Ли Бо, гнали бы вместе с ними, но он был в ту пору далеко — на Янцзы, на флагманском корабле шестнадцатого сына госу-

¹ Цзедуши — военный наместник провинции.

² В Китае эпохи Тан было две столицы — Восточная (Лоян) и Западная (Чанъань).

³ Ханьлинь (Лес Кистей) — академия, основанная императором Сюань-цзуном, ее название происходит от парка Лес Кистей, где она находилась. Насчитывала двести ученых-ханьлиней.

даря принца Ли Линя. Потом бежал, скрывался без крова и пищи, просил подавание у крестьян и монахов, мерз, не имея даже шапки — позор старому человеку. Это уже в Цзюцзянской тюрьме стражник сжалился, принес солдатскую шапку, чтоб старик прикрыл седины.

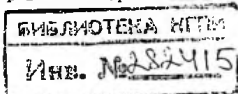
Император Сюань-цзун оказался плохим государем, но хорошим музыкантом. А кем стал он, Ли Бо? Разве не сам он отыскал дорогу в тюрьму, думая, что она ведет к вершине, с которой виден мир?

Прекрасен крепкий аромат
Ланьлиньского вина.
Им чаша яшмовая вновь,
Как янтарем, полна.
И если гостя напоит
Хозяин допьяна —
Не разберу: своя ли здесь,
Чужая ль сторона¹.

Его строфы... В них он первым сравнил прозрачное красно-желтое вино из Ланьлиня с янтарем, а вслед за ним без удержу пустились называть янтарным любое вино, не понимая, что сравнивают сущность вещей, внутреннее, а не внешнее. Деревья счастливые людей, они и после смерти несхожи, а люди-мертвецы одинаковые: при жизни мудрые, после смерти — сгнившие кости; при жизни злодеи, после смерти — сгнившие кости, а кости ведь одинаковые, кто знает разницу между ними? Но пока он жив, он никому не ровня; император — единственный, но и двух Ли Бо нет в государстве, и он не успокоится, пока не напишет письмо государю. Он может грустить на чужой стороне, вспоминая дом, где родился; сердце стучит, слышав стук вальков на берегу пруда за тысячу ли от родных лист, но для поэта нет своей и чужой стороны, нет севера и юга — все горы и воды, все деревья и камни — его родина, он не в гостях у соседа, он всюду дома! Стены императорских дворцов крепки и высоки, ни одно слово правды не доносится туда, но его голос — громовые раскаты Ли-Небожителя — государь услышит, даже если закроет ладонями уши.

Тушь растерта в глиняной плошке, густо разведена, Ли Бо взял из подставки кисть, но не мог решиться напитать ее тушью — рука будто отсохла, словно отрублена в бою врагом. Неужели он колеблется? Или страх отнял силы? Душа истинного человека не меняется, глядит ли он на небо или на землю, говорит ли горькое или приятное. Истинный муж прям, как свет, хлынувший в разрывы облаков, — на что падает, то освещает. Но разве правда изменила мир? Этого смертным не дано знать. Но он знает другое: пройдя всю Поднебесную, он повсюду видел несправедливость и обиду; чиновники по уголовным делам выносят приговор невиновным, оправдывают злонамеренных. Простолюдины голодают, вдоль дорог лежат новорожденные, по рекам плывут колыбели, в которых плачут брошенные младенцы. В провинции Аньхой правитель собрал налоги

¹ Перевод А. Гитовича.



с крестьян за двадцать два года вперед. Варвары на северных границах грабят караваны, жгут наши селения, насиляют женщин, мужчинам перерезают горло. А государь пребывает в неведении; одевают его только в желтое, говорят только приятное, он наслаждается древними мелодиями и новыми строфами, которые Ли Бо должен писать для его любимой наложницы, любующейся золотисто-розовыми пионами. А сколько жизней отдано за каждый куст?

Он поставил кисть в подставку, рука дрожала, по спине бежал пот. Теперь главное — передать письмо императору, это нелегко, не обойтись без хитрости. Был бы рядом князь Хэ, он бы помог, но старший брат далеко...

Кому доверить письмо? Кто согласится спрятать горячие угли в рукаве?

Тогда он вспомнил о Ду Биньзэ.

Старый полководец еще крепок в кости, годы его не согнули, только сморщенное лицо потемнело, редкая борода поседела.

— Ли-ханьлин, что меч солдата рядом с кистью Небожителя? Простой камень и драгоценная яшма. Получив ваше приглашение, сразу вспомнил и вас, и войско, которое вел с боями по мерзлым пескам. Воины спали в седлах, ели пригоршнями снег, пурпурные и бирюзовые стяги заledenели, и мы не могли настичь врага, а когда настигли у Цилянчэна, на озере Кукунор, под моими знаменами осталось всего четыре тысячи, а туфаней было в три раза больше. Я увидел костры варваров на рассвете. И пока мы рубили врага, истекая кровью, вероломный командующий Ши Сымин отступил без боя, донеся государю, что туфаны разбиты. Помните? Государь назначил смотр войскам Ши Сымина, ожидая лишь дня, который укажут прорицатели, а мы были далеко от Лояна, брели в снегу, падали, и я лежал в паланкине с обмороженными, черными ногами. Помните? Люди падали и оставались лежать. Тогда я приказал сделать носилки из копий: пусть два солдата бегом несут третьего, сменяясь каждые пять ли. Так бежали день и ночь, не останавливаясь! На тридцатый день великого похода, пробежав две тысячи ли, мы увидели лазоревую дымку над Лояном. Стража на башнях не знала, демоны или люди приближаются к Восточной столице — завывли трубы, ударили сигнальные гонги, но мои солдаты были уже у стен, и тысяча обмороженных, окровавленных, страшных крикнули: «Ваньсуй!»¹. Как горный обвал, ворвались, сметая стражу, а император любовался строем полков Ши Сымина. Тысяча моих воинов вступила на дворцовую площадь, оставляя кровь на блестящих плитах, перед золотым тронном пала на колени, и площадь загудела, как колокол. Сам император сошел по золотым ступеням и ударил предателя пяткой в жирное лицо, а мои обмороженные щеки отер своим платком.

— Разве забудешь такое! Тридцать весен прошло с той поры, мои раны уже не болят, а Поднебесная изранена. Решил написать

¹ «Десять тысяч лет!»

государю. Но прежде выпьем вина, и я прочитаю вам все, что бессвязно начертил вчера.

«Государь,

Поднебесная подобна золотой чаше — нет в ней ни одного изъяна, ни одной царапины. Ныне, когда всеми делами управляют такие великие умы, как первый министр Ли Линьфу и начальник Военного ведомства Гао Лиши, император может сидеть на золотом троне, опустив рукава, ни о чем не заботясь, не утруждая себя заботами. Государь доволен, но отчего вокруг так много недовольных? Государь спокоен, но почему слышен плач в стране?..»

— Прошу вас, читайте дальше. Не печальтесь так горько. Мир — это тень, отбрасываемая теми, кто идет по пути добродетели.

— «...Много снега намело у стен вашего дворца, велите разгрести любой сугроб, в каждом — мертвецы. Родители обмениваются детьми и поедают их; кости мертвецов ломают, кладут в очаг вместо хвороста. Государь, ваш народ устал от синего неба насилия, он жаждет желтого неба справедливости.

Как поступают в воинском строю? Там высокие стоят первыми, низкие — последними. А в управлении страной все наоборот — высокие удалены, приближены низкие, сановники заняты худшим из дел — притеснением народа. Люди бедствуют, честь ценится дешевле соевых бобов, поэзия не нужна. Поднебесная велика, но величие ее утрачено.

Государь, все написанное здесь — правда. Ничтожный Ли Бо стократ достоин казни, но, зная ваше небесное великодушие, просит отпустить его к ручьям и лесам, уподобиться пятицветному облаку или дикому гусю, пролетающему над столицей».

Слушая Ли Бо, старый Ду Бинькэ вытянул морщинистую шею, как птица, забыл про вино, часто дышал. Когда письмо было прочитано, он втянул голову в плечи.

— Ли-ханьлинь, вы, известно каждому, великий талант, а я не-отесанный служака, поэтому прямо скажу все, что думаю. Все знают, что государь не раз оказывал вам знаки внимания, сам размешивал палочками кислый рыбный суп, остужая его для вас, и все-таки не слишком ли далеко вы зашли в своем усердии? Ли Линьфу и Гао Лиши, конечно, будут обижены вашим письмом, затаят обиду — вы же знаете, что Гао Лиши заслужил благосклонность императора лестью и умением составлять поминальные молитвы, а Ли Линьфу при каждом слове государя закатывает глаза. Но оба они люди не без способностей, ум имеют расчетливый и сильный, поэтому государь во всех делах всецело полагается на них. Сейчас, когда они прибрали всю власть к рукам, подлых людей при дворе полно, но честных и талантливых немедленно постигает беда. Гао Лиши хоть и стар, но зубы его острые, удар молниеносен, вы подвергаете свою жизнь опасности. Как бы вам самому не оказаться в крысоловке.

— Сломана клетка — и феникс в небо взлетел, порвана цепь — и дракон скрылся в пучине. Почтенный Ду, припомните кого-нибудь, с кого Гао Лиши, как слуга, снимал сапоги? А с меня снимал. Первый

министр Ли Линьфу, одно имя которого приводит сановника в ужас, растирал мне тушь. Позвольте успокоить вас, старший брат, вы привыкли полагаться на остроту меча и крепость тетивы, но эта кисть может свершить больше, чем войско. Мое дело — спасти мир. «Служению страны отдам все силы до последнего вздоха».

— Эти слова Чжунэ Ляна¹ в наше время может повторить лишь тот, кто не страшится за собственную жизнь. Хотя многие в душе порицают поступки первых людей государства, но государь доверяет им, а вы человек без должности, что бы ни говорили, все окажется бесполезно для страны, но ужасно для вас. Когда вы пришли в Чанъань, Ци Мин осмелился сказать государю, что экзаменаторы берут взятки. И что же? Неужели не помните императорский указ?

— Помню. Его обвинили в оскорблении высших сановников с целью возвысить себя, лишили чина, дали сто палок и сослали на север.

— Но вы забыли, что Ци Мин так и не доехал до места ссылки, умер в пути. Конечно, дорогой Ли, видней тому, кто смотрит на игру со стороны, а кто играет — голову теряет.

— Но говорят еще: невыносимо смотреть на игру в шашки, если нельзя подсказывать.

— Что ж, и так говорят... — Ду Бинькэ согласно кивнул. — Тогда вспомните ответ Чжуан-цзы², когда князь Вэй звал его стать первым сановником: «Попона жертвенного быка из узорчатой ткани, кормят его сытным горохом и вкусной травой; когда он видит простого быка, который из последних сил работает в поле, он хвастает перед ним своим почтенным положением, но когда его вводят в храм предков и он видит занесенный над ним нож, хотел бы он тогда стать простым рабочим быком, но это уже невозможно!»

Ваш государственный долг — писать стихи, тут с вами никто сравниться не может, в битве знаков на белом поле вы не знаете поражений, всегда побеждаете. А управление страной оставьте сановникам; что бы ни случилось, небо не оставит Поднебесную.

— Поистине, старший брат, беседа с вами, — ящик волшебства. Но почему не попытаться сказать правду государю? Личные заслуги и слава одного человека — дело ничтожное, а жизнь всего народа — дело великое. Почтительно склоняюсь перед вами, как старшим братом, знаю, что вы человек справедливый и бесстрашный, поэтому и прошу помочь мне в важном деле: вы, почтенный Ду, приближены к золотым ступеням, государь доверил вам воспитание младших сыновей и не откажется принять это письмо из рук прославленного полководца.

Ду Бинькэ отщипнул лиловую ягоду винограда, катал по морщинистой ладони.

— Значит, решили выплунуть палочку изо рта... Хе-хе, вижу, забыли солдатскую службу.

— Нет, не забыл, просто мысли мои далеко от войны. Когда был

¹ Чжунэ Лян — полководец эпохи Троецарствия (220—280 гг.).

² Чжуан-цзы (ок. 369—286 до н. э.) — мудрец, один из основателей даосизма.

солдатом, носил в мешочке у пояса сушеный рис, лекарство от ран и палочку; на марше, как и все, держал палочку в зубах, чтобы враг не услышал наши голоса, и сейчас чувствую во рту вкус коры... Какое счастье услышать, наконец, сигнал атаки! Выплюнешь палочку, вдохнешь полной грудью и с криком летишь на врага! Да, старший брат, много лет я жил, сжимая зубами палочку, молчал. Теперь выплюнул.

Утром бьет барабан —
Значит в бой пора.

Ночью спим,
На седла склонясь.

Но не зря наш меч
Висит у бедра:

Будет мертв
Лоуланьский князь¹.

Заслышав пронзительный голос Ли Бо, старый полководец выпрямился, карие глаза вспыхнули, будто в них снова задрожали огни походных костров. Решительно встав с лежанки, расправил большими пальцами складки халата, вложил письмо в широкий рукав.

3.

Спустя четыре дня чиновник, прибывший от президента военной палаты, почтительно вручил Ли Бо твердую золотистую карточку — приглашение от Гао Лиши: «Достопочтенный ханьлинь, моя воспитанница давно мечтает увидеть прославленного Ли из Цинляни. Прошу вас не отказать в смиренной просьбе ценителя вашего таланта и навестить мою скромную хижину».

Значит, Ду Бинькэ передал письмо государю. Ли Бо тотчас велел слуге седлать кобылу и направился во дворец всемогущего евнуха, примыкавший к южной стене монастыря Бодхи.

Распахнутые алые ворота охраняли четыре чернокожих раба с мечами в положении к бою, у кипарисовых резных столбов арки гостя ждали сам Гао Лиши с просяной метелкой, сановники, домохозяева. Ли Бо был поражен красотой девушки в фиолетовом платье, легкой гранатовой юбке и газовом зеленом шарфе; темно-зеленые, как осенняя вода, глаза смущенно смотрели поверх веера, завитки черных волос красиво падали на маленькие уши, на щеке нарисована красная мушка. «Пожалуй, ей лет пятнадцать, не больше».

— Цзун Мэй, подойди — это и есть ханьлинь Ли Бо, о котором я тебе так много рассказывал. Почтенный, это моя воспитанница, она мне как дочь.

¹ Пер. А. Гитовича.

— Не доводите ли родственницей министру Цзун Чуге!¹

— Великий человек был дядей моей матери, — смущенно ответила девушка.

— Да, да, — вздохнул Гао Лиши, — министр Цзун был великим человеком, но злые люди, злые люди!.. Вы же знаете, великие рождаются редко, а ничтожные не переводятся, как моль. Скорблю о горькой участи двоюродного деда Цзун Мэй. Но не будем говорить о печальном, хотел бы поделиться большой радостью — в моем саду зацвел куст чая с вашей родины.

— Но чайный куст не приживается в чужой земле — гибнет, если его выкапывают и сажают в другом месте.

— О! Разве мог бы я исполнять свои обязанности, если бы не справился с такой простой задачей? Желание и упорство могут совершить невозможное. Конечно, мечтал бы хоть в ничтожной мере постичь ваше высокое искусство, но где мне равняться с вами! Сам государь восхищен вашим почерком, прошу вас оставить след вашей кисти, одарить меня редкой драгоценностью.

— Ну, что вы, господин президент, лучше тех строк, что вы наклеили на шелк, вряд ли напишу — они тоже написаны в пору цветения сливы, дерево это нежно лоблю: выбирает безлюдные места, любит уединение, цветет, не страшась снега и холодных ночей.

— Разве вы сами не похожи на дикую сливу? — нежным голосом спросила Цзун Мэй. — Где радостно вашему сердцу, там расцветает тысячами цветов ваша кисть. Всей душой присоединяюсь к просьбе моего опекуна. Позвольте растереть вам тушь?

Разве можно отказать этому нежному голосу, глазам узким, как листья ивы, желтому пятнышку между бровями?

— Помните «Строки семи шагов»? А сколько шагов отделяет меня от вас?

Девушка взмахнула рукавом, закрыв вспыхнувшее лицо, но разве для огненных зрачков Ли Бо это преграда? Он смотрел на нее, лицо побагровело, как железо, вынутое из горна, глаза сверкнули.

На горной вершине
Ночую в покинутом храме.

К мерцающим звездам.
Могу прикоснуться рукой.

Боюсь разговаривать громко:
Земными словами

Я жителей неба
Не смею тревожить покой².

Гао Лиши шумно втянул воздух сквозь зубы, восхищенный строками. Юная красавица, низко поклонившись Ли Бо, вышла, на ступенях обернулась...

¹ Цзун Чуге — известный государственный деятель. После трехкратного пребывания на посту первого министра был обвинен в заговоре и в 710 году казнен.

² Пер. А. Гитовича.

— Почтенный Ли, вы околдовали сливу, цветущую в моем доме¹, да и я, старик, покорен вашими строфами — вы действительно талант редчайший, исключительный! Зная вас как большого ценителя вина, на скорую руку накрыл бедный стол: здесь вино из цветов кокосовой пальмы, тут «морозное» — из Ходжо; в глиняном чайнике дунхуанское из винограда желтого, белого, черного; а вот совсем черное, как лак, — «жир дракона». Но зачем перечислять, лучше налить и выпить.

Гао Лиши говорил, почти не разжимая тонких губ, и Ли Бо приходилось напрягать слух, чтобы не пропустить ни слова.

— Да, ханьлинь, с вашим талантом получить бордовый шнур к печати проще, чем подобрать с земли опавший лепесток.

— Одного таланта в наше время мало.

— Да, да, вы правы... — Президент военной палаты отпил глоток вина. — Хотя с вашим талантом можно хоть сегодня получить должность очень высокую, тут я мог бы помочь вам. Но вы действительно Небожитель: звезды, луну, облака видите лучше, чем то, что перед глазами, а талантливый человек должен думать о государстве; расплавленная бронза, если ее не вылить в глиняную форму, бесполезна, даже опасна. Нет, нет, я самый преданный почитатель вашего таланта, но подумайте сами... Вы пишете: «Я жителей неба не смею тревожить покой», а Сына Неба решились потревожить. Ваше письмо могло опечалить его.

— Значит, государь его не читал? — Ли Бо крепко сжал яшмовую чашку, чтобы дрожание пальцы не расплескали лиловое вино.

— Неужели, дорогой гость, вы думаете, что государь не знает мысли подданных? Желанья четырех сословий для него прозрачны, как вода. О, вы даже глотка не отпили! Прошу вас, отведайте вино, это драгоценный дар императора — настоящее лиловое.

Гао Лиши наполнил чаши вином из глиняного чайника. Среди драгоценной посуды приземистый глиняный чайник казался простолюдином в толпе вельмож; сколько было в нем детской выдумки и веселой игры пальцев, привыкших мять тяжелую глину: носик обвила ящерица, лапки чайника мастер вылепил в виде черепах, осторожно высунувших головы, вместо ручки извивался забавный дракон, на плоской квадратной крышке сидел крошечный старичок в развевавшемся халате, прижав палец к губам.

— Ваше внимание привлек этот кусок глины, почтенный Ли? То, что сказал вам о металле, могу сказать и о глине: пока она мягка — таит в себе тысячу форм, даже образ Будды, и все-таки совершенство для глины — обыкновенный кирпич.

Ли Бо погладил пальцами горячий бок чайника — мастер формовал его руками, пальцы чувствуют шероховатость глины, грубые вмятины, но эта грубость придает изделию невыразимую естественность, улыбку формы.

— Застывшее гибельно, — спокойно сказал Ли Бо.

¹ Женское имя Мэй означает «дикая слива».

— Для человека — да. Для одного человека — да, особенно для такого таланта, как вы. Но то, что для Ли Бо равносильно смерти, для империи — залог тысячелетнего спокойствия. Разве из тысячи чайников можно построить крепость? Глина слаба, кирпич прочен. Великая стена несокрушима, потому что сложена из великого множества одинаковых кирпичей. Ныне в Поднебесной для повозок одинаковые колеса, для письма одинаковые иероглифы, для поведения подданных одинаковые правила. Как ценитель поэзии, я восхищаюсь вашими строфами, но как сановник вынужден напомнить вам о долге; долг подданного — послушание, высочайшая заслуга перед Сыном Неба — повиновение. Достаточно государю взглянуть на любого, и он знает, какого цвета у него душа.

— Не сомневаюсь, господин президент. Недаром говорится: «Кто возле красной краски — красный. Кто рядом с черной тушью — черный». Но я не стал бы утруждать государя пустяками, в моем письме высказал мысли о судьбе государства, много думал, прежде чем поднять кисть; если написанное мною ложь — готов положить глупую голову на плаху, но, если написанное мною правда, я достоин награды.

— А чем отличается ложь от правды? — Гао Лиши вновь наполнил чаши. — Вы видели красные, белые, розовые лотосы. А синие? Их никто не видел, но значит ли это, что синий лотос — неправда? Если угодно, я сам провожу вас в императорский парк — там, где его огibaет поток Чэнь, горбатый садовник Го вырастил несколько темно-синих цветов, целый год вымачивая семена в сосуде с индиго. Даже в искусстве выращивать цветы нет правды и неправды, что же говорить об управлении страной? Чиновники воруют? Воруют! Я слежу, чтобы их строго наказывали. Невинных сажают в тюрьму? Сажают! Я велю казнить виновных в нарушении закона. — Морщинистое лицо евнуха покраснело от вина, он стал говорить громко, хрипло выкрикивая ударные слоги. — Но где взять таких, как вы? Поверьте, ханьлинь, если ваше письмо, как говорят цензоры, повернуть северной стороной к югу... Но мне ли советовать тому, кто владеет кистью лучше всех в столице? Обещаю вам: один взмах вашей кисти — и вам пожалуют пурпурную ленту министра! Вам только сорок три года, ваша карьера впереди. Это мне пора отойти от дел, мою голову отваром гвоздики, но разве скроешь седину?.. И часто мучает одышка, где мне сравниться с таким силачом, как великий полководец Ду Биньзэ! Вот уж кто прожил жизнь, ни разу не охнув, хотя участвовал в ста битвах...

— Как?! — вино все-таки расплескалось. — Разве князь Ду болен? Совсем недавно он был здоров.

— Он умер вчера ночью. Не берег себя... Пусть его душа будет счастлива в перерождении. — Гао Лиши плеснул из чаши на пол, жертвуя духам. — Прошу вас, дорогой гость, разделить мою глубочайшую скорбь о доблестном муже, ведь вы были его другом...

Ли Бо показалось: парчовые ширмы окутал багровый дым, исчезли узоры из птиц и цветов... будто шелковым шнуром сдавило горло...

— У вас усталый вид, почтенный ханьлинь, наверное, слишком много пишете. Конечно, каждая ваша строка — чистая яшма, но все-таки подумайте о драгоценном здоровье.

— Мне действительно нездоровится. Позвольте поблагодарить вас за прекрасное вино.

— Как могу отпустить дорогого гостя без чашки чая?! Знаю, ничтожные людишки называют меня по углам «осенним министром»¹, вот и позвольте угостить вас осенним чаем. Воду для чая мне доставляет губернатор Ганьсу, она из колодца Цзюцюань. Конечно, помните, как император даровал полководцу Бань Чао чашу вина, а Бань Чао вылил ее в колодец, чтобы разделить награду со всем войском.

— Гостию в Цзюцюани у друга. Беседка над колодцем до сих пор стоит — на шести столбах, а рядом маленький пруд с золотыми рыбками, только старая ива на берегу пруда засохла. Действительно, эта вода придает вкус чаю необычный, винный. Но я отвлек вас от государственных дел, засиделся на вашей лежанке. Мне, человеку без должности, можно и поздно вставать, и рано ложиться, а на ваших плечах коромысло великих забот, так что уж не сердитесь на Ли Бо, потратившего ваше золотое время.

— В любое время вы желанный гость в этой лачуге.

У алых ворот Ли Бо уже ждал личный паланкин президента, обитый лиловым шелком. Управляющий с поклоном поднес золотистый лаковый ларец.

— Прошу принять на память о сегодняшнем вечере не стоящий внимания пустяк — здесь осенний чай, лиловое вино и простой глиняный чайник. Воду из колодца Цзюцюань вам будут доставлять каждое утро — я уже распорядился.

— Чай и вино принимаю с благодарностью, но глиняную драгоценность не осмеливаюсь взять.

— Вы преувеличиваете ценность пустой вещицы.

— Ее вылепил истинный мастер, его высокий дух запечатлен в каждой вмятине.

— В день своего рождения зову монахов из монастыря Бодхи, мы ведь соседи. Как-то одному монаху я подарил седло, украшенное бирюзой; он продал его за семьдесят тысяч монет. А на следующий год пришел другой монах; он с таким старанием перечислял мои добродетели, что грешно было отпустить его без подарка. Я дал ему завязанную корзину; выйдя от меня, он тут же посмотрел, какая драгоценность спрятана под платком, но нашел лишь нечто, напоминающее ржавый гвоздь, и, опечалившись, побрел на Западный рынок — продать хоть корзину за пару медяков. Один из купцов, чужеземец, увидев предмет в корзине, спросил: «Почтенный, где вы достали эту вещь? Если продаете ее, я не поскуплюсь». Монах шутя запросил сто тысяч монет. Купец тут же отдал деньги и засмеялся: «Вы продешевили, почтенный, — цена этой вещи десять раз по сто тысяч! Ведь это кость Будды!» Видите, — монах, а не разглядел свя-

¹ «Осенний министр» — образ коварного, жестокого царедворца.



тыню. А вы, почтенный Ли, наоборот: безделицу приняли за творение мастера.

— Тогда пусть наш спор рассудит сам мастер, ведь на дне чайника должна быть оттиснута его печать. Эй, светильник ближе! — Ли Бо достал из шкатулки чайник, перевернул, придерживая крышку, и сразу узнал личную печать Гао Лиши.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Гремит засов — на этот раз пришли за ним. Вот и наступил великий миг перерождения, вовремя он написал сыну, мог бы и не успеть.

Начальник тюрьмы кланяется и приседает перед толстым чиновником в лиловом халате, шапка украшена красным коралловым шариком, на поясе нефритовая печать. Даже злые духи боятся печати, что же говорить о людях? Печать — это налоги, долговая клетка, толстые палки, кожа, содранная заживо с несчастных, отрубленные головы. Засухи, наводнения, саранча не так страшны, как печать. Стражники расстелили новую циновку, положили мягкие подушки, зажгли благовонные палочки, но чиновник недоволю морщится, обмахивая лоснящееся лицо костяным веером. Показал на дверь — все, почтительно пятясь, вышли. Начальник сам налил из чайника чашку горячего вина, двумя руками подал обладателю нефритовой печати и юркнул в дверь. Чиновник с любопытством посмотрел на Ли Бо, сидевшего на грязном полу.

— Почему у преступника не отобрали тушь и кисть? Велю дать начальнику тюрьмы двадцать палок. Подай бумагу! — Ли Бо подал письмо. — Не знал, что ты любишь писать письма. Пожалуй, разорву его на мелкие клочки, а? Ты ведь рвал мои письма? Или бросал в огонь не читая? А я ждал ответ день и ночь, встречал на пристани каждую почтовую баржу. Потом, когда приехал в Чанъань сдавать столичные экзамены, надеялся хоть одним глазом увидеть тебя. Кругом только и говорили: Ли Бо затмил славу великих, он нарушает древние традиции, но все у него получается легко, безупречно; говорили, когда ты пьешь, пускаешь свою кисть вскачь, под твоей рукой взлетают облака, расцветают цветы. Кого еще так возвысили!

— Не возвышать надо таких, как я, а слушать и следовать их советам, тогда не было бы таких бедствий в Поднебесной. «Древние государи за все блага воздавали хвалу народу, а во всех бедах винили себя; все истинное видели в народе, а заблуждения — в себе, поэтому только один царь терял свое тело и, порицая сам себя, уходил из жизни. Ныне же все по-иному. Скроют происшедшее и порицают не ведающих о нем за глупость; поставят невыполнимую задачу и осудят за отсутствие смелости; возлагают тяжкие обязанности и покарают за то, что с ними не справились; пошлют дальней дорогой и казнят за опоздание. Люди же, зная, что сил не хватит, заменяют их притворством. С каждым днем все больше лицемерия у высших.

Как же могут не лицемерить и мужи, и народ? Ведь, если не хватает силы, притворяются; не хватает знаний — обманывают; не хватает имущества — грабят. Но кого же можно обвинить за кражу?». Так сказал Чжуан-цзы.

— Не тревожь тень великого мужа, подумай лучше о себе. Хотя ты талант выдающийся, но тебя переоценивают, я не могу поставить тебя выше Се Тяо¹ — его строка «Как белый шелк, течет вода — чиста, легка» кажется мне драгоценней всего, что написано.

— Точнее прочитать его знаки: «прозрачной белого шелка», — да, этой строки довольно, чтоб запомнить Се Тяо¹ навек, а мне он роднее вдвойне, потому что был оклеветан и кончил свои дни в тюрьме.

— Как видишь, я кое-что знаю о тебе. Интересно, а ты слышал мое имя?

— Я сразу узнал тебя, хотя ты растолстел, — ты тот самый Гу И, который любит писать длинные письма выдающимся людям и этим прославился, пожалуй, даже больше, чем они.

— Да, я Гу И — уполномоченный Палаты инспекции столичных училищ. Ты в рваном плаще, а на мне лиловый халат и шапка с коралловым шариком, так что будь со мной почтительным, я ведь могу кое-что сделать для тебя...

— Подыщешь умелого палача, чтоб он одним ударом отрубил мне голову, а не шинковал ее, как начинку для маньтоу?

— Утром я был во дворце императора Су-цзуна. Все министры хотят твоей казни, и, если бы не главнокомандующий Го Цзыи, твоя голова уже торчала бы на шесте. Все знают, ты спас Го Цзыи от казни, когда он был простым солдатом. А знаешь, что сказал император? «Человек, приговоренный к казни несправедливо, а затем помилованный, затаит обиду на закон; в государстве такие люди, как червь в яблоке. И неужели, если в Поднебесной станет одним поэтом меньше, поэзия понесет убыток, правила сложения строф будут нарушены?»

— В литературе есть правила — гибнет литература, в государстве нет правил — государство гибнет.

— Ты действительно червь в яблоке и бунтовщик. Государь все-таки услышал мольбы главнокомандующего, заменил тебе позорную казнь ссылкой в Елан, но я твои опасные речи терпеть не намерен. Твое счастье, что я человек образованный и хочу помочь тебе, если, конечно, это не помешает исполнить долг; долг — дело государственное. Скажи, почему таких, как я, судишь так безжалостно, а мальчишку Хуай-су превозносишь сверх меры?

— Потому что редко удается встретить истинного монаха, побеседовать о бытии и пустоте. А Хуай-су, хотя ему было всего шестнадцать лет, когда мы встретились, монах истинный, безумная кисть его рвется в небо.

— Правда ли, что, прежде чем взять кисть, Хуай-су целый год наблюдал, как танцовщица Тутовая Ветка исполняет танец «Обре-

¹ Се Тяо (464—499) — знаменитый поэт.

тение драгоценности» — особенно то место, где текущие волнистые движения резко прерываются.

— Хуай-су рожден каллиграфом, ему не требуется никакая танцовщица, чтобы научить его кисть — она поражает, как стрела; знаки его туши напоминают громадных китов, бороздящих океан, дождь, неожиданно подхваченный ураганом и хлещущий сквозь щели в карнизе; ползучие растения, свисающие над пропастью и отраженные в осеннем озере...

— Ты сам мастер кисти. Видел у сверщика государственных архивов Дуаня начертанный тобою знак «шоу»¹. Хотел бы иметь такой! Бесконечно вглядываюсь в яшмовый узор туши — будто из тяжелого океанского мрака вырывается тысяча черных драконов, скрываясь в ночи.

— Мне по природе моей живопись плохо дается. Взятся за кисть, когда скитался по дорогам, — вот и решил писать в обмен на вино. Однако, чем дальше пишу, тем безобразней мазня. Редко удастся почувствовать себя драконом в струях реки, но как умею, так и малюю: подтяну рукава, рука свободно летает, будто в ней не кисть, а метла.

— Я оставляю тебе кисть, но учти... Мне доверено сопровождать императорский указ, горжусь высочайшим доверием. Нам долго придется быть вместе, так что вежи себя робко, не забывай, что ты гнусный преступник. Теперь разрешаю высказать просьбу.

— Высокочтимый Гу И, позаботьтесь о письме ничтожного Ли Бо. Сын его печалится, не знает о жалкой участи непутевого отца.

— Так и быть. — Гу И небрежно свернул письмо, сунул в рукав. — А ты пиши, чтоб мне было приятно читать. Много я послал тебе писем, теперь пора получить ответ.

Чинovníк хлопнул в ладони, велел начальнику тюрьмы взять в паланкине шкатулку из черной хурмы. Ли Бо прижался лицом к бумаге, жадно вдыхая снежный запах, — белая, конопляная, с его милой родины, она для него лучше хрустящей золотисто-желтой, лучше бумаги с косыми прожилками, сваренной из водорослей, приятнее японской с узором «рыбьи яйца», дороже шелка! Эмалевой тушечнице мастер придает форму завязанного мешочка, в нем палочка душистой туши. Кисть бамбуковая, толстая, оправлена серебром, но шерсть слишком мягкая, для слабой руки. Что ж, он и сам ослабел в тюрьме. Как жадно кисть наплатала растертую тушь, как задрожала бумага!

Умолчки продрогшие иволги... цикады кричат и кричат... высоко скрипит сосна... Целую вечность сидел он неподвижно, сердце почти остановилось, дыхание стало глубоким, только бескрайняя мысль набирала высоту, сгущаясь, сжималась, пока вся не стала тоньше заостренных волосков кисти и, сжавшись, вобрала в себя мир. Стремительный удар — пламя светильника, вспугнутое рукавом, отпрянуло и не успело выпрямиться, а знак «шоу» начертан, и пустота хлынула в сердце, как Янцзы, прорвавшая дамбу. Мир

¹ Знак «шоу» означает «долголетие».

сотворен! Из пустоты, белизны и капельки туши. Но в этой тройке коней один оказался дряхлой клячей — в последний миг рука дрогнула, пальцы утратили гибкость и силу и получилась мазня. Под таким безобразием стыдно ставить имя, время и место, но что поделаешь? Начертал в нижнем углу: «Писал государственный преступник Ли Бо в тюрьме „Умиротворенный покой“». День двойной семерки второго года Чжи-дэ»¹.

Гу И вытянул губы трубочкой, восхищенно втянул воздух, спрятав лист, торжественно пошел к двери, а там уже дал волю радости: отхлестал по щекам стражников, стал кричать начальнику тюрьмы, что он бездельник и все здесь дармоеды. Перепуганные тюремщики не знали, как умиловить грозного чиновника. Но и Ли Бо досталась дюжина пинков и зуботычин, когда они пришли за ним. Один, послонявив пальцы, загасил благовонные палочки, спрятал за пазуху, второй сорвал с Ли Бо пояс и крепко связал им запястья. На голову ему набросили кусок полотна с еще не высохшим «преступником», завязали на шее так, что он захрипел.

2.

Если за рукав дергал южный стражник, Ли Бо сворачивал направо, если северный — налево. Он задыхался, ноги подворачивались в рытвинах, он стал уже путать, куда сворачивать, наконец пошли прямо — и Ли Бо услышал нарастающий грозный гул, в спину ударил камень, и в шею ударил камень, но страшнее был рев толпы; он и сквозь тряпку видел злобные взгляды тысяч людей, стиснутые от ненависти кулаки. «Четвертовать его! Содрать шкуру! Переломать собачьи ножки!» Он чувствовал едкий запах пота — видно, и стражникам приходилось туго. И странно — в Чанъани, где столько парков и садов, ноздри забивал трупный смрад, гарь, тошнотворный запах крови, будто он идет по колено в крови, даже слышит, как она хлюпает, пузырится красной пеной. Его щипали, кто-то вонзил в ладонь иголку — он рванулся и упал на что-то мягкое, бесформенное. Кругом захохотали: «Черепашье отродье раздавило черепаху! Отрубить ему башку, как изменнику Биню!» О небо! Значит, он упал на тело великого художника Бинь Суна? Разве забыть его листья бамбука, цветы выюнков и плоды хурмы? Как весело смеются дети... несчастные! Когда сыну исполняется месяц, в дом зовут соседей, ждут доброго предсказания. Один гость сказал — этот малыш станет богачом, и родители почтительно ему поклонились. Второй сказал — этот малыш станет чиновником, и родители поклонились еще ниже. А третий сказал — этот малыш когда-нибудь умрет, и все больно побили гостя. Того, кто лжет или говорит приятное, встречают радостно; того, кто говорит о неизбежном, бьют. Страшусь, что скоро не останется говорящих правду. И вы, дети, доживете до черного дня, когда все будут друг другу врать, потому что вы сами перебьете правдивых, переломаете им руки и ноги.

¹ Седьмой день седьмого месяца (по лунному календарю) 758 года.

Ли Бо шатался от усталости. Когда сорвали с головы позорную тряпку, он зажмурил глаза от яркого света и людского моря, заполнившего до краев площадь Вечной Благонадежности. А люди увидели старика исполинского роста в семь чи¹ — самого высокого человека во всей Поднебесной, старика в зеленом плаще даоса, соломенных сандалиях и квадратной черной шапке, завязанной под острой бородой, багроволицего, в отвратительных струпьях, желтоглазого, как ястреб-тетеревятник. Старика, который хотел спасти мир. Он стоял под повозкой, на которую солдаты втащили огромную клетку; теперь его подталкивали кулаками к короткой лестнице, а Ли Бо боязливо топтался, забыв, как поднимаются по ступенькам, — когда долго сидишь в тюрьме, отвыкаешь от многого, что так привычно на свободе: от света, запахов, звуков, от бумаги и кисти, но, оказывается, отвыкаешь даже ходить. Два молодых стражника вспрыгнули на повозку и вместе с солдатами втащили преступника, заломили костлявые руки так, что старик согнулся пополам, но все равно не могли протиснуть в клетку. Наконец, навалившись, сопя протолкнули в дверь, захлопнули, кто-то крикнул: «Крыса попала в крысоловку!»

Нет, кованые прутья, пол из толстых досок, с глубокими выстругами от страшных когтей делали не для крысы. И не для человека. Старик сразу узнал ее — та самая клетка, которую он видел в Лояне, в императорском зверинце, считавшемся одним из чудес Восточной столицы: здесь были львы, носороги, тигры, леопарды, белые слоны. А в тот день императору Сюань-цзуну доставили редкостного зверя — снежного барса.

Возле клетки с толстыми прутьями сидел человек в огненной лисьей шапке и рваном овчинном тулупе, строгал узким ножом палочку, равнодушно слушая яростный рык зверя, вжавшегося мордой между прутьями.

Этот разъяренный рык приводил в содрогание всех, кто был по другую сторону клетки, — шестнадцатого сына императора принца Линя, охрану. Громадный дымчатый зверь то лизал окровавленную лапу, то выгибал мягкую спину; белоснежная грудь его тяжело вздымалась, пятнистый загривок твердел пепельными складками, седые усы топорщились, обнажая белые клыки. В светло-желтых круглых глазах, удлинённых прищуром, была ненависть. От этих изумрудно-зеленых переливчатых глаз невозможно было отвести взгляд; в малахитовой глубине их перекатывались черные горошины зрачков.

— Откуда этот дивный зверь? — спросил принц.

Охотник не ответил, так же равнодушно сидел, строгал палочку. Охранник принца замахнулся палкой, но Ли Бо остановил его взглядом и что-то сказал охотнику, повторив вопрос на непонятном языке. Человек в лисьей шапке гордо выпрямился, речь его отзывалась звоном, словно бронзовая.

— Что говорит дикарь? — спросил принц Линь.

¹ 1 чи = 30 см.

— Ваша светлость, он поймал снежного барса на ледниках Тянь-Шаня, две ночи не спал, шел по следу с веревкой и палкой. Он говорит, что поймал зверя один, а везли его сюда тридцать человек, и все получили подарки. Еще он говорит, ваша светлость, что барс для охоты не годен — его нельзя приручить.

— Принц Линь приручает царей, что ему эта кошка, — презрительно сказал начальник охраны.

Ли Бо спросил охотника, тот покачал головой.

— Нет, его нельзя приручить. А в клетке он скоро умрет.

— Ханьлинь, напишите строки, как начальник Леопардовой стражи Гоу-сянь кормил дикого зверя с Небесных гор в высочайшем присутствии принца Линя.

Начальник охраны взял из деревянного корыта сырое мясо, с учтивым поклоном показал его собравшимся и шагнул к клетке. Красавицы улыбались ему поверх вееров. Барс попятился, съежился дымчатым комом и вдруг распрямился в прыжке, заполнив всю клетку; мощная лапа его, как стрела, вонзилась между прутьями — и начальник, отброшенный, повалился навзничь. У него не стало лица. Принца тут же усадили в паланкины; начальника стражи завернули в ткань, сразу промокшую там, где было лицо. А охотник строгал палочку.

— Ты ведь говорил, что барс не прыгает в клетке... — прошептал Ли Бо.

— Да. Но над ним нельзя смеяться.

На следующий день охотника казнили, а барса послали в Фэнь-ян — в дар цзедуши Ань Лушаню.

3.

В клетке старик мог только сидеть, но и сидя, с высоты повозки он видел площадь, наполнявшуюся людьми; они шли через развалины, из переулков, поодиночке, семьями, толпами, молча, медленно, как слепые, не видя, что их город разрушен, осквернен. Шли, наталкиваясь на передних, останавливались, пока их не толкали идущие следом. Слепой город. Город слепых.

Когда площадь заполнилась, в южном углу послышался гул бронзовых гонгов, толпа треснула и раздалась, освободив широкий проход, опустилась на колени; тысячи людей стали одинаковыми, от каждого легла тень, каждый стал похож на кучку земли, всю площадь будто разом изрыли тысячи кротов. Чиновники в фиолетовых и лиловых халатах несли жезлы слоновой кости, пестрые полотнища с длинной багряной бахромой; за ними — всадники, сдерживая злых жеребцов тигровой масти: гривы стрижены, песчаные хвосты завязаны узлом; потом паланкины, украшенные ярусами разноцветных зонтов... Ослепительно сверкнула бронзовая колесница, запряженная четверкой вороных с белыми бабками — выпуклогрудых, неустойчивых. Могучий возница в лиловых доспехах натянул шелковые поводья; рядом с ним стоял евнух, держа бамбуковый шест с распяленным желтым халатом, вышитым золотыми драконами, —

одеянием императора Су-цзуна. Сморщенное лицо скопца пожелтело от счастья — он будет вещать от имени Сына Неба! Почтительно склонившись перед желтым, блещущим халатом, евнух достал из алого футляра свиток и громко прочитал:

— Мы, единственный, опечалены недостойным поведением Ли Бо, дерзнувшего выйти за рамки приличий. Осыпанный милостями нашего отца, императора Сюань-цзуна, Ли Бо достиг звания ханьлиня — академика, но бежал к бунтовщику Ань Лушаню. Когда мы усмирили эту бешеную собаку, трусливый Ли Бо стал искать спасения у вероломного принца Линя. Наши непобедимые полки настигли изменника, и Ли Бо был схвачен. Яйцу никогда не соперничать с камнем, никто не смеет безнаказанно нарушать законы Поднебесной. Отныне тот, кто был известен под именем Ли Бо из Цинляни, лишается тени, имени и считается ничем. Подданные любого сословия и звания, встретив черепашие отродье, обязаны плюнуть в изменника.

Евнух вложил свиток в футляр, низко поклонился желтому халату; бережно поддерживаемый под локти, сошел с колесницы, передал футляр Гу И и первым плюнул в Ли Бо, — от близости к государю даже слюна его стала желтой. За евнухом шли родственники императора, родственники бабки и матери императора, родственники жены императора, потом командующие, гости государства, управитель Палаты наказаний, начальник шести отделов Палаты государственных дел, чиновники высоких рангов; каждому рангу соответствовал шарик на шапке — из жемчуга, нефрита, бирюзы, коралла. И каждый плевал — кто выше, кто ниже, кто дальше, кто ближе. За ними тянулись уцелевшие академики: каллиграфы, художники, историки — все в фиолетовых халатах и шапках из тонкого шелка, с табличками из слоновой кости, с печатями на фиолетовых шнурах. Процессию академиков замыкали поэты, они плевали особенно прилежно. Ли Бо не отворачивал лицо, он смотрел на них, узнавая каждого. Как растолстел Ши Хуа, медлителен в движениях, и плевков у него сытый, как соевая подлива. Вот и встретились... А с хранителем дворцовой библиотеки Хань Танем и раньше встречались, любясь драгоценными свитками. Обычно собирались втроем: Хань Тань, Ли Бо и сверщик императорских архивов Дуань Чэнши, собравший одно из лучших в Чаньани собрание рукописей — почти двадцать тысяч свитков; весь дом, даже оконные ниши, заложены свитками, так что и днем темно, всегда горят светильники. Все здесь сделано руками Дуань Чэнши: подставка для кистей, каменная тушечница, чашка для воды. Душа хозяина здесь — в свитках, обернутых в шелка: лиловый Сыма Сянжу, нежно-зеленый — Се Тяо, пурпурный — «Лисао». Какие сокровища! Каждый свиток снабжен значком из слоновой кости, как в императорской библиотеке: у «классиков» значки красные, осевые палочки инкрустированы белой слоновой костью, шелковые желтые завязки; «историки» — значки зеленые, палочки синие, завязки светло-зеленые; Ле-цзы и Чжуань-цзы — значки синие, резные сандаловые палочки, лиловые завязки. Тогда Дуань Чэнши дарил ему драгоценные свитки, Хань

Тань посвящал стихи — теперь оба плюнули. Плюнул понуро идущий за ними каллиграф Сяо Чжи — видно, тоже забыл старую дружбу.

Забыли, как провожали меня до беседки Лаолао, когда я покидал Чаньань? Обламывали зеленющие ветви ивы, чтоб помнить горечь разлуки... Сколько же вас, поэтов, пришло плюнуть в собрата?

Горестно ждал Ли Бо, что сейчас увидит знакомое, такое дорогое лицо побратима Ду Фу. Но уже шли повара, лекари, мастера вееров, предсказатели... Не было Ду Фу. Жив ли? Скрывается в горах или томится в тюрьме, как Ван Вэй? А если б оказался здесь, неужели плюнул бы в старшего брата?

Мало осталось в Поднебесной истинных мужей. Но как бы судьба ни бросала человека в грязь, всегда есть верх и низ, и в горести есть утешение... Он радовался, что не увидел Ду Фу, а на остальных смотрел равнодушно.

Да, он сразу узнал клетку, но с трудом узнал Чаньань: жирные от копоти развалины, поверженные статуи будд, сплюснутую копытами драгоценную бронзу священных сосудов. Мертвецов сгребали в кучи, как опавшие листья. Один так и стоит на коленях у края пруда, зачерпнул воду в ладони, но не успел выпить — стрела пронзила горло; там чиновник, в руке бумага, видно, писал на родину: «Почтенная матушка, сегодня видел вас во сне...» — а голова в квадратной шапке далеко откатилась. Столица мертвых!

Запрягали в повозку мышастых черногривых коней, высоких, ростом в пятнадцать ладоней, на правом плече видно тавро «гуань» — «казенная», на морде жеребца выжжено «восточный ветер», у кобылы — «летающая», но, видно, стары лошади, списаны из кавалерии. А дорога в Елан так далека! Это край болотистых гиблых равнин.

Ли Бо закрыл глаза, противная дрожь сотрясала тело, никак ее не унять; стиснул зубы, вжался костлявыми кулаками в пол. Если б мог он, как барс, отшатнуть толпу громовым рыком, отбросить от клетки страшным ударом когтистой лапы! Если б на миг приоткрылась дверь, он показал бы этим слепым, глухим, немым, что значит истинный муж! И не нужен ему любимый меч Драконов Омут, он не забыл науку Хозяина Восточной Скалы: семь раз упасть, восемь раз подняться.

...Пятнадцать лет ему было, когда он впервые пришел в Чэнду. Целый день бродил по городу, дошел до буддийского монастыря — сюда с двух берегов, со всех улиц и переулков стекались люди. Звенели колокола, гремели барабаны. За первыми воротами продавали птиц и кошек, за вторыми — торговали чиновками, ширмами, одеждой, седлами, в крытых галереях монахи предлагали благовоения, цветы, вышитые повязки, черепаховые гребни, нефритовые шпильки для волос. С трудом выбравшись из толпы, Ли Бо свернул в узкий переулок; здесь было безлюдно, только под старой акацией сидел даос-прорицатель: высокая синяя шапка, в ушах яшмовые кольца, на шее четки, рядом в пыли лежала собака, положив морду на лапы. Выждав, когда дорогу перейдет крысиное семейство, Ли подошел к даосу — он перебирал сухие стебли тысячелистника, от-

нимая от шуршавшего вороха по два и по четыре, делил поровну, снова отнимал, раскладывал...

— Желая вам благополучия во все времена года, — почтительно сказал юноша.

— Молодому господину желаю прямой дороги. Если друг говорит: на север, не думаешь о юге. О чем же задумался молодой господин древнего рода? Эти стебли помогут вам выбрать день, благополучный для пути, — молодые нуждаются в совете.

— И тысячелистник ошибается, почтенный гадальщик, а великий человек подвижен, как тигр, и до гадания знает дорогу.

— Пора и нам в дорогу. — Даос сложил в корзину сухие стебли, свернул циновку. Ли Бо не понял, кому он сказал — собаке или ему.

— Могут ли стать вашим спутником?

— Ну, что вы, зачем утруждаете себя? Разве пристало молодому господину Ли идти с неотесанным монахом? Вы добиваетесь славы великих, а Чжу забыл свое имя.

Всю ночь юноша шел за даосом. Ранним утром увидел хижину: на крыше лежал снег; и в распадке бело от снега, мощные ветви кедра гнул накопившийся снег, потревожит их ветер — рушится снежная ноша, а ветвь выпрямляется облегченно; над кустами багульника облачко запаха, залах слабел и снова усиливался — от куста к кусту, голые веточки густо усеяны розовыми цветами, словно огонь охватил их, стоят в розовом пламени. Наконец, обернулся Чжу.

— Вижу, молодой Ли, от тебя не отвяжешься, цепляешься, как репей. Пожалуй, сосну с дороги.

— Разве не пригласите меня к себе? — голос Ли Бо задрожал от обиды.

— Надо бы палкой тебя прогнать, да уж ладно... Мать дала тебе имя, отец — сердце, а дом человек должен строить сам: посмотри на узоры неба, на линии земли — и строй.

— Я не умею.

— Ты понимаешь слово «строить», можешь написать его на бумаге, а строить не можешь? К чему тогда знание, если не знать сокровенное слов?

— Если такова ваша воля, почтенный Чжу, я пойду. Но как срубить дерево без топора?

— Руда в горах, уголь в лесу.

— Вы смеетесь надо мной! Если я начну искать руду и жечь уголь, жизни моей не хватит, чтоб сделать даже гвоздь.

— Возможно, и так... Хотя, думаю, в мире нет ничего выше человеческих сил, просто человек редко знает свои силы.

До вечера бродил Ли в лесу, пока за стволом обгоревшей сосны не увидел лаз в пещеру, там было темно, сухо. Оставалось разжечь огонь. Он сломал сухую веточку, обгрыз кору, плоский камень нашел, а вату вытащил из подкладки халата. Но ничего не получилось — кажется, скорее кожа на ладонях задымится, чем фитилек. Отдыхал и снова начинал. Дым показался неожиданно, крошечный огонек обжег пальцы, но боли он не чувствовал — завопил от радости. Долго сидел у костра не в силах отвести взгляд от лилово-

зеленого пламени — не верил, что сам добыл огонь, ярко горящий перед его жилищем. Теперь он пригласит Чжу к себе в гости.

Даос тоже сидел возле костра, играл на бамбуковой флейте. Ли подождал, пока он откроет глаза, поклонился.

— Что же стоите, молодой Ли? Пойдем в дом.

Так и стали жить; ловили в ручье рыбу, собирали ягоды, сушили в тени целебные травы и корни, которые даос потом складывал в матерчатые мешочки. Когда набиралось две корзины, цеплял на коромысло и спускался в долину, не возвращаясь три, четыре, пять дней.

Одежда юноши изнашивалась, в холодные ночи он спал, прижавшись к собаке. Когда было тепло, бродил по горам, слушая птиц, пытался им подражать и криками, и звуками флейты. Ему казалось, он забыл шесть канонов¹, зато теперь быстро разжигал огонь, мог найти по запаху воду, знал свойства трав, камней; звуки леса стали понятны; ходил по горам, не уставая; прыгал по камням, не оступаясь. Иногда, поднявшись на вершину, бежал наперегонки с псом.

— Мне, старику, что ли, попробовать? — сказал даос, застав их за игрой. — Да боюсь, кости рассыплются.

Встали по обе стороны большого камня, набрали воздуха, помчались вниз по крутизне. Ли обжег к подножию, вымокнув от мокрой листвы; Чжу в сухом халате, словно и не было утром дождя, — ни одной ветви не задел, ни один камень не струсил.

— Стар я стал, а когда-то был проворным. Вот на севере живет куда проворней меня — мыслью и телом. Его могу назвать настоящим человеком: плывет под водой и не захлебывается, ступает по огню — не обжигается, идет над тьмой вещей и не трепещет.

— Учитель, как этого добиться?

— Спроси у Хозяина Восточной Скалы. Я же учил тому, что знал: холодное делать горячим, идти по траве, спать на земле, различать птиц по свисту, зверей по следам. А Хозяин Восточной Скалы научит тебя не отвлекаться. Познаешь это — сможешь познать одно, два, три. Но путь предстоит неблизкий.

Дорога шла вдоль берега реки, среди цветущих абрикосов и гранатов, от аромата деревьев стало легко в груди, хотелось смеяться. Шли долго, пока Ли Бо не увидел, что река внизу, а он наверху, идет по сверкающему снегу, проламывая острый наст, а наставник Чжу шел легко, не оставляя следов, все дальше удаляясь. Чем сильнее Ли торопился, тем чаще проламывал наст. Ноги дрожали, волосы стали мокрыми от страха. Сел на снег и заплакал, потому что понял — никогда не вернуться в дом у Черепавой горы, где в саду цветут хризантемы, в спелой пшенице кричат фазаны. Слезы замерзли на щеках, руки стыли в рукавах халата.

¹ Шестью священными каноническими книгами древнего Китая были: «И цзин» («Книга перемен»), «Ши цзин» («Книга песен»), «Шу цзин» («Книга преданий»), «Ли цзи» («Записи обрядов»), «Юэ цзин» («Книга музыки»), «Чун цю» («Весны и осени»).

Хозяин Восточной Скалы держал в правой руке желто-зеленый обломок мыльного камня, царапал ножом, слюнявил.

Даос Чжу поклонился.

— Чжу, разве ты забыл дорогу в мою хижину, что тебе понадобился провожатый? Или ноги подгибаются от дряхлости?

— Не я пришел — молодой Ли привел. У него к вам почтительная просьба.

— Да уж пусть говорит, все равно день пропал.

— Хозяин Восточной Скалы, говорят, вы poznали Дао?

Старик засмеялся, камень в морщинистых руках затрясся.

— Чжу совсем спятил, если сказал такое! Видишь, чему научился за всю жизнь — не сгонять комара со лба.

— Без этого как постичь Дао! Научите не сгонять комара, если сядет на лоб.

Хозяин Восточной Скалы сжал нож, выставив кончик лезвия, скреб камень и скреб. Даос Чжу расстелил циновку, захрапел. А отшельник скребет камень — то сверху, то снизу.

— Режут не ножом — способностью видеть; постигают не умом — размышлением.

— Как же этого добиться?

— Если скажу сейчас, что будешь делать остальные весны и осени? Кто же сажает в огороде созревшую тыкву?

— Почтительно пришел за семенами.

— Семена берут из тыквы: мякоть съели, семена оставили. Вот ты заладил, чтобы я стал твоим учителем? Но ты не сможешь выполнить мои требования.

— Я буду очень упорным в послушании. Сколько лет понадобится?

— Для любого дела нужна жизнь, в спешке человек редко достигает понимания.

4.

Однажды сидел у ручья, наблюдал, как снеговая вода кружит прошлогодние листья, то прибывая к камню, то отрывая от камня. Солнечный свет вспыхивал на сколах льдинок. Вдруг Ли Бо увидел тень в ручье, подобную угрю, и в тот же миг на него обрушился удар — Хозяин Восточной Скалы, неслышно встав за спиной, ударил посохом. Все тело, от шеи до поясицы, пронзила нестерпимая боль, из глаз брызнули слезы.

— Учитель, разве я сделал дурное, зачем ударил меня?

— Доволен твоим послушанием, — не смог удержаться от похвалы.

С тех пор случался редкий день, чтобы Ли не пробовал бамбукового посоха. Научился распознавать спиной его конец и рукоять, все утолщения, изгибы. Посох настигал его, когда он ел, спал, мочился на корточках, рубил хворост, перебирал рис... Тело почернело от кровоподтеков, кости разбухли от боли, пальцы рук скрючились.

Прошел еще год, прежде чем ученик научился отражать удары

наставника — сидя, стоя, лежа; спина стала зрячей, насмешливой к боли, шея — гибкая, словно стебель лилии. Он громко смеялся над неуклюжим учителем. Поняв, что ему не застать юношу врасплох, отшельник швырнул посох под лежанку.

Однажды Ли Бо увидел во сне мать: алой нитью вышивала белый шелк, утка и селезень как живые. Кончилась нить. Пока мать искала другую, игла упала на циновку, а мать ищет, маленькие пальцы все ближе к острию — сейчас вонзится. Сын хочет крикнуть, а губ не разжать, и так жаль стало матушку, что заплакал. В тот же миг вспыхнуло в глазах, разлетелось тысячью огней. Он открыл глаза — рукав был мокрый от слез, но руку не чувствовал, словно отрубили ее; когда учитель ударил, прикрыл рукой лицо, но не напряг ее — сердце в тот миг печалилось о матери.

— Учитель, почему вы так сильно ударили меня, когда я плакал во сне, жалея матушку?

— В сердце носящего меч должна быть пустота. Только спокойная гладь отражает луну. Если хочешь увидеть, что ива зелена, а лепестки розы красные, пусть тело станет подобно древнему зеркалу: чуть ветер разгонит тучи, луна мгновенно отражается в озере; стоит поднести орхидеи к зеркалу — они в зеркале.

— Пусть луна отражается в озере, а орхидеи в зеркале, но почему так больно?

— Потому что берешь тупицу-ученика — отдаешь сына. А теперь убирайся из моей хижины!

Отшельник ушел, а ученик всю ночь не сомкнул глаз. Вышел во двор и смотрел, как медленно луна плывет по черному небу. Ни одной звезды не видно — только луна. Он устремился к ней, как дым очага, поднимаясь все выше, пока луна не приблизилась, а земля не отдалилась, — так, что он мог протянуть руки и стянуть их, как концы ярма. Ли Бо был готов к дороге, осталось почтительно попрощаться с учителем. На рассвете, пока не рассеялся туман, он выбрал из кучи хвороста сук потолще и прямее — для посоха, дорога предстояла дальняя.

Учитель как раз кончил варить чай, сидел, закрыв глаза, вдыхая аромат чая, в одной руке держал длинную ложку, в другой — крышку от котла. Так тихо, что ни одна травинка не сбросила росу, ученик подошел к учителю и, оглушительно крикнув: «Хэ!», со всей силой ударил суком по склоненной голове. Но наставник, не переставая вдыхать запах чая, отбил удар крышкой котла.

— Отведай осеннего чая с Южной горы. Совсем свежий, вчера вечером сушил. — Ли Бо взял протянутую чашку чая. — На равнинах другой запах, другой цвет. Теперь комар не помешает тебе думать о своем.

Вошел в хижину, вышел, держа в руке зимородка, вырезанного из мыльного камня, желто-зеленого; потер стеблями хвоща — стали видны перья, прожилки на лапах.

— Прими от Хозяина Восточной Скалы. Когда ты пришел с наставником Чжу, я смотрел на камень. Теперь, когда расстаемся, преподношу скрытое в камне. Лучше помолчим... Что бы ни сказал

тебе, поспешишь показать свое умение... Уже сейчас думаешь, как отомстить сильным, защитить вдов и несовершеннолетних, установить справедливость в Поднебесной. А рука твоя не для меча... Но если уж взял меч — не рассуждай. То же и с кистью... Вспомнишь, когда Хозяин Восточной Скалы покинет эти места. Ты три года не был дома, я — пятьдесят. А какие перемены в Западной столице? Дворец теплых источников стали называть Дворцом блеска и великолепия. Была на престоле женщина, теперь мужчина, но управляют Поднебесной ни мужчины, ни женщины. Что же можно изменить в царстве, где тысячу лет ничто не меняется? Этим несокрушима Поднебесная. — Погладил каменную птицу. — Летит во вселенной, а где ее дом?..

5.

Ли Бо любил Чанъань, мощь ее красно-желтых глиняных стен и великолепие алых дворцов, императорский парк, чудесные сады, прозрачные пруды с красными карпами и золотыми рыбками, прохладные залы Императорской академии «Лес кистей» и Академии музыкантов «Грушевый сад», громадного полированного единорога из черного мрамора, охранявшего резную арку, ведущую в Императорскую библиотеку, бирюзовые и золотистые черепицы крыш храма Лао-цзы, но еще больше любил уличную тесноту, оглушительную толчею винных лавок, харчевен, публичных домов, рынков. Неспешно продвигаясь верхом, он наслаждался пестротой лиц и одежд, зорко вглядываясь в них. Босые мальчишки бежали следом, бродячие рассказчики прерывали рассказ, и вся толпа слушателей вслед за ними смотрела на Ли Бо. А если он громко, нараспев читал несколько строк, уже через час или два весь громадный город повторял слова, мастера тут же писали их на шелковых и костяных веерах, запрашивая вдвое против обычной цены, их пели напудренные головки веселых домов Пинкана, бродячие рассказчики тут же вставляли в повествование.

Ван Вэй был не менее велик, но, чиновник высокого ранга, сановник, он проводил время при дворе, или в монастырской тиши, или в загородном доме на реке Ванчуань. Другие известные поэты собирались в Академии у ворот Золотого коня, а Ли Бо давно перестал ходить на заседания, ему надоели скучные споры и лицемерные похвалы — поэтом он чувствовал себя в травяной хижине высоко в горах, в одиночестве и тишине или здесь — в густом кипении толпы, где все знали его и он знал всех, приветствуя тюрка по-тюрки, торгуясь с уйгуром по-уйгурски, бранясь с туфаном по-туфаньски. Это среди двухсот академиков-ханьлиней он знал десятка два, а на Персидском подворье, на улицах Пяти углов и Трех перекрестков, на Рисовом базаре, у моста Двойной радуги, на Лоянской дороге он знал многих торговцев, хозяев винных лавок, водоносов, литейщиков, предсказателей, погребальщиков.

А сейчас все они плевали в него... Уже солнце зашло за крепостную стену, ласточки летят низко, кричат, склоны дальних гор

зелены, густо заросли акацией; там водятся фазаны, на рассвете и вечером кричат петухи, самки кладут весной желто-черные, рабье яйца, незаметные даже с двух шагов. Блестит вода в каналах, прорезавших рисовые поля, ветер доносит запах абрикосовых садов.

Ли Бо открыл глаза, когда вздрогнула клетка, зашкрипели деревянные колеса — жеребец и кобыла повлекли повозку. Стражники крепко сидели в седлах, мальчишки путались под копытами, бережливые крестьяне собирали в корзины конский навоз. С площади свернули в переулочек, так, переулками, выбрались на Крепостную улицу — к городским воротам.

Недалеко от крепостных ворот — лавчонка «За изгородью»; полосатый зеленый флажок поднят над крышей — значит у хозяина есть вино. Гнусная лавка, самая грязная по всей Чанъани, настоящий воровской притон, зато в прежние времена Ли Бо мог сидеть на липкой лежанке, потягивая горячее вино, — посланцам государя и в голову не придет искать Ли-ханьлиня среди бродяг и воров.

А вот и беседка Лаолао, окруженная ивами. Молодые чиновники провожают приятеля — видно, получил назначение на должность начальника уезда. Встали в очередь перед клеткой, плюнули и снова весело пируют — в таком возрасте разлука не ранит сердце, встретятся еще много раз. Когда-то Ли Бо провожал здесь старого Мэн Хаожаня — и тогда ивы зеленели, расставаясь, ломали ветви, чтоб разлука стала горькой, как ивовая кора, понимали, что разлучаются навсегда... А теперь он сам навсегда покидает столицу, но никто не провожает его, некого обнять, не на кого оглянуться, чтоб увидеть в ответ взмах руки. Только ветер перебирает поникшие нежные ветки, что-то шепчет, да разве услышишь? Только ветер донес нежные звуки флейты — мелодию «Сломанных ивы»; все дальше разлука уносит людей, все дальше стены Восточной столицы.

Слышу «Сломанных ив» мелодию,
Светом полную и весной...
Как я чувствую в этой песенке
Нашу родину — сад родной!¹

О родина! Родился ли тот, кто прошел твои дороги, видел твои города, поднялся на твои священные вершины? Ты прекрасна во все четыре времени года, бескрайняя во всех направлениях, на равнинах твоих зреет рис, густые леса отражаются в реках на тысячу ли, по течению плывут желтые кувшинки, против течения плывут карпы, сотни тысяч деревень-десятидворок с тутами на меже, могилами предков, но в каждой деревне свое, близкое, родное. Тысячи садов цветут, но только в Чанжоу айва и цветет и дает аромат; тысячи источников утоляют жажду, но только в Цзюшоане колодезная вода имеет привкус вина. Вот и он идет по красным, оранжевым, желтым дорогам, зажав подмышкой посох, чтобы, забыв обо всем, чашей вина влиться в могучую реку людей, стать вкусом жизни, — а иначе

¹ Пер. А. Гитовича.

для чего человеку необычный, редчайший талант? Летит во вселенной и вся Поднебесная — его дом: реки и горы, деревья и камни.

О Родина! Неужели, славя твои священные вершины и тучные реки, я заслужил только плевки? Я вижу в груди кирпичей старую тушечницу, лак на крышке сморщился от жары, стал черно-зеленым, как тушь. Если б я мог растереть тушь, напитать свою кисть...

О родина! Сколько лет я бродил среди трав и снегов, в непроходимых бамбуковых чащах и долинах, пользающих разноцветьем тюльпанов. Шагами исполина я пересек Поднебесную с запада на восток, в горах Эмэй и Дайтяньшань годами жил в травяных хижинах, постигая Дао, проникая строптивым разумом в сокровенное десяти тысяч вещей, успокаиваясь, как водопад в заводи. Ради великого спокойствия, разлившегося до краев вселенной, я поднялся на вершины, чтобы окинуть взглядом мир, вобрать его в зрачки, на кончик кисти и начертать на небе знаки, подобные зарницам. Тогда сердце мое обрело спокойствие и безмятежность; вечность и бесконечность протяженность пространств, лежащих в основании всех перемен, казались простыми, как каштановые балки, крестом уложенные в основании кровли; я даже различал на потемневших балках копоть веков от негасимых костров мироздания. Звездная Река струилась в океан, луна катилась в небе вслед за солнцем, сама земля дышала ровно, и я испытывал невыразимую нежность к Поднебесной, оглядывая желтеющие равнины, любуюсь весенним разливом Хуанхэ, розовой от персиковых лепестков, она остужала красные гаоляновые поля Шу¹, шелестящие от зноя; мой свист срывал лавины с ледников Тянь-Шаня, падая прохладой на пыляющую жаром Великую стену, громадным драконом распластавшуюся по хребту Бадалин. Я поднимал глаза — видел вселенную, опускал глаза — видел землю; бережно растирал тушь в выемке камня и, перестав дышать, думать, чувствовать, существовать, исторгал священные знаки. В такой миг даже вселенная не решалась творить, держа над моим плечом, как свечу, звезду Куй.

О родина! Как я люблю тебя! Забыв обо всем, ничего не желая, кроме мира тебе, вечного мира тебе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

«Спешите склониться в поклоне перед повелителем печати!» Стражники охрипли — в каждом окружном и уездном городе, в каждой деревне, где из десяти дворов только в двух остались жители, надо кричать и сгонять людей. Гу И растолстел, ворочается в паланкине, как рис в котле, читает указ и первым плюет в преступника; даже закрыв глаза, Ли Бо узнает из тысяч плевков его слюну.

Пылит дорога, скрипит повозка.

¹ Шу — ныне провинция Сычуань.

В лучах закатного солнца вершины гор становятся желтыми, потом розовыми и, наконец, красными. Длинные сиреневые тени ложатся на поля, в ущельях сгущаются до фиолетовой темноты; берега каналов, выложенные каменными плитами, различимы лишь по границе пламенеющей переливчатой воды, расцвеченной тростниковыми парусами, носовыми и кормовыми фонариками рыбацких лодок, огромных грузовых дожнок с белыми холмами соли. Месяц прозрачен и нежен, солнце торопится скатиться за вершину; в последних пурпурных лучах горы вспыхивают и сразу гаснут, словно кто-то задул их, как свечи. Все окутывает тишина, не отвести взгляд от зелено-голубой луны — опустишь глаза и, если небо чистое, без облаков, видно деревья и тропу, и течение воды в канале, и все просвечено холодным зеленоватым светом.

Луна взошла над деревней, а на сердце не радостно, тяжело, снова вспомнил командующего Ду Бинькэ.

Последний друг ушел... старый полководец принял последний бой — без войска, без пурпурных и лиловых стягов, безоружный, один. И разве заботой о государстве оправдаешь такую вину?

Ли Бо сидел в клетке, не видя ни своей тени, ни самого себя. Пора и ему уходить — он засиделся в гостях. Нельзя спасти мир, где правда не отличается от лжи, где за каждое слово теряешь друга. Что толку кричать! Великие дела совершаются молча: человек смотрит, как шмель сердито гудит, заблудившись в сонно-ленивых астрах; случайно взглянув в окно, увидел друга под мокрым зонтом; одиноко бредешь в горах, вдруг услышал — совсем рядом кто-то играет на флейте. Неужели это величественнее охоты на свирепого тигра, строительства Великой стены, покорения варваров? Да! Величие этих дел ни с чем не сравнимо, — они никому не причиняют зла, полны любви и нежности ко всему живому. Но спасут ли они мир?

2.

Июньским днем повозка въехала в Хуансянь, красная пыль долго не оседала. Гром, как мяч, прыгал по черепичным крышам, вырвавшийся из переулка ветер размахивал сорванными листьями указов — красными, словно листья кленов. Сердито хлопают двери, рвется бумага, и окна похожи на обруч с воткнутыми ножами, сквозь который прыгает ловкий жонглер, потешая толпу на базаре.

Знакомые места... Старый серый мост, крытый красной черепицей... Тот ли здесь начальник, что прежде, когда Ли Бо разъезжал на осле перед ямынем, пронзительно распевая песню? Когда писарь доложил, что кто-то разъезжает перед ямынем на осле, да еще сидя лицом к хвосту, начальник сам вышел из присутствия взглянуть на наглеца.

Стражники стащили Ли Бо с осла, но он притворился пьяным, еле ворочал языком. Его поволокли в тюрьму: протрезвится, тогда уж строго допросят и строго накажут. Но, оказавшись в тюрьме, Ли Бо погладил острую бороду и громко рассмеялся в лицо начальнику тюрьмы.

— Вероятно, это сумасшедший! — произнес тот вслух.
— Совсем я не сумасшедший, — сказал Ли Бо.
— Раз ты не сумасшедший, изволь дать подробные показания: кто ты такой и как посмел разъезжать на осле, оскорбляя нашего начальника?

— Если тебе нужны мои показания, подай бумагу и кисть!
Когда надзиратель положил на стол бумагу и кисть, Ли Бо столкнулся с лежанкой начальника тюрьмы.
— Ну-ка, посторонись, я буду писать.
— Посмотрим, что напишет этот сумасшедший, — сказал с усмешкой начальник.

Ли Бо написал: «Дает показания человек из Цинляни, по фамилии Ли по имени Бо. В четырнадцать лет он был уже полон литературных талантов. Взмах его кисти заставлял содрогаться небо и ад. Он начертил письмо, устранившее государство Бохай, и слава о нем разнеслась по вселенной. Не раз приезжала за ним колесница самого императора, а императорский дворец служил ему ночным кровом; государь собственной рукой размешивал ему суп и своими руками отирал ему слюну. Сын Неба позволял ему въезжать на лошади прямо во дворец, а какой-то начальник уезда не разрешает ему разъезжать на осле!»

Окончив писать, он передал листок начальнику тюрьмы. Тот прочитал и посерел от страха.

— Почтенный ханьлин! — взмолился он, низко кланяясь. — Пожалейте глупого человека, который выполняет чужие приказания и не свободен в поступках. Возлагаю все свои надежды на то, что вы будете великодушны и простите меня.

— Ты тут, конечно, ни при чем. Передай начальнику уезда, что я приехал с распоряжением от самого императора и хочу знать, за какую вину меня подвергли аресту.

Начальник тюрьмы с поклоном поблагодарил Ли Бо, поспешил представить его показания и сообщил, что арестованный послан самим императором. Начальник уезда в тот момент напоминал малыша, который впервые слышит гром и не знает, куда спрятаться. Ему ничего не оставалось, как последовать за начальником тюрьмы. Низко кланяясь, он жалобно просил:

— Покорнейше прошу простить глупого начальника...

— Где ты увидел здесь начальника? — Ли Бо огляделся. — Я вижу только большую кучу дерьма.

По городу разнесся слух о происшествии, и все местные чиновники пришли к Ли Бо с поклоном, попросили его пройти в присутствие, занять почетное место. Когда церемония представления чиновников закончилась, Ли Бо спросил:

— Какого же наказания вы все заслуживаете, негодяи?

— Тысячекратной смерти! — ответили они, встав на колени.

— Ведь вы все получаете казенное жалованье, зачем же еще грабить и тешать народ? Получить чин и служить на посту — в этом ведь особых трудностей нет. Но нужно суметь оправдать доверие государя и не причинять вреда народу. Даже когда решается вопрос о

жизни и смерти, когда дело сулит почести и высокие чины или, напротив, грозит казнь, ничто не должно лишать вас честности. Ни в коем случае не следует поддаваться соблазну, которым вас могут искушать недостойные люди, и зариться на мелкие выгоды. Если вы измените долгу и чести, то, пусть вы и станете пользоваться благами, все равно люди последующих поколений вспомнят вас с презрительной усмешкой. А если вы будете тверды в убеждениях, то вам вполне можно стать не только начальниками, но и министрами. Начальник уезда должен думать только о том, чтобы соблюсти закон, и не должен интересоваться, вызовут ли его действия подозрения окружающих. Его интересует только, справедливо или несправедливо поступили с человеком, а не то, богат он или беден.

— Ваши золотые слова всю жизнь буду хранить в памяти, — сложив на груди руки, хныкал начальник уезда. Сам усадил почтенного ханьлиня в паланкин, скороходы с белыми палками разгоняли встречных: «Едет Ли-ханьлинь, посланный Сыном Неба для тайных наблюдений за нравами и обычаями в Поднебесной! Слезайте с коней, спешите склониться в поклоне перед повелителем печати!»

А сейчас в Хуансяне кричат: спешите плюнуть в черепашьё отродье! Сам начальник уезда встречает его, улыбаясь, шевеля толстыми губами — торопится набрать полный рот слюны; помощник начальника канцелярии, судебные приставы, два писаря, казначей — все тут как тут, не забыли Ли Бо. Чуть не наперегонки прибежали к клетке, еле дождавшись утра, но все-таки почтительно пропустили первым «отца и мать народа». Каким же он был тогда глупцом, возомнив себя исправляющим нравы! О, небо! Взгляни на «отца и мать народа»: как он важно ступает, лицо расцвело хризантемой: когда еще доведется плюнуть в лицо бессмертного! Уже завтра местный художник почтительно преподнесет шелковый свиток с картиной «Грозный начальник уезда плюет в презренного Ли Бо, дерзнувшего выйти за рамки приличий». Вот и дети пришли посмотреть на отца, и вся родня; они тоже плюнут, но разве сравнить их ничтожную слюну со слюной «отца и матери народа»?

Ли Бо хрипло засмеялся. От неожиданности начальник уезда отшатнулся, упал, наступив на полу халата; с ужасом поняв, что потерял лицо, отчаянно барахтался в пыли, как крыса с переломанным хребтом, пронзительно крича: «Безобразие! Какое безобразие! Как смеет черепашьё отродье смеяться над „отцом и матерью народа“! Немедленно... немедленно...» А что «немедленно»? Схватить схваченного? Бросить в тюрьму посаженного в клетку?

Ли Бо хохотал.

О, Ли Бо, как велики твои горести и как ничтожны радости!

3.

Единственное, что осталось у него, — воспоминания; он оглядывал прошлое, спасался в пережитом, уносившем его из клетки

на крыльях желтых журавлей. Но и вспоминать с каждым днем становилось труднее, мысли ворочались лениво, вытряхивались из головы на каждой рытвине, прошлое затягивало серой пеленой, и ничего не хотелось, только есть, есть, есть. Когда стражники ели, он не мог оторвать взгляд от дымящихся мантоу, жалающих пальцы горячим мясным соком, от проворных палочек, таскавших рис из чашки. Ему, как собаке, бросали в клетку рыбы кости, соленые овощи, иногда молодой стражник вытряхивал на грязные доски рис из своей чашки, и Ли Бо, жадно чавкая, ел, боясь, что отнимут и эти обеды.

В каждой деревне староста устраивал угощение для Гу И, кое-что перепало и стражникам, но Ли Бо доставались только плевки. Лишь однажды мальчик с косичкой на стриженной голове почтительно поклонился и положил рядом с прутьями три горячих пампушки. Ли Бо заплакал — впервые за столько месяцев в него не плюнули; он плакал, а жадные пальцы сами запихивали в рот пампушки, соленые от слез, он ненавидел трясущиеся грязные руки, бил их о железные прутья и плакал, даваясь пампушками.

4.

Меру риса как ни пересыпай, ни перевешивай — сколько было, столько и останется. А мера человеческой жизни иная. Не только в разные годы, но, случается, с восхода солнца до заката то уменьшается, то прибывает, то легче, то тяжелее; плывет, как облако по небу, меняя очертания, цвета, и долго надо всматриваться в неслышное движение, неуловимую глазом перемену очертаний и света, чтобы сказать об облаке нечто определенное.

...Далеко внизу, на земле стояли два человека: один лет сорока четырех, второй — лет на десять моложе. Смотрели на небо. Стояли, запрокинув головы, и всего шаг разделял их. А небо, бесконечное над ними, плавно меняло цвет между горизонтами от малиново-пурпурного до сапфирового; над облаками оно казалось прозрачнее — то голубое, то лиловое, то жемчужное. Эта игра света, облаков и облачных теней наполняла душу изумлением. Луна того же облачного цвета, цвета лепестков цветущей дикой груши, только прозрачнее, словно потерялась в небе, растерянно ища взглядом большие облака, уходившие все дальше на северо-запад.

Молодому стало жаль одинокую луну, такую маленькую среди огромных облаков, похожую на них и непохожую точной полукруглостью; взгляд его стремился к ней, но не достигал небесной высоты — его сдувал мощный ток небесного ветра.

Старший, подняв суровое лицо, пытался вспомнить, что напоминают ему облака; опустил глаза, привычно огладил поседевшую, заостренную бороду и увидел спутника — лицо его в серебристом свете было счастливым, словно он знал, зачем смотрит на облака. Что же увидел он в великой книге перемен земли и неба?

Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая...

Слова, произнесенные громко, нараспев, взлетели стайкой зимородков, касаясь крылом друг друга, разноцветно закружились перед глазами младшего. Он, наконец, увидел старшего, низко поклонился, коснувшись пальцами травы; не поднимая глаз, продолжил течение строк:

Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая¹.

— Прошу господина простить меня, невежественного, что помешал уединению.

— Мы не помешали друг другу. Одиночество двух — что может быть более одиноким. В моем возрасте ценят луну, в вашем — завидуют облакам. С чем их сравните?

— Молоко пролито в озеро.

— Вот, всего три слова, а какое облегчение! Я лишь никчемный бродяга, но хочу оставить что-нибудь на память о нашей встрече.

— Вы одарили меня строками Ли Бо, а я ишу написавшего.

— Зачем вам этот беспутный? Только и забот у него: подняться на все священные горы, увидеть все реки. Есть у вас ночлег для сегодняшней ночи, есть золото или серебро?

— Ни золота, ни серебра не имею, но, если почтенный нуждается, прошу принять от чистого сердца. — Младший путник отвязал от пояса сердоликовую подвеску-цаплю. — За нее дадут меру риса.

— Сам хотел вам предложить то, что имею, вижу — идете издалека. Если соседство незнакомца вам не в тягость, проводите до покосившейся лачуги, мне будет спокойнее. Не о нас ли с вами сказано:

Сбитые ливнем листок и былинка
В море сойдутся, куда б ни упали.
Так вот и люди: скитаюсь по свету,
Где только в жизни ни встретят друг друга?

Вижу, нам по пути, хотя вы только собираетесь на рынок, а я возвращаюсь с рынка. Ничего не купил, иду с пустыми руками. Назовем друг другу имена, а то стоим с завязанными глазами, судим друг о друге наощупь.

— Зовут меня Фу из рода Ду. Хотел бы выплавить в горне всю свою душу, основу вещей сохраняя. Но где те мысли достать, чтоб напомнили Тао и Се? С кем мне теперь сочинять, с кем бы теперь мне дружить? А вы давно ли ушли из семьи, куда держите путь?

— Захмелевший, бреду по луне, отраженной в потоке.

Ду Фу поклонился старшему.

¹ Пер. А. Гитовича.

— Если вы тот, давно знаю вас, думаю о вас с уважением, смотрю с восхищением, как люди смотрят на звезду или святую гору. Если вы меня, недостойного, приблизите, никогда не кончить нам разговоров. Жил недалеко от столицы — в Шаолине, но все не решалось представиться вам. Знать бы раньше, разве стал бы ждать столько лет?..

— Раз вы из Шаолиня, значит, владеете у-шу¹. Встречал монахов из Шаолиня — трудно в рукопашном бою устоять против них.

— Искусством у-шу не владею, не признаю насилия. Но довелось видеть искусство Гуньсунь, она училась у монахов Шаолиньского монастыря. Ее стремительный меч сверкает, как девять падающих солнц; она движется с быстротой и мощью стаи драконов; ее удары и атаки подобны страшному грому. Но когда она останавливается, все замирает и успокаивается, подобно водной глади, отражающей ясную луну.

— Подметили вы точно. Ну вот, за приятной беседой пришли в мою лачугу. Хозяин торгует соевым творогом, зовут его Тао Вань.

— Сяньшэн², не сердитесь за назойливость, но почему променяли Чаньань на хижину с закопченными стенами, ворота Золотых коней на покосившуюся дверь с порванной бумагой?

— Рыба, которая начала портиться, свежей не станет. Государь, приближающий лжецов, превращается из дракона в мелкую рыбешку. При дворе теперь ценят женщин из Шу, а мужей из Шу не хотят слушать. Вынужден был оставить столицу, уже не скорблю. Днем вижу воды реки Ло, паруса рыбаков; стемнеет, слушаю пенье сверчка. Что еще надо такому, как я? В большой миске творог, полкруга чая, вода в котле. Ночь полнолуния встретим вдвоем. Развяжите халат, будьте как дома. — Ли Бо снял меч, развязал пояс, скинул шапку и туфли, зеленый халат подложил под голову. — Каждый день ем соевый творог. Пожалуй, пора перебираться к соседу Суну — там торгуют бараниной. Все творог и творог...

Омыли руки. Ли Бо отломил кусок чая, мелко истолок, скрипя ступкой, бросил в закипевшую воду. Ду Фу, ломая сухой тростник, клал в очаг, любуясь огнем. Дым ему не досаждал. А у Ли Бо глаза огромные, от дыма слезятся, вот и отгоняет веером. Не выдержал — отодвинулся подальше.

Запивали творог чаем, глядя друг на друга поверх чашек, ни с того ни с сего улыбались.

— Возвращался опечаленный, не видя земли под ногами: надеялся быть первым на столичных экзаменах, но в списках не оказался даже последним.

— Не печальтесь, Ду Фу. При нынешних правителях в государственных делах царит беспорядок и хаос. Честность и справедливость совершенно исчезли; высокие посты достались низким людям; тем, кто дает взятки, пишут на сочинении красной тушью «выдержал».

¹ Боевая борьба и фехтование.

² Почтительное обращение к старшему, учитель.

— Как не согласиться! — Ду Фу отложил палочки для еды. — Опечаленный, хотел навестить Ван Взя, живущего на реке Ванчуань. Открыл калитку — в саду сосны и хризантемы, роща бамбуков в пыли, на каждой сосне гнездо журавля. Дверь приоткрыта. Пол застелен свежей травой, на столике чашка еще не остыла. Дождь только прошел, сбил с груш лепестки цветов, слуга подметал их попынкой метелкой. Увидел меня: «Господина нет дома. Что передать?» А что передать? Пока не стемнело, бродил по тропинкам вдоль светлых ручьев, впадающих в Ванчуань, по мокрым пшеничным полям, все думал: вдруг встречу Ван Взя? Опечалился еще больше.

— Не грустите, застанете в другой раз. Сеть состоит из одних дыр, а в нее попадает рыба.

Ду Фу молчал, подкладывал стебли в огонь.

— Вас встретил, не зная, где вы живете... Ван Взя не застал, придя в его дом. Надеялся хоть по ямкам посоха отыскать...

— Ван Вэй не опирается на посох. В один год мы с ним родились, одно прозвище нам дали — будда Цзянсу¹, но я переждал дождь под деревом бодхи, ушел, поэтому вы и не встретили меня дома — давно забыл, как пишется этот знак, живу вдалеке от людей. Кто упрекнет меня, что странствую близко от дома? Спрашивают: что вы там живете, в голубых горах? Смеюсь и не отвечаю... Сердце мое спокойно, есть другой мир — не наш, человеческий.

Ли Бо взял из резной шкатулки два нефритовых шарика, стал перекатывать между пальцами.

— Придаете пальцам гибкость? — спросил Ду Фу. Малиновый отсвет углей освещал потные лица. — Хотел бы иметь начертанное вашей кистью.

— Мы с вами в одной чаше лотоса. Что бы такое написать?

Ли Бо отложил нефритовые шарики, поддернул рукав. Мягким движением руки растер тушь на плоском камне, неподвижно разглядывал шершавый лист бумаги. И вот на бумаге начертаны знаки, — тушь то густая, то просвечивает зеленью. Поставил сбоку имя гостя, день, месяц и год, в левом углу внизу начертал «Ли Бо из Цинляни». Поискал на поясе малахитовую печать, окрасил кинув, оттиснул. Почтительно склонившись, подал гостю свиток на вытянутых руках.

— Пожалуйста, примите эту вещь с улыбкой, не придавая ей особого значения.

Гость залюбовался мощным благородством кисти, стремительным ритмом.

— Благодарю вас за щедрый подарок, поверьте, сохраню его, как драгоценность. В начертанных вами знаках чувствуется глубокая любовь к жизни и к прекрасным ее проявлениям. Поразительно, как всем владеете в совершенстве — кистью, словом, мечом! Я же, за что ни берусь, только напрасно теряю время.

¹ Прозвище Ван Взя. Так же иногда называл себя и Ли Бо.

— Воин, художник, поэт не рассуждают — они сражаются, рисуют, слагают стихи. Таковы в нашем роду, ведущем начало от Лао-цзы.

— Ну где моим предкам до ваших! Ничем не прославили род Ду, ничем Поднебесную не удивили. Вот и я уж таков. Ваш хозяин умеет готовить соевый творог, а я даже этому не обучен.

Ли Бо хлопнул по коленям, засмеялся.

— Вот вы какой! Потянулся к вам, как к пунцовой розе, не заметил шипов. — Снял с головы повязку. — Помогите процедить вино, луна вот-вот станет полной, а мы еще не радовались ей.

Вышли в сад. Луна неподвижно стояла в небесах — лилово-зеленая, сияющая. Верхушки бамбуков покачивались, стучали, в тишине заливалась нежной трелью одинокая лягушка.

Спали на одной постели, укрывшись одним одеялом. Разбудил их гром барабанов и гонгов. Ли Бо схватил меч, завязал шапку. Наспех одевшись, спустились на берег реки — увидели войско. Раннее солнце осветило тяжелые знамена, бунтуки из черных хвостов яков, доспехи, оружие. Пяток за пятком, полусотня за полусотней идет пехота. Сотрясается настил моста, но уже плотники навели переправу для конницы, мутные волны перехлестывают бревна, копыта коней скользят. Гремят барабаны, поют солдаты.

Горы Ушань высоки, так высоки и огромны,
Воды Хуай глубоки, трудно их нам перейти,
Как бы желали к себе на восток мы вернуться,
Но сломан наш мост и не чинят его.

Войску не видно конца. Вчера еще на холмах цвели олеандры, сегодня вырублены — иначе не пройдут боевые колесницы. Новобранцы сидят неловко, сползают набок, подпруги затянуты слабо: как утром седлали коней, так ни разу не затянули ремни. Старослужащие вросли в седла, некоторые дремлют, опершись на короткие черные пики.

А по мосту все идет пехота. У простых солдат халаты запахнуты, крепко подпоясаны, воротники черного меха, волосы скручены в пучок на макушке, шапки завязаны под подбородками. Мечи длинные, копья длинные, у каждого к поясу подвязан мешочек, в нем точило для клинков и наконечников, сухой рис, заклинание от трех болезней и семи несчастий, короткая палочка.

— Откуда вы, храбрецы? — громко спросил Ли Бо.

Пожилой командир полусотни плотнее надвинул шапку на морщинистый лоб.

— Из Фэньяна.

— Варварам воевать привычно с рожденья, как нам возделывать рис, но пусть не грозят поить в наших реках коней. О, когда же разобьем врага на просторе, чтобы каждый из воинов лег и выпасться мог. Смелее, храбрецы, когда воля сильна, стрела вонзается в камень.

— Уж в мясо она вонзится, — крикнул кто-то.

Женщины давали солдатам узелки с вареной чечевицей и

творогом, лепешки, а то и просто наливали в глиняные чашки чай — но разве выпьешь на ходу? Молча смотрели старики. Только мальчишки, визжа от радости, бежали за солдатами, размахивая палочками.

Рядом с Ли Бо и Ду Фу остановился торговец творогом Тао Лань.левой рукой оперся на сухой стебель лебеды, правая скрючена.

— А, хозяин? — удивился Ли Бо. — Посмотри, разве таких храбрецов одолеть врагу. Не успеешь сбить творог, а войско вернется с победой, несметные тысячи пленных погонят, как скот. Где прошли наши кони, там наша земля!

— Э, почтенный ханьлинь, сколько их уже прошло мимо моей хижины: войска Ду Бинькэ, Гэшу Ханя, Ань Лушаня, Гао Сяньжи... Не упоминай даже полководцев — они-то всегда возвращаются, а солдаты остаются в земле, где прошли наши кони. Разве не знаете: «Возьмешь чужую землю левой рукой — правую потеряешь, возьмешь чужую землю правой рукой — левую потеряешь»?

А войска все шли и шли — по мосту, по переправе, накатывались на берег, словно волны. Командиры полусотен и сотен ехали верхом; оруженосцы держали над ними зонты. Тысячников несли в паланкинах.

Охранение левого фланга, вскинув плети, поспешно оттеснило жителей, освобождая дорогу всадникам в алых плащах и шапках, украшенных перьями снежных фазанов; окруженная с боков конвоем, сверкала бронзовая колесница. Рядом с возницей стоял рослый человек в доспехах из темного золота, положив руку на рукоять меча в деревянных ножнах. Обветренное лицо со шрамом наискось под бородкой выглядело устрашающим, свирепым. По тому, как громко приветствовали его войска, было видно — это не тысячник, чином повыше. Он хмуро смотрел на воинов, на жителей.

Увидев Ли Бо, вырвал у возницы поводья, крикнул лошадям; четверка вздыбилась, шарахнулся конвоем, ремни, сжатые в кулаках, натянулись, как струны циня. Не успел никто опомниться, а командующий прыгнул на землю, подбежал к Ли Бо, придерживая меч, поклонился, почтительно приседая.

— Почтительно приветствую своего спасителя.

— Го Цзыи! Не узнал тебя в драгоценных доспехах. Был простым солдатом...

— Жизнью своей обязан вам. Уже накрыли меня белым полотном, когда услышал ваш голос, подобный боевому гонгу.

— Что вспоминать об этом! Расскажите о себе.

— Был послан в Тайюань. Начал с солдата, теперь команду войском. Преграждавших мне путь разбивал, на кого нападал, того приводил к покорности Сыну Неба.

— На кого же теперь подняли грозный меч?

Вместо ответа Го Цзыи достал из мешочка у пояса палочку, сжал зубами.

— Го, неужели и вы поверили гнусным вымыслам, что Ли Бо — угроза государственной тайне?!

— Свою жизнь доверю вам тысячу раз, не жалея и не колеблясь,

но тринадцать тысяч жизней не доверю даже отцу. Второй корпус Гэшу Ханя выступил против чжурженей, полководец Гао Сяньчжи ведет войска в страну Пами-ло, и мне император вручил половину тигрового знака.

— А наместнику Ань Лушаню послан тигровый знак?

— Нет. Президент военной палаты Гао Лиши считает, что северные войска не готовы к походу.

— Разве у них нет коней, мечей, стрел? Ян гуйфэй усыновила наместника, император ни в чем ему не отказывает. Странно...

— Без него огрежем непокорным собачьи головы. — Командующий Го подошел к иве, сломал гибкую ветку. — Не успеют засохнуть листья, а варвары станут молить о пощаде, но пощады не будет.

— Неужели не боятся смерти? Дерзнули подняться с четверенек! А вы что молчите, мой друг? Не заболели? Доблестный Го, это Ду Фу из Шаолиня, слава его будет великой, хотя он не опоясан мечом.

Го Цзын запоминающе оглядел человека в синем халате, черной шапке. Тот посмотрел на полководца. Оба смотрели твердо, и взгляды их сшиблись, как кресало и кремень.

— Выигрывая войну, мы проигрываем мир. Тысячи копыт подняли пыль до небес, не видно ни моста, ни переправы, ни опустевших полей... Но громче топота — плач по солдатам. Разве не слышите? Почтенный Ли, вы спросили командира полусотни, куда он идет? Не ответил. Знает только, что нескоро вернется к жене и детям. А зачем государю расширять пределы Поднебесной, — мы и так не страна, а громада. Наверное, городов у нас теперь не менее десяти тысяч, но разве есть такой, где нет гарнизона? В списках Военной палаты не значится мое имя, не плачу и налогов¹. Но как тяжело простому народу! Ли-сяньшэн, разве, странствуя в Поднебесной, не видели мертвецов, протянувших руки за горстью риса? Не удивляетесь, что в деревнях петухи не кричат, собаки не лают?

Командующий Го Цзын нахмурился, узкие глаза его совсем сузились. Взмахом руки подозвал всадника, державшего в поводу жеребца с песчаной шкурой, коричневым ремнем вдоль хребта, под высоким седлом.

— Лянь, дай свой меч. — Воин подал меч, перевязанный бирюзовой шелковой лентой с вышитыми знаками. — Кто вышивал эту ленту?

— Моя молодая жена.

— Прочитайте, почтенный Ду, что вышила на шелке молодая жена, провожая супруга в поход. — Ду Фу расправил легкий шелк, струящийся на ветру: «Возвращайтесь, любимый супруг, одержав десять тысяч побед!» — И мы их одержим! Как стада баранов, будем гнать пленных варваров по этой дороге — с проткнутыми ушами, разодранными ртами, вырезав им языки и глаза; тогда выходите встречать — увидите, как радостны будут лица солдат, их любящих жен и почтенных отцов.

¹ Чиновники не платили налогов, не призывались на военную службу.

Взявшись за луку, тяжело поднялся в седло, хлестнул плетью коня — только брызнул шебень из-под копыт, сверкнули доспехи.

Весь обратный путь до хижинки Ли Бо шел молча, войдя в хижинку, швырнул меч на лежанку, долго сидел, опершись на пятки, закрыв глаза.

Ду Фу не решался переступить порог. Бродил по саду. Старуха раскладывала на чистом холсте круги соевого творога, Ду Фу поклонился ей. С плетеной корзиной вышел хозяин Тао Лань, кряхтя, стал собирать одной рукой творог. Ду Фу взял у него корзину, наполнил, сам отнес в дом.

— Не знаю, как и благодарить вас за труды. — Старик поклонился. — Будете в наших краях, не забывайте старого хрыча Ланя и его сварливую старуху. Циновка и творог для вас всегда найдутся в бедном доме, пока мы со старухой живы.

— Наверное, потеряли пальцы в бою? — спросил Ду Фу.

— Нет, почтенный. Когда я потерял пальцы, командующий Го Цзыи не потерял голову; ведь когда-то мы были друзьями, но что вспоминать... Своя работа; цепь — на кузнеце, колодки — на плотнике, а о простом солдате что и говорить... В округе Тайюань не бывали, почтенный? Мы там охраняли казенные виноградники. Виноград на южном берегу реки Фэнь особый, только для императорского дворца. Срезают гроздья, укладывают в свинцовые ящики со снегом и, не жалея коней, доставляют в Чаньань; промедлишь хоть время одной стражи, лопнет кожа спелых ягод — тогда пеняй на себя. Сладок тайюаньский виноград, а солдатская служба горька.

Сотней, охранявшей виноградники, командовал Гэ Хуан по прозвищу Жадина, а я служил в десятке Го Цзыи. Он и тогда выделялся среди остальных: был у него меч в простых ножнах, но, видно, ковал его великий мастер — одним ударом Го разрубал медный котел. Из-за меча все и случилось... Гэ-Жадина очень хотел купить меч, но Го не продавал. Однажды приехал с визитом начальник уезда, пил вино с Жадиной, который доводился племянником командующему Гэшу Линю. И вот сотник попросил у Го меч — показать начальнику уезда, а когда тот уехал, не вернул меч, сказал, будто выиграл его в облавные шашки. Го не сдержался и при всех назвал его вором. Тогда Жадина велел мне выйти из строя. «Ты видел, как я играл с десятником Го в шашки?» — «Нет. А как вы взяли меч, чтобы показать начальнику уезда, видел». Командир велел нам дать по двадцать палок, но солдаты били не очень сильно, самыми концами. Потом нас заперли в сарай, чтобы утром доставить к командующему Гэшу Линю. Вот как обернулось дело... А ночью мы бежали, три дня прятались в горах, ничего не ели. В тех местах жил мой двоюродный дядя — староста десятидворки, вот к нему и пришли, все рассказали. Он накормил нас, уложил спать, а на рассвете пришли солдаты, связали нас сонных, а дяде отдали за донос наши халаты, войлочные сапоги, шапки и повели на заставу босых по снегу. На этот раз били очень сильно. Не помню, как мне надели колодки, проткнули пальцы сквозь войлок палатки. Очнулся от холода, а рук совсем не чувствую — застыли. Только слышу голос

Гэ Хуана: «Ну, Лань-дезертир, теперь вспомнил, как мы с Го-черепашкой играли в шашки?» Не вижу сотника сквозь войлок, но жирный голос слышу. «Нет, бесстрашный командир, не вспомнил». Он засмеялся и слышу — динь! динь! — словно палочки для еды застучали в пустой чашке, и солдаты за палаткой хихикают — ударил Жадина палкой по моим пальцам, они, как сосульки, попадали один за другим.

Ду Фу закрыл лицо.

— Э, почтенный, что теперь горевать... Го Цзын пришлось еще хуже, его отвезли в столицу, чтоб отрубить голову. Но мимо ехал ханьлинь Ли Бо, спросил Го, за что его казнят, и крикнул палачам: «Остановитесь! Я сам поспешу к государю просить за этого человека!» Ослушаться никто не смел. Долго ждали, вдруг слышим топот — ханьлинь нахлестывает коня, размахивая золотой печатью государя. Сорвал с Го белое покрывало, повел нас в свой дом, накормил, словно мы не простые солдаты, а родственники. Я еще пел... хе-хе.

— Спойте, прошу вас.

— Давно не пел, а когда-то всем нравился мой голос. Эй, старуха, принеси пипу¹.

Ду Фу тронул струны, прислушался, подтянул колки.

— Какую мелодию вам подобрать, почтенный Лань?

— Ну, если есть желание, «Там иволги».

Старик закрыл глаза, опустил голову, повязанную платком. Словно издалека, из-под земли, глухо послышались звуки, все сильнее и выше, каждый звук нежен и серебрист. Поразительная ясность и сила его голоса! Ду Фу ждет, когда же он вздохнет, с шумом вбирая воздух, ведь мелодия поется на три дыхания, а торговец соевым творогом все поет, а грудь его ни разу не вздохнула.

А ты, о лазурное небо вдали!
Так губишь ты лучших из нашей земли!
Как выкуп за тех, кто живым погребен,
Сто жизней мы отдали б, если могли².

— Вот так и кончилась моя служба, почтенный Ду... С одной рукой, но вернулся в родную деревню, а тем, что сегодня шли под знаменами, придется горько. Меня-то положат в землю рядом с предками, а их кости останутся за Великой стеной.

— Почему же не напомните ханьлиню о вашей встрече? Ему будет приятно.

— Что толку называть свое имя, если тебя не узнали? А я всегда помню ханьлиня, благодарю небо, что он случайно забрел в мою хижину.

5.

Ли Бо сидел у очага, вырезая ножницами человечка из шелкового лоскута — человечек был похож на цзедуши Ань Лушаня, толстый и

¹ Пипа — струнный щипковый инструмент, напоминающий лютню.

² Пер. А. Штукина.

смешной. Он много слышал в столице о издедуши, сидящем в захластном Фэньяне, — самый молодой командующий Поднебесной, ставший и самым молодым военным наместником. Вдруг разнесся слух, что любимая наложница государя Ян гуйфэй хочет усыновить этого варвара, но никто из знакомых не мог сказать Ли Бо, что за человек Ань Лушань, за что ему такая милость.

Ли Бо тоже получил приглашение на праздник усыновления, правда, не в Зал морозной лазури, а в Зал перламутровых ширм, где будет подано угощение ученым, каллиграфам, резчикам печатей и лекарям. Среди приглашенных во дворец блистали три старшие сестры Ян гуйфэй, все в расцвете красоты, которую они умели подчеркнуть и выставить напоказ, все в совершенстве владевшие искусством шутивых недомолвок.

— Будет представлен танец на мелодию, написанную государем, — «Обретение драгоценности».

Звуки сладкой музыки проникали в самое сердце, в них слышались призыв и радость. Девушки строили глазки, приспускали рубашки, обнажая плечи. Когда мелодия угасла, движения замедлились, разом погасли все светильники (горели только две огромные свечи), в тишине раздались тройные удары барабана и в дрожащем сумраке, словно из лунного света, явилась знаменитая танцовщица Тутювая Ветка: в колеблемой сквозняком лиловой рубашке, схваченной под грудью поясом с узорными подвесками, она изгибалась, как натянутый лук, звеня золотыми бубенцами на белой шапке. Оглушительная дробь барабана и красота танцовщицы заставили сердца зрителей биться сильнее; когда же Тутювая Ветка, плавно покачиваясь, струясь, сняла алые сапожки, сбросила лиловую рубашку, никто не мог усидеть на месте.

— Будет представлена победоносная битва «Сокрушение южных варваров».

Вновь зарокотали барабаны и гонги, пронзительно запели флейты, танцоры ловко размахивали флажками и оружием, наступали и отступали... И вдруг чернобородый великан с огромным животом, перехваченным парчовым поясом, выхватил у танцоров два меча и вихрем понесся; клинки вращались с непостижимой быстротой, описывая сверкающие круги, то сплетавшиеся, то расходившиеся над головой, чернобородый хрипел как зверь, а вид его был столь грозен, что у всех волосы встали дыбом. «Ань Лушань...» Все замерли, потрясенные, ведь за такую неслыханную дерзость, нарушившую церемониал двора, голова наглеца мгновенно слетит с плеч. Но император усадил запыхавшегося великана рядом. Великий князь Шоу раздраженно заметил:

— За всю историю, с древнейших времен до наших дней, не найти случая, чтобы подданный смотрел представление, сидя возле императора.

— Да, Ань неуклюж, — тихо ответил государь. — Но мы, единственный, посадили его рядом, чтобы предотвратить несчастье.

Тогда мало кто понял смысл этих слов. Действительно, без доспехов и оружия, в фиолетовом халате, расшитом на груди и спине

единорогами, издедуши выглядел неуклюже, но Ли Бо заметил, что любимая наложница государя находит молодого наместника не таким уж неловким... Разве может быть неуклюжим командующий, воле которого послушны десятки тысяч воинов-степняков, сутками не слезающих с коней, бьющих без промаха из лука, спящих в снегу, укрывшись полой халата? Они никогда не бывали в Поднебесной, не видели городов, но они умеют убивать.

Стоит наместнику Аню привстать на стременах и показать войскам на юг — Поднебесная задрожит. Но этому дикарю нужен мудрый советник, способный спасти мир.

...Ли Бо разгладил человека, вырезанного из шелкового лоскута. Поднял голову — на пороге стоял Ду Фу, его знобило. Он лег поближе к очагу, укрылся одеялом. Ли Бо снял свой плащ, накинул поверх одеяла.

— Сейчас приготовлю чай, выпьете и заснете.

— Боюсь, всю ночь не сомкну глаз, все думаю: ничто на свете не уберечь от войны... Мир слаб, как цветок.

Но после чая действительно сразу заснул. А Ли Бо еще долго сидел, не зажигая светильника, чтоб огонь не беспокоил спящего. Кости и плоть связаны, как ветви и листья. Те, кого скрепила дружба, тоже связаны между собой, среди четырех морей все братья, кто встретился на дороге. Таковы и они с Ду Фу; однажды встретились, пошли вместе, хотя и разные — как северный склон холма и южный склон холма.

...О чем думал Ли Бо, глядя на спящего Ду Фу, почему улыбался? Он уже с вечера договорился с купцом, отъезжающим в Фэньян, и отдал задаток за кобылу. И мыслями уже был не здесь, в доме торговца соевым творогом, а далеко на севере, где свистит ветер, скрипит под ногами снег.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Шелестящая стена ливня обрушилась на повозку, словно она въехала под водопад; в одно мгновение вспенило смрадное месиво испражнений и сотен тысяч плевков, обдало вонючей теплой жижей, но Ли Бо скреб загнутыми ногтями скользкие кучи и не мог добраться до деревянного настила. Сорвал плащ, голым остался в грохочущем водопаде, соскребал с тела жирную грязь. Бурными водорослями облепило лицо, дернул, увидел слипшуюся прядь волос, а боли не почувствовал; по женски, закинув длинные волосы на грудь, простирали их — посветлели, побелели, снежными стали. Снег... с ним связано что-то важное в его жизни? Некогда вспоминать, тер скрученным плащом пол клетки, пока не почувствовал запах сосновых досок — запах чистоты, дома. Поднял голову, тяжело дыша, снова тер доски, они светлели, скрипели, как снег. Снег пахнет белизной и свободой... Нет, это неволя смердит, а у свободы нет запаха, нет вкуса и нет названия. И обрести ее нельзя, зато

так легко утратить и, когда за тобой захлопнется дверь, наконец понять: раньше ты был свободным и думал, что так будет всегда, что иначе не может быть в той обычной жизни, где ты каждый день катал в пальцах нефритовые шарики, больше всего заботясь, чтоб пальцы не утратили гибкость, чтоб даже удар сердца не помешал ударам кисти. Только тогда полна радость, когда вберешь зрачками всю живопись кисти, бархатно-густые штрихи и прозрачные, до нежной зелени, линии, сильные, мощные и тончайшие, как тень от паутины. А за стеной дома меч палача разрубал нить перерождений и обезглавленное тело бросали в сточную канаву. Люди умирали молча, а ты с шумом тягивал воздух, любясь знаками на бумаге, не слыша шагов палача за спиной. Как рыбак, выбирая улов из сетей, бросает сорную рыбу, не глядя, куда она шлепается, так и ты выловлен сетями из глубины, грубо вырван из ячей с разодранными жабрами. Разве ты сын звезды Тайбо, небожитель? Ты рыба, издыхающая на песке. Что ты?! Император Сюань-цзун мертв, его любимая наложница удушена шнуром, грозный Ань Лушань зарезан длинными ножами, как свинья. Поднебесная познота от вершин до корней, равновесие веков утрачено, порядок нарушен, желтое небо справедливости побеждено синим небом насилия. Когда небо меняет цвет, миллионы людей теряют жизнь, но даже когда трещат балки мироздания и рушится мир, маленький человек думает о себе. Даже Лао-цзы не понял, чем человек отличается от других существ. Человек отличается от всех других существ тем, что сажает в клетку себе подобных. Одни держат в клетках цикад, другие — попугаев, третьи — людей, но все считают себя ценителями прекрасного.

В древности великим правителем был Вэнь-ван, но вероломный князь Чжоу Син заточил его в тюрьму, а сына его, взятого заложником, велел сварить живьем и поднести несчастному отцу на обед. Великого полководца Сунь Биня подвергли позорной казни — ему отрубили ноги. Другому непобедимому военачальнику Сунь-цзы вырвали коленные чашечки. Отца истории Сыма Цяня лишили мужского естества. А это все были мужи великие, высоконравственные, и если они находили нужным терпеть позор и ждать своего времени, то как смеет Ли Бо сетовать, что оказался в клетке? Он, благодаря милостям неба, жив, цела у него голова, коленные чашечки и мужское естество.

Никто не знает, когда построили первую тюрьму. Никто не знает, кому первому набили на ноги колодки. А если бы помнили их имена, разве от этого станут легче колодки? Тюрьма не то место, где хорошо предаваться размышлениям, здесь каждый чувствует себя виноватым, грязным, хотя бы сиял белизной, как лотос. В тюрьме выдыхаешь свободу, а вдыхаешь вину; как тушь напитывает кисть, так вина, хоть ты и не виновен, пропитывает мозг, печень, сердце, и ты становишься черным.

Ливень кончился внезапно, словно отрезанный между землей и небом ножницами. Но капли долго срывались с ветвей пахучих акаций, с изогнутых ввысь углов крыш, с перил и карнизов; бурлило в дренажных желобах, и сразу тесные толпы заполняли рынки и

площади, мосты, переулки, вскипал торг, спешка, суета, и все это с криками, топотом копыт, ударами гонгов и звуками флейт; прости-
ранный горячим ливнем голубой воздух жадно впитывал запахи
цветов, похлебки, подгоревшего соевого масла.

А доски пахнут снегом, скрипит клетка, как скрипит под ногами
снег. Теперь он вспомнил тот снег зимы 755 года, когда решил, что
спасать мир — его дело.

2.

...Снег скрипел под солдатскими сапогами, на северо-восточной
границе, в захолустном Фэньяне.

Ли Бо не встретил ни одного китайского лица — одни хусцы¹.

Весь путь, от реки Ло до Фэньяня, Ли Бо думал о предстоящей
встрече с цзедуши. Он уже знал, что настоящее имя Ань Лушаня
Ялошан — так назвала его мать, шаманка из племени ху. Отец его
был иранским воином. Он родился в войлочной юрте, знал языки
степняков и смолоду разбойничал. Что привело его на солдатскую
службу, неизвестно, но солдатом он был храбрым, вскоре командовал
десятком. По росту и весу Аню полагалось двойное довольствие, но
он не получал и одной чашки риса — солдаты, охранявшие ущелья
и перевалы, были далеко от ставки командующего Ши Сымина и
жили впроголодь. Однажды Ань украл в селении свинью и был
приговорен к казни. Когда его доставили к командующему, он не
испугался, а нагло сказал:

— Дикие племена еще не приведены к покорности, а мудрый
военачальник хочет потерять такого солдата, как я!

Ши Сымин оценил дерзость и отвагу Аня, взял на службу в
личный полк, а вскоре назначил командиром полка. За пятнадцать
лет службы Ань ни разу не познал горечь поражения, хотя участвовал
во многих сражениях со степняками. У них он перенял тактику
стремительного наступления и бегства с добычей, ложных отступ-
лений и засад; он умел договариваться с ханами и старейшими родов,
льстил им и подносил дары, присваивал нелепые пышные звания,
слал коней, ловчих птиц и красавиц. Он был таким же дикарем, как
они: спал на войлоке, пил кобылье молоко, больше всего любил
охоту на волков и скачки. Поэтому на северных рубежах, которые он
охранял, было спокойно.

И вдруг Ян гуйфэй пожелала его усыновить. Сколько же лет
приемной матери? Двадцать... А приемному сыну? Тридцать семь.
С тех пор Ань часто наезжал в Чанъянь. Как радостно смеялась Ян
гуйфэй, когда он обучал ее согдийскому танцу. Преподнес ей одежду,
специально сшитую для танца, — алое платье с парчовыми рукава-
ми, зеленые шелковые шаровары и сапожки из алой замши. Сам
Ань, несмотря на тучность, легко вскакивал на большой деревянный
шар, катил его, быстро перебирая ногами, вращался как вихрь, а

¹ Ху — (или бэйху — северные варвары) — так китайцы называли все некитай-
ские народности, жившие к западу и северу от Китая.

полной красавице никак не удавалось подняться на шар, она падала с него, и могучие руки цзедуши подхватывали ее бережно и сильно. Как она смеялась, не спеша освободиться от объятий!

В то время как на других рубежах военачальники стремились во что бы то ни стало увеличить армию, Ань обучал ее, особенно тщательно подбирая сотников, тысячников и командиров войска¹; это требовало много золота, еще больше риса, оружия, войлока для палаток, мяса, овчин, дерева для луков, копий и стрел. Первый министр Ли Линьфу сам следил за поставками северной армии, хотя некоторые сановники намекали государю, что расходы эти непомерны. Когда Ли Бо прибыл в Фэньян, Ань уже сосредоточил в своих руках такую силу и так много должностей, что обладал абсолютной властью на всем северо-востоке Поднебесной. Достаточно было внимательного взгляда, чтобы понять: Ань Лушань занят не только охраной границ, собранная им громадная сила сама по себе уже угроза, ведь сила не считается с властью. Думая о будущем Поднебесной, Ли Бо пока еще смутно связывал воедино такую разную, но громадную власть трех людей — Ли Линьфу, Ань Лушаня и Ян гуйфэй. Если только у них один замысел, одна цель, государь ничего не сможет ей противопоставить; поэтому Ли Бо должен знать точно, что замышляют в Фэньяне.

3.

В Фэньяне цзедуши не оказалось — он был в тридцати ли от города, туда же поспешил и Ли Бо, сопровождаемый молчаливым тысячником с охраной. Тысячник с удивлением смотрел на попутчика, но Ли Бо не обращал внимания на горделивого командира, думал совсем о другом: первая встреча с цзедуши решит все.

Крепость показалась неожиданно — за холмом; она тутю стянула унылое пространство, завязала узлом кремнистые дороги, поросшие редкой колючкой и пыльной жесткой травой — схватишься, обрежешь руку. Две башни грозно сдвинулись, оставив узкую щель ворот — в них могли проехать два всадника или навьюченный верблюд. Каменистая земля, выбита трава, даже снег здесь колючий, как войлок. Громадные камни уложены недавно, еще не почернели от костров. Крепость отличалась от всех, которые раньше видел Ли Бо: ни одной винной лавки, бродячего разносчика, женщина, ребенка, старика — только воины, много кузниц, шорных и скорняжных мастерских, катателей войлока, гибщиков луков. Пока ехали к шатру командующего, увидели лишь одного мирного человека — чернокожего индуса в синей чалме; окруженный воинами, он сидел на коврике перед плетеной корзиной, оттуда под унылые звуки дудочки поднимались змеиные головки. Неподалеку босые воины в серых холщовых куртках бежали за бритоголовым монахом в оранжевом плаще, ударяя на бегу ладонями и ступнями по врытым в землю бамбуковым шестам; по знаку монаха они останавливались, разделяв-

¹ Каждое войско — цзюнь насчитывало 12,5 тысяч солдат.

шись на пары и нанося удары. Ли Бо остановился; судя по твердой стойке и рукам в положении «закрытые ворота», этот монах из школы Белой стены: слишком напряжен, трижды убить его ничего не стоит мастеру у-ши.

Шатер наместника был виден издалека — громадный, из белого войлока, тисненного пурпурными драконами; сам цзедуши Ань, поглаживая мышастого коня, что-то говорил командирам.

Ли Бо спешил.

— Так ты и есть тот, кто устранил страну Бохай клочком бумаги? — Цзедуши смотрел неприветливо.

— Да.

— Чем же ты так напугал трусливую страну?

— Кистью и тушью, — с достоинством ответил Ли Бо.

— Ну, этим ты не пугаешь ни одного моего воина. Ты знаешь, куда пришел?

— Я спешил к прославленному герою.

— Ты ошибся, Ли-ханьдинь, ты пришел в Город Героев — я построил его для восьми тысяч храбрецов. Они усмиряют диких коней, упражняются в стрельбе и рукопашном бою. Где пройдет хоть один из них — там гора трупов, никакая сила в мире их не остановит. Я много слышал о тебе в Чанъани, но здесь не любят хризантемами и первым снегом. Если тебе нужно золото...

— Я пришел не брать твое богатство, а поделиться своим.

— Значит, ты пришел давать мне советы? Но запомни и передай другим умникам: Ань Лушань слушает советы тех, кто сильнее его, а слова слабых глупы. Если докажешь, что стоишь хотя бы одного из этих воинов... даже не воина, а монаха, я выслушаю тебя.

— Зови, я готов.

Монах прибежал босиком, от него валил пар, как от раскаленного железа, сунутого в лохань с водой. Ли Бо скинул пояс с мечом, халат и шапку, подтянул рукава.

— Хэшан, — громко сказал наместник, — этот безумец пришел подергать тигра за усы. Переломай ему кости.

— Сейчас? — удивился монах. — Здесь?

— Почему же не здесь? — пронзительно крикнул Ли Бо и ударил монаха ладонью по лицу.

Тот взвился, как подброшенный, и, с силой выдохнув, вскинул ладони. Ли Бо принял стойку «луна и вода». Увидев это, монах опустил руки.

— Стойте! Вы, я вижу, учились нашему искусству. Кто же ваш достойный учитель?

— Хозяин Восточной Скалы, — ответил Ли Бо.

— В таком случае нам не стоит меряться силами, я заранее признаю себя побежденным.

Ли Бо и монах поклонились друг другу. Кто-то почтительно подал Ли Бо халат и шапку. Он не взял.

— Если Ань Лушань по-прежнему хочет испытать мою силу и смелость, Ли Бо не станет ломать кости его храбрецам. Позовите индуса. Трусливые пусть отойдут подальше.

Никто не двинулся. Ли Бо усмехнулся, взял у индуса корзину и резко вытряхнул двух кобр — крик ужаса потряс воздух, толпа отшатнулась, сбивая замешкавшихся. Змеи, словно их выбросили не на утоптаный снег, а на жаровню, угрожающе раздували желто-зеленые капюшоны. Остались только Ли Бо и Ань Лушань — наместник не мог отвести выпученных глаз от плавного покачивания кобр, на смуглом лбу выступили капли пота.

Ли Бо шагнул и выбросил руку к змее — та молниеносно впиалась зубами в обнаженное предплечье. Не обращая внимания на смертельный укус, Ли Бо сжал шею кобры и сунул извивающуюся змею в корзину, следом за ней вторую. Отер снегом раны.

— Теперь ты доволен, цзедуши? Если волей Неба мне не суждено давать тебе советы, я выплюну желчь и умру, но если Небу угодно, чтоб твоё сердце открылось моим словам, я буду жить и давать советы.

4.

Цзедуши был внимателен к Ли Бо, но равнодушен к его словам, если тот не рассказывал о полководцах прошлого, сразу выделив среди них великого Сунь-цзы, который жил в государстве У и водил войска правителя Холюя. С тех пор минуло больше тысячи лет, но мысли Сунь-цзы о военном искусстве Ли Бо чтит глубоко, как строки величайших поэтов.

— Сунь-цзы сказал: «Война — это великое дело для государства, это корень жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять».

Ань Лушань поставил на кошму деревянную чашу с кумысом, радужные зрачки вспыхнули, словно с влюбленным заговорили о любви.

— В основу войны кладут пять явлений, — продолжал Ли Бо. — Первое — Дао-Путь, второе — небо, третье — земля, четвертое — полководец, пятое — закон.

Небо — это свет и мрак, холод и жар; это порядок времени.

Земля — это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь.

Полководец — это ум, беспристрастность, человеколюбие, мужество, строгость.

Закон — это воинский строй, командование и снабжение.

— О полководце и войске я все знаю, — не выдержал Ань. — А первое, первое!

— Наместник Ань, ты когда-нибудь думал, чем отличается полководец от великого полководца?

Ли Бо замолчал. Он вспомнил Ду Бинькэ и страшный ночной бой на пустынном берегу озера Кукунор. И птицы звуков не подают... молчат. И горы — в глубоком безмолвии... А ветер свистит, завывает! И жизни и души завязаны в узел, да, в узел! Трава коротка, и лунные краски горьки! И иней белеет вокруг...

Словно холод той ночи вполз в длинные рукава и обжег тело, сердце сжалось от скорби...

Поднебесная как колесница, которую понесли обезумевшие кони, а растерянный возница выпустил поводья. Он, Ли Бо, кинулся наперерез громыхающей колеснице — неужели не дотянется до поводьев, неужели смельчака растопчут кони?

— Великий полководец понимает все пять явлений войны и принимает великие решения — поэтому он властелин судеб народа, он хозяин безопасности государства. Можно исправить ошибки, наступлению предпочесть отступление, фланговому охвату — стремительный натиск, но сокровенное войны изменить не под силу даже великому полководцу.

— Ханьлинь, ты забыл о первом!

Да, забыл. Забыл обо всем...

Откинув полог шатра, вышел командир первой сотни, повсюду сопровождавший командующего. Ань легко вскочил с лежанки, не спуская гневных серых глаз с сотника, потянулся к плети, висевшей на столбе вместе с подоуздом.

— Разве я не говорил тебе, Бараан?

— Гонец от Ян гуйфэй, — спокойно ответил тот.

Рука командующего, не дотянувшись до плети, замерла, нежно прижалась к сердцу, и в свирепом прищуре серых глаз высветилась такая нежность, что Ли Бо, даже если бы не слышал то, что шепотом передавали в Чанъани о наместнике северо-востока и любимой наложнице государя, понял бы все по одному движению руки...

Ань отбросил расшитый гусиными перьями полог; холодный ветер обдал ноги, затрепетало пламя фарфорового светильника в пять рожков. Ли Бо посмотрел на вход — увидел гонца в остроконечной меховой шапке и ватном халате, опустившегося на колени белого почтового верблюда. Что случилось в столице? Ведь каждого почтового верблюда седлали лишь для чрезвычайной государственной надобности.

Командующий вернулся в шатер, держа ларец, тускло блеснувший золотой крышкой, открыл — Ли Бо сразу втянул носом прохладный запах драгоценной камфары, незаменимой для эликсира долголетия. Ничего, не страшно, если эта драгоценность окажется самым ценным, чего не досчитается император.

Два воина внесли в шатер откормленного черного козла, крутые рога стукнули о край лежанки, из перерезанного горла часто капала кровь. За пологом слышалось ржанье коней, смех, возбужденные голоса. Вошел сотник Бараан.

— Мы слышали, повелитель, у тебя радость. Раздели ее с нами — выброси козла за порог.

Цзедуши поднял тушу за рога и выбросил из шатра. Воины радостно закричали, но Ань поднял руку.

— Воины! Сотник Бараан сказал, чтобы я разделил с вами радость. Радость воина — жестокость и сила, быстрота скакуна и стрела, пушенная в цель. Тот, кто бросит сюда черного козла, — Ань показал пальцем под ноги, — получит в награду меч, он выкован из лучшего синьжоусского железа, чтобы рубить головы врагам.

Всадники направили коней на дальний край стрельбища, где в ряд

стояли мишени; выравнили перед ними коней — голова к голове, ожидая сигнала. Цзедуши поднялся по ступенькам возвышения, застеленного толстой кашмой, взял протянутый факел, осветивший его халат, расшитый на груди и спине свирепыми тиграми, и сильно взмахнул, роняя огненные искры.

У дальней черты рванулись кони. Уже кто-то первый подхватил на скаку козла, бросил на седло, увертывая коня от десятков сильных рук, крепко держа бедром добычу. Но вырвали, выдернули всадника из седла, и громадный храпящий клубок распался, выпустив всадника на вороном; он бросился наискось поля, но перехватили, сшибли конями, и вороной, рухнув через голову, придавил седока. И снова кто-то подхватил козла, уже не разобрать, что там, у самых мишеней, в снежной пыли. Увидели, когда снова все рванулись сюда, а впереди, бросая коня, — сотник Бараан, припавший к гриве; без шапки, оторванная пола халата трепещет на ветру. Конь такой же свирепый, как хозяин, рвал зубами настигающих коней, сшибал могучей грудью, неудержимо унося всадника к заветной черте победы.

Ли Бо впервые видел яростную потеху степняков; в ней было столько удали и дикой силы, что захотелось самому взлететь на коня, вонзиться стрелой, врубиться клинком в погоню. Он бросил быстрый взгляд на Ань Лушаня: азарт приподнял раскоряченного цзедуши, словно в седле, кулаки стиснуты, глаза налиты кровью, весь он там — в бешеной круговерти коней и людей; власть, титулы, даже любовь — отброшены в этот миг прочь, только кровь степняка заходится в крике: коня!

Окровавленная, обмякшая туша черного козла валялась на изрытой копытами земле, распространяя крепкий мускусный запах; мясо такого козла, битое, давленное, разрываемое сильными руками, очень нежно.

Подойдя к возбужденным воинам, командующий взял из чьих-то рук драгоценный меч и подал сотнику, тот принял на дрожащие от напряжения ладони, продел кожаный пояс в петлю ножен, отер ладонью пот.

Ли Бо вдруг представил тринадцать тысяч таких скуластых бешеных всадников, как сотник Бараан. Увидел стотридцатитысячную пехоту — закаленную, обученную в жестоком ученье, не знающую страха... Но Поднебесная — не туша воинчегго козла! Пусть цзедуши Ань сосредоточил всю власть в Пинлу, Фэньяне и Хэлуэ — в трех из десяти пограничных округах империи, но, если понадобится, Сын Неба соберет десять таких армий, сто, тысячу... Но кто поведет эти армии? Рубежи Китая охраняют полководцы из чужих племен; Гао Сянжи, прославившийся беспримерным переходом через Памир, и победоносный Ли Чжэнцзи — корейцы; победитель тибетцев Гэшу Хань по отцу происходит из знатного рода тургашей, по матери — из родовитой хотанской семьи; Ши Сымин — хусец. При дворе считают, что варвары, оторванные от своих племен и родов, свободные от политических пристрастий, не станут вмешиваться во внутренние дела государства, но, кажется, в Чанъани просчитались.

Тогда в дворцовом зверинце императора, когда шестнадцатый сын государя принц Линь восхищался пойманным снежным барсом, кто-то сказал: барс не прыгает в клетке. Но он прыгнул и одним ударом лапы сорвал мясо с лица неосторожного придворного. Ань Лушань готовится к прыжку — теперь Ли Бо не сомневался.

Губы цзедуши лоснились от козлиного жира.

— Ли-ханьлинь, так что стоит прежде закона, полководца, земли и неба?

— Превыше всего — Дао-Путь, основа неба и земли и всех вещей. А применительно к тому, о чем у нас с тобой речь, Дао — когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений.

— Это сказал Сунь-цзы? — спросил Ань Лушань.

— Это сказал Сунь-цзы. Поэтому войну взвешивают семью расчѣтами и таким путем определяют положение: кто из государей обладает Дао? у кого из полководцев есть таланты? кто использовал небо и землю? у кого выполняются приказы и правила? у кого войско сильнее? у кого командиры и солдаты лучше обучены? у кого правильно награждают и наказывают?

— Кто же в Поднебесной постиг Дао?

— Поднимись на священные горы — увидишь.

— А ты? — Ань подался вперед, глядя в упор. — Ты хочешь с вершины горы увидеть схватку тигров в долине?

— Ветер идет за тигром, туча идет за драконом, — спокойно ответил Ли Бо. — Когда придет мое время, я спущусь с вершины горы.

— Не спеши.

— И ты не спеши, цзедуши Ань. Великий полководец не принимает опрометчивых решений, поэтому сердце его спокойно, как осенний пруд.

5.

В тот вечер долго сидел Ли Бо у жаровни с углями, писал письмо далекому Ду Фу.

«Друг мой! Вот и от вас прилетел белый гусь, обронил перо мне в ладонь. Опять из Чанъани весть. Что вы ищете там, в Чанъани, никак не пойму: нет там наугольника, чтобы измерить прямоку ваши помыслы, нет там весов, чтобы взвесить ваши таланты, — там хорошо взвешивают золото и серебро, а сердце истинного мужа поймет лишь тот, кто думает о нем. Конечно, в столице есть достойные люди, и они обрадуются знакомству с вами, — прежде всего Ван Вэй и Гао Ши.

Спрашиваю вас, зачем направили путь свой в Чанъань, а сам не могу ответить, зачем гнал коня в Фэньян. В безделье слоняюсь теперь, без друга и без семьи скучаю как никогда. А сосны скрипят, скрипят... Мелкий снег, словно голубь, клюет ладонь, стою под снегом один, и далеко-далеко так же, как я, человек стоит.

Старше меня, кажется, нет никого в этих краях, но мои знания никому не нужны. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: здесь охраняют не только северные рубежи Поднебесной — здесь собрана грозная сила, а сила, как вы знаете, не считается с властью. Думаю о Поднебесной, а на сердце тревожно: если у силы, власти, красоты одна цель, то закон окажется в безвыходном положении. Здесь много метких лучников, хотел указать им истинную цель, но кто послушает старика? Только такой, как вы, мой далекий друг. Мы встретились, как слива встречается с южным ветром; я запутался в алых цветах, и одежда моя стала алой, а сердце полно тоской; как река Вэнь день и ночь катит воды к реке Цзиншуй, так и я стремлюсь к вам ночью и днем, дорогой Ду Фу.

Хочется ближе к теплу, а здесь отодвинешься от жаровни — и мерзнет все тело. Когда же мы встретимся снова, по воле своей и поднимемся на вершину горы, где вечно зеленеют ели? Не медлите с ответом, вот подожду немного, возьму посох и в путь.

Помните обо мне».

Письмо было послано Ду Фу, но попало в руки цзедуши, теперь лежало перед ним, запятнанное красными точками и кругами, как экзаменационное сочинение, и наместник смотрел на ханьляня, как учитель на ученика. Сам он прочитать письмо не мог — значит, кто-то из чиновников отметил подозрительные строки. Как же так получается? Написал письмо государю — оно попало к Гао Лиши; послал письмо Ду Фу — оно у Ань Лушаня. Пишешь одним, читают другие. Может, писать другим?

— Ли-сяньшэн, известно, вы человек прямодушный, а обо мне что и говорить, — я солдат, грамоты не знаю, поэтому ответьте мне прямо: кто такой Ду Фу?

— Он поэт, сейчас живет в Чанъяни, ищет какую-нибудь должность, достойную его таланта.

— Поэт? Разве это не должность?

— Нет. Это, как родимое пятно на спине, одни рождаются с ним, другие без него.

— И чем же те, с родимым пятном, отличаются от меня?

— В поэте явно великое, он творец прекрасного; дар у поэта высок — не то что слова человека.

Наместник почесал нос большим пальцем.

— Понял: поэт говорит сто слов, где можно сказать одно. А что означают в письме слова: «Если у силы, власти, красоты одна цель — закон окажется в безвыходном положении»?

— Сила — ты, власть — Первый министр Ли Линьфу, красота — Ян гуйфэй, а закон — это сам император.

— А почему ты решил, что мы трое заодно?

Ли Бо смотрел на толстые щеки наместника. Вор! А он, потомок древнего рода, должен объяснить дикарю знаки, начертанные другу. Да, слишком далеко он ушел от дома. В Шу зеленые склоны гор поднимаются высоко, взгляд плавно идет от вершины к вершине, словно заостренный кончик кисти, оставляя на голубом свитке

неба одну мягкую, волнистую линию. Лимонная луна замерла на кромке вершины, кажется, удержишь взгляд — и сорвется, покатится золотым колесом. Если он выберется из Фэньяна, никому никогда не будет давать советы, — у каждого своя голова на плечах. А мир пусть спасает, кто хочет.

Ли Бо встал с расписной лежанки.

— Бараан! — Сотник в лисьей шапке откинул полог. — Готово? Видимо, все было готово. Слути внесли громадные долбленные корыта, полные дымящегося мяса, блюда с жареной конской кровью, чаши с топленным молоком. Вошли тысячники, сели кругом, достали узкие ножи, выхватывали треснувшие кости, нестерпимо горячие, жадно высасывали жирный мозг. Наместник поднял руку: два меднолицых степняка вошли в шатер, встали на колени перед расписной лежанкой.

— Ты! — Наместник ткнул костью в того, кто стоял ближе.

Тот запел. Ли Бо никогда не слышал такой мелодии: словно человек гнал коня и на всем скаку пел, подпрыгивая в седле; голос прерывался, как бы подскакивая, раздвигаясь на ровный, высокий тон и скачущие резкие звуки. Тысячники слушали певца, восхищенно причмокивая, бросая ему куски мяса. Песня кончилась неожиданно — взлетела и оборвалась.

— Ты! — Наместник показал пальцем на второго; он был старше, держал спину прямо. Низкий голос угрожающе зарокотал, как боевой барабан, глухой, тревожный, каркающий звук казался неестественным, хотелось заглянуть в рот певцу, выкинуть что-то, так странно раздвигавшее голос на нечеловеческие голоса: глухой, рыкающий и свистящий, как стрела. Откуда такие песни, о чем они, как их поют?

— Ли-сяньшэн, кто из них поет лучше?

— Первый, — ответил Ли Бо.

Тысячники захохотали, хлопали жирными ладонями по коленям, заваливались на спину, трясаясь от смеха. Один из воинов схватил за волосы молодого певца, запрокинул ему голову, а второй стал хлестать сыромятным ремнем по губам.

— Он поет, как коза, потерявшая козленка. Ученый, ты ошибся в таком пустяковом деле, а хочешь, чтобы я слушал твои советы. Здесь Город Героев, а не Лес Кистей. Да, все хочу спросить: зачем тебе такой хороший меч?

— Если тебе хоть раз понадобится меч, носи его всю жизнь.

— Ты снова ошибся. Если носишь меч у пояса, хоть раз в день вынимай его из ножен.

— Нет, я не ошибся, наместник Ань. Сколько раз ты вынешь меч, столько раз и твой противник обнажит оружие. Ты думаешь, если победил в шестидесяти битвах, значит, ты непобедим? Но даже сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего — победить, не сражаясь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Что за существо копошится в смрадной жиже? Даже ржавые прутья клетки растолстели, осклизли. С таблички давно стерлись знаки «государственный преступник», кто узнает великого Ли Бо в копошащемся существе с лицом, как разварившийся пельмень? Даже Гу И читает указ, зажав нос, плюет под ноги, только бы скорее отойти от клетки, сесть в паланкин, окуренный дымом можжевельника.

Преступник хрипло смеется, бесстыдно чешется, как обезьяна, ловящая блох. Хотя еще не добрались до Елана, ссылка для него уже кончилась — началась смерть. Все вверх и вверх вдоль мутной, быстрой, бескрайней Янцзы вьется дорога по зеленым холмам под желтым палящим солнцем, затянутым влажной дымкой испарений; одичавшие собаки бегут за повозкой, и одичавшие мальчишки царапают грязные вздувшиеся животы. Столпились черные лачуги, пальмы высоко подняли вершины, обмахиваясь веерами длинных листьев, со стволов содрана кора, сохнут.

Хрипят лошади, поднимая телегу в гору, вихляют колеса. Все выше, мимо густых кустарников, акаций, мимоз, — на гору, легшую вдоль реки огромным извивающимся драконом. Отсюда видно море черепичных крыш, прямые улицы, мощенные огромными черными плитами, харчевни с погасшими очагами, квадрат пустынной площади, замкнутой с двух сторон серыми стенами, с третьей — высокими воротами с резными драконами и потускневшими золотыми иероглифами.

Что за город? Что за тюрьма? Почему рушится мир, а тюрьмы стоят? Глиняная ограда оклеена алыми указами о разыскиваемых преступниках. Валяются в пыли три обезглавленных человека, с одного даже не сняли колодки. На заостренные шесты насажены головы, выше всех ссохшаяся головка с дряблыми щеками, оскалены крупные, выпирающие зубы, черные волосы блестят от дождя, часто падают на землю капли. Вот и встретились вновь с принцем Линем... Давно ли эта сморщенная голова важничала на плечах?

2.

— Спасать мир — не мое дело.

Шестнадцатый сын императора подождал, не пояснит ли свои слова Ли Бо. Не дождавшись, положил крест-накрест костяные палочки на желтую чашку с густым акульным супом.

— Дорогой Ли, вы вынуждаете меня открыть государственную тайну. Император Сюань-цзун отрекся от престола в пользу третьего сына.

— Вашего брата, почтительный господин? — изумленно спросил Ли Бо.

— Принц воспринял от неба огромную судьбу, мудрость,

прозорливость и светлый ум, отныне он император Су-цзун. Меня вызывают в походную ставку государя в Линь. Это тысяча ли... А я уже стар, я искалечен ранами в боях с ничтожеством-полукровкой¹, меня одолевает ревматизм. В моем теле едва теплится дыхание жизни. К тому же ни на одной почтовой станции нет лошадей. Пускаться в путь на корабле? Кораблей у меня действительно много, но сейчас осень, море неспокойно. И вот, когда я призвал вас дать мне совет, вы, почтенный Ли, отказываетесь, ставя меня в затруднительное положение. Если я не явлюсь в Линь, у государя сложится впечатление, что я не слишком ревностный сторонник династии, а такой человек заслуживает казни. Вы устроили своей кистью страну Бохай — неужели это труднее, чем заверить государя в моей преданности?

Ли Бо опустил в чашку крохотную деревянную уточку, смотрел, как раскрашенная игрушка плывет в вине от одного края чаши к другому. Отпил несколько глотков, чаша обмелела, уточка замерла на фарфоровом дне.

— Почтенный господин, донесение от вашего имени в императорскую ставку составлю прилежно, но другое ваше предложение принять не могу: мои слабые таланты и поверхностные знания не таковы, чтобы пытаться спасти мир. Если центральным провинциям грозит опустошение и гибель, я ничего не могу поделать.

— Как?! Вы не хотите отомстить за убитых друзей? Вы, храбрость которого известна всем! Не верю, что смельчак Ли Бо оставит принца Ли Линя, спасающего родину от бедствий. Герой, пока он жив, совершает подвиги. Прошу вас взвесить мои слова.

— Почтительный господин, нет ли вестей из Чанъани? Живы поэты в столице?

— О первых людях ничего не известно. Впрочем... Ван Вэй схвачен, томится в храме Путисы, его принуждают поступить на службу к негодяю Аню, ведь этот узурпатор провозгласил себя императором династии Великая Янь и велел вывесить «императорский» указ. Вот, почитайте.

Ли Бо расправил мятый, порванный лист.

«Грязь разъела устои Поднебесной. Чиновники жадны и ненасытны, налоги тяжелы, награды и наказания несправедливы. Экзаменаторы берут взятки, не способствуют выдвижению талантливых людей. Евнухи правят страной. Первые сановники все скрывают, старый государь ничего не знает».

Когда Ли Бо кончил читать, принц в бешенстве порвал бумагу.

— Начертано коряво, грязно, стиль ужасен.

— Да, — согласился Ли Бо, — знаки начертаны дрянной кистью, но они справедливы, и в этом их сила.

— Вы хотите сказать...

— Если бы слова были лживы, мятежник не вошел бы в Чанъань без боя. Если бы старый государь осчастливил Ли Бо вниманьем, не

¹ Принц имеет в виду Ань Лушаня.

пролились бы реки крови, устои Поднебесной остались бы тверды. А теперь барс вырвался из клетки, трудно поймать его голыми руками.

3.

Флот принца подошел к Цзюцзяну в полночь первого дня 757 года, и весь рейд заплескался шелками вымпелов. Рулевой едва различал желтые фонарики сампана, указывающего путь флагманскому кораблю. Далеко за кормой остались горы Ушань, где Ли Бо нашел приют в хижине отшельника, — как прекрасны там берега и вершины, укрытые яркой зеленью сосен и бамбуковых рощ, неповторимы там рощи, горные пики и берега.

Алеет рассветное солнце, багровый шар пронизывает Янзы огнем, пламенеет река. С высокой кормы видны синие, красные, оранжевые фонари кильватерного строя кораблей, и каждый огонь прокладывает на спокойной желто-коричневой воде мерцающие дорожки — синюю, красную, оранжевую... Но бесконечный день все-таки наводит грусть.

Ли Бо плотнее запахнул зеленый плащ, натянул капюшон на черную квадратную шапочку — его знобило. Матросы в кожаных куртках и широких бамбуковых шляпах подбирали паруса — ветер свежел. А под прочными досками палубы было так тепло и спокойно! Не кончалось веселье, танцовщиц и певиц на флагманском корабле, пожалуй, больше, чем матросов и солдат.

Уже два месяца Ли Бо в должности официального советника сопровождает принца Линя, но так и не понял, с кем они воюют — войск Ань Лушаня нет и в помине, из Линью и Чаньани никаких вестей. Единственное сражение случилось месяц назад, когда шесть неизвестных кораблей атаковали флот принца. Было туманно и дождливо. Один транспорт принца, столкнувшись со своим кораблем, получил огромную пробоину и затонул; еще один сел на мель и был подожжен горящими стрелами противника, но что за враг, откуда — Ли Бо не смог узнать. «Это пираты», — улыбнулся принц и, не дожидаясь конца сражения, ушел в свою каюту веселиться с танцовщицами.

Ли Бо подозвал матроса. Тот закрепил шкот и поспешил, широко ставя босые ноги на мокрой палубе.

— А куда отсюда наш путь?

— К озеру Поянху, господин.

— На озере в такую погоду снег, что же там делать, зимовать, как уткам? На левой стороне реки лишь один город Яочжоу, разве он занят бунтовщиками?

— Рулевой сказал, флот идет как раз туда.

— Флот! От него осталось меньше половины.

— Мы люди маленькие, господин, что нам велят, то исполняем.

Когда бросили тяжелые якоря на рейде Яочжоу, Ли Бо насчитал всего двенадцать вымпелов, а было тридцать или сорок. Командиры гонят солдат к широким сходам, вот уж столпились на берегу

продрогшие люди, шатаясь от качки, голодные. Сверкают доспехи командиров, гордо колышутся павлиньи и фазаньи перья на шапках, мерцает серебро нагрудных блях — слишком много командующих для такого войска. Сводят на берег храпящих коней, несут на руках бронзовые колесницы, потом паланкины с танцовщицами и певцами. Тесно на берегу, в холодном воздухе облачка пара от конских морд, приглушенные крики команд, гул гонгов. Тревожно на душе... Ли Бо невольно сравнил замерзших, измученных солдат с рослыми, сильными воинами Ань Лушаня; те — воины, а эти? Давно ли забрасывали невод, рубили хворост, мотыжили землю? Он поежился, вложил озябшие руки в рукава плаща и заторопился к шатру принца.

Принц Линь только что вымыл голову и сидел в кресле, девочка-наложница расчесывала его черные волосы черепаховым гребнем. Запавшие глазницы с выпуклыми дряблыми веками, полуоткрытый рот с выпирающими, крупными зубами — вот что увидел Ли Бо. И еще усталость и равнодушие на сухом желтом лице, маленькие вялые руки, лежавшие на низких подлокотниках слоновой кости.

Открыв глаза, принц раздвинул углы губ в улыбке, оглядываясь, куда бы усадить Ли Бо. Шатер обит желтым бархатом, тисненным темно-коричневыми цветами; здесь уютно, словно в покоях продажных девок из квартала Пинкан, фарфоровые безделушки и пуховые подушки, драгоценные ширмы и яшмовая ваза с синими пионами.

— Почтительный господин, неучтивый Ли Бо посмел войти, когда ваши волосы еще не высохли...

— Думаете, они успеют высохнуть? Император Су-цзюа еще молод, а мы с вами достигли закатных лет, нам надо торопиться удивить мир великими делами. Ваша образованность, ханьлин, позволила вам проникнуть в глубь тайн неба и человека, однако до встречи со мной вы не получили ни одной должности, что с возмущением отмечено по всей земле.

Речь принца раздражала Ли Бо, но он вежливо улыбался.

— Почтительный господин, речь сейчас не обо мне.

— Как же могу не думать о вас, ведь вас уже разыскивают повсюду, и только мое могучее покровительство охраняет вашу жизнь. Не советую вам упрямиться, — когда богомол схватил цикаду, их обоих склевал воробей. А пока вы со мной, вам нечего опасаться. Обещаю, что сам вручу вам пурпурную ленту и печать министра.

4.

Ли Бо не стал дожидаться печати министра. Опоясался мечом, взял с малахитовой подставки бронзовое зеркало: на исподней стороне искусно отлиты черепаха, дракон, феникс и тигр — потемнели от времени, позеленели, а лицевая сторона сверкала, как гладь озера в солнечный день. Скрутил волосы в пучок, туго завязал ленты шапки. Отодвинув легкую дверь, шагнул по дорожке, выложенной серым камнем. Оглянулся, а камень, как плот, далеко

унес его от хижины, — густая тень карниза крыши окутала сумраком дверной проем, бамбуковые створки, оклеенные бумагой; слабо застелились циновки из золотистой рисовой соломы. Словно рыба, унесенный в море... Не видно ни завтрашнего дня, ни вчерашнего...

Куда теперь? Три большие дороги пройдены, каждая — он думал — спасет мир. Пришел в Чанъань, а государь заставил слагать строфы о красоте Ян гуйфэй и цветущих пионах; пришел в Фэньян — наместник Ань слушал только рассказы о непобедимых полководцах; пришел в Цзюцзян — воспевай подвиги трусливого принца. Всю жизнь он слушал глупцов, а слова мудрых забывал, спешил спасти мир, а свою семью оставил без мужа, без отца. Справедливо, что у каждого существа есть свой дом: у ласточки — гнездо, у тигра — логово, у устрицы — раковина; только он скитается по дорогам. Дом друга, постоянный двор, палуба джонки... А теперь и строки останутся без приюта.

Однажды он спросил у Пятнистого Бамбука: «Учитель, не одиноко ли вам?» «Каждый день вижу цветы», — ответил отшельник. Цветы... Нет собеседников лучше. Человек с годами старится, ноют кости, болит сердце, а цветы остаются цветами. Обратишься к кукушке — она кукует, к сливе — уронит на ладонь лепестки, и только человек, которому дан разум, не понимает человека. Что с этим поделаешь?..

Дождь сочится сквозь крышу, каплет в кадку — так жалобно, что впору самому застонать, заплакать. Посох зажат под мышкой, надо идти, но куда? Ли Бо оглянулся: уже дома не видно, сам, не заметив, ушел далеко, впервые за много лет не думая спасти мир, просто уйти подальше от мира, бродить среди облаков, заблудиться в цветах.

5.

Стражники разъехались в разные стороны сгонять жителей. А есть ли здесь живые? Ни лая собак, ни смеха детей, ни петишного крика, только ивы и вязы, только шепчет листва: «Шао, шао». Плакал мудрец на перекрестке, не зная, какую выбрать дорогу, а здесь живыми остались только дороги да мокрый барабан на деревянных козлах, а рядом комок тряпья и мяса — все, что осталось от монаха. На воротах ямыня ветер рвет императорский указ, — может быть, эту бумагу увидел он, когда бежал от принца Линя. Бежал от фиолетовой шапки, которую ему сулили все, кто нуждался в его таланте, а когда он не хотел служить, все бросились за ним в погоню. Дни все длиннее, а жизнь человеческая все короче. Убиты хитрые зайцы — и варят свирепых псов; подстрелены птицы в небе — и прячут тугой лук; разрушена страна — и губят верных советников.

Давно он уже потерял дом, жену, детей, друзей. Загнанный, голодный, пробирался тайно по безлюдным дорогам, всюду чувствуя топот погони, пока не остановился перед грозным указом.

«РАЗЫСКИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ: ГНУСНЫЙ ПРИНЦ ЛИНЬ, ТРУСЛИВЫЙ МАРШАЛ ВЭЙ,

ПРЕДАТЕЛЬ ЛИ БО... ШЕДРОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ЛЮБОГО СОСЛОВИЯ И ТРЕМ ПОКОЛЕНИЯМ ЕГО ПОТОМКОВ, ЕСЛИ ДОСТАВИТ ПРЕСТУПНИКОВ ЖИВЫМИ, ИЛИ МЕРТВЫМИ, ИЛИ ИЗРУБЛЕННЫМИ НА КУСКИ...»

Бумага загрубела, затвердела в четырех углах, приклеенных к кирпичной стене. Ли Бо почувствовал неодолимое желание бежать от этой бумаги, даже не бежать, а мгновенно перенестись вдаль — вспыхнуть и погаснуть без следа, подобно вспышке молнии.

Он глубоко вздохнул, выравнивая дыхание, редкие снежинки падали на вязы и туты, высоко поднимавшиеся над изгородами дворов. Хрюкала свинья. Ли Бо посмотрел в проем ворот — на изрытом огороде тощая свинья и грязная собака вырывали друг у друга желтые куски мяса. На тропе с вдавливающими буйволиных копыт валялся ржавый меч с розовой шелковой ленточкой; Ли Бо прочитал знаки, вышитые женой: «Возвращайтесь, любимый супруг, одержав десять тысяч побед!» От смрада небруанных тел подступала тошнота. Он поспешил выбраться из мертвого селения к поднимавшимся вдали чистым предгорьям — как легко там дышать!

Когда присел помочиться, ямка в снегу стала коричневой. Он не помнил, сколько дней ел только зерна, листья мальвы, хрустящие стебли хризантем. Теперь есть не хотелось совсем, голова стала легкой, и мысли проносились в ней легко, словно облака в высоком небе. Только с каждым днем тяжелее идти, приходится останавливаться и отдыхать. Страха больше не было. Страх гнал, когда он бежал из Яочжоу... Какая разница, кто победит, кому достанутся мертвые — свинье или собаке?

Бревенчатый мост выгнулся над замерзшим ручьем. Метелки высокого тростника пригнулись. На том берегу деревня видна, соломенные крыши над глиняными стенами. По запаху нечистот, бережно собранных, чувствуется близость рисовых полей — тускло блестит вода, разделенная узкими дамбами. А за полями — дворы.

Ли Бо перешел мост, сломал сухой тростник и, тяжело опираясь, побрел по грязной дороге. Вот и поля. Крестьянин сидит на меже, оглядывая крошечное поле. Когда Ли Бо проходил мимо, даже не взглянул на путника.

А вот дом, крытый отсыревшей соломой, ива и вяз возле поваленных ворот. В дверях на рогоже сидит старик, равнодушно смотрит слезящимися глазами.

— Не найдется ли воды, почтенный? — Ли Бо поклонился старику. — Я — Ли Бо, которого повсюду ищут. Вот мой меч... Можешь отрезать мне голову. Тебя наградят, и сыновей, и внуков.

Старик поднялся с циновки.

— Моим сыновьям не нужна награда. Прошу путника войти в бедную хижину.

Следом за крестьянином Ли Бо прошел двор, маленький садик с растоптанными цветами. Смерзшийся полог постукивал на ветру. В доме сумрачно, но тепло. Вокруг очага сидели прямо на земляном полу старуха и три девочки, старшей семь лет. Старуха сверху вниз помещивала деревянным черпаком в закопченном котле. Увидев

незнакомца, дети закрыли черные глазенки руками. Ли Бо поспешно вложил меч.

— Старуха, что ж не кланяешься гостю? Вы, господин, не сердитесь на мою каргу, она мне, старому хрычу, как посох слепцу.

Крестьянин сел на циновку позади очага. Ли Бо заметил на ней черные следы от коленей и пальцев ног — свидетельство ровного и спокойного характера старшего в доме.

— Почтенный, кто же разорил вашу деревню?

— Ворвались, на головах белые повязки, кричат: «Всем смерти!» Согнали нас во двор старосты и стали убивать. — Старик погладил скрюченной рукой щеку, он напомнил Ли Бо Тао Ланя, варившего соевый творог, — у того тоже была искалечена рука. — Потом налетели другие, стали рубить головы тем, кто в белых повязках. У этих лучше получалось. Вот они бы отрезали вам голову и без просьбы.

Ли Бо опустил глаза. Старуха все мешала в котле.

— И когда кончится эта проклятая война?

— Э-э, господин, теперь только седые, как зимние зайцы, помнят время, когда не было войны. Пятьдесят лет назад и меня забрали в солдаты. В тот год слали войска в Юньнань, а дорога туда пять полных лун. Слышали, может быть, ученый господин, что обитают там красные и черные люди мань; как у нас коров, так у них слонов — каждое животное с холм, сильнее тигра, а плачет, если увидит шкуру убитого детеныша. Что же говорить о людях, если их гонят на смерть?

А мне в ту пору шел двадцать третий год. Верно, жена?

Был я тогда молодым, но неглупым. Верно, жена? Дождался, когда все в доме заснуло, вышел во двор, взял камень тяжелый, и, положив эту руку на жернов, раздробил кость, жилы порвал острым камнем. — Крестьянин высоко подтянул рукав халата, показав Ли Бо иссушенную, тонкую руку в кривых рубцах. — Эх, сколько в ту ночь вытерпел боли! Зато тетиву натянуть или знамя поднять разве можно одной рукой? Только это и спасло от похода в Юньнань. Теперь в сырую погоду всю ночь не могу заснуть от боли, но о мертвой руке не жалею — может быть, из всех, кто ушел тогда с боевой песней в поход, только я и остался жить.

— Вы, почтенный, отважнее тех, кто летит с мечом на врага. Когда-нибудь о вас сложат песню.

— Э, хоть вы и ученый человек, но где же слышали такое? Многие остались бы дома, да как останешься? И самого князя, и родителей, и родню. А там хоть погибнешь один, зато сироты получают рис из казенных хранилищ. Что говорить... Хорошее железо не идет на гвозди, хорошие люди не идут в солдаты.

Долго не мог заснуть Ли Бо, слыша за циновкой голоса хозяев. Кашлял от едкого дыма кизяка, тлевшего в очаге. Сколько квадратных могил вырыто по всей Поднебесной, если только в этой семье война унесла трех сыновей и дочь? Сколько непогребенных тел, душам которых вечно суждено рыдать и скитаться? Почему небо обрушило свой гнев на нищие лагучи бедняков? Он, Ли Бо, немало

лет прожил в хижинах отшельников, — они, пожалуй, еще беднее крестьянских дворов, но там не плачут голодные дети, не кричат роженцы, не выдают тридцатилетних вдов за десятилетних мальчиков. Там — тишина и покой.

Долго ворочался Ли Бо. Наконец, мысли стали расплываться, слабеть. Он проснулся от пронзительного детского крика — тощие, остроносые гуандунцы, похожие на бесов, тащили из хижины девочку. Старика и старухи не было. А в дом все лезли тощие, черные, с угрюмыми злыми глазами. Множество маленьких рук цепко схватили Ли Бо; сзади дернули за шапку так, что хрустнули шейные позвонки.

Гуандунцы заполнили весь двор, как крысы, пищали, путались под ногами. Один размахивал раскрашенным изогнутым жезлом — наверное, был главным, потому что, проходя мимо него, все пронзительно кричали. Отшвырнув четырех упиравшихся солдат, Ли Бо крикнул:

— Кто приказал меня схватить — государь или бунтовщики?

— Не твоё дело! — ответил тот, с жезлом. — Ведите это черепашье яйцо в уезд. И этих предателей тоже.

«Предателями» были старик со скрюченной рукой, старуха, три девочки и старик, что сидел вчера на меже, еще несколько крестьян.

— Эй, пошевеливайтесь! Мы пойдем в харчевню, а вы идите в уезд, как велел командир, — там вам отрубят головы.

И люди покорно пошли, ведя детей, самых маленьких несли на закорках. Но скоро они отстали, а Ли Бо тощие конвоиры беспрестанно тыкали жилистыми кулаками в спину. Эти дочерна загорелые южане шли быстро, опираясь на носки соломенных сандалий; их бесшумная походка напоминала полет птиц, и речь — свистящая, шелкающая — казалась птичьей. Они не были похожи ни на императорских солдат, ни на рослых степняков Ань Лушаня. Хотя, как слышал Ли Бо, уже не было и самого цзедуши Аня; провозгласив себя императором, он стал еще толще, и то ли от неимоверной тучности, то ли от подсыпанной отравы ослеп. Когда в его дворец вошли двое убийц и молча вонзили в грудь ножи, он даже не увидел их лица, не узнал, что один из убийц — его сын Ань Цинской. Ли Бо хотя бы увидит лица палачей...

В уезде другой командир сказал, что важных преступников казнят в Цзюцзяне, там же выдают награды за пойманных изменников. И снова Ли Бо повели старой дорогой, по бревенчатому мосту, мимо крошечных полей с узкими, в две ладони, скользкими дамбами. Вот и все... С каждым шагом по чавкающей глине приближался великий срок.

Он, Ли Бо, никого не смог остановить: ни императора Сюань-цзюна, ни принца Линя, ни Ань Лушаня. Никого! Он говорил глухим, гордясь своим громким голосом. Когда в горах начинается обвал, разве мудрец пытается остановить грохочущие камни? Он, Ли Бо, трижды вставал на пути лавин — и остался жив, такое не проходит без следа. Поднебесная потрясена, города лежат в развалинах, травы и снега стали лиловыми от крови. А он жив... Из всего, что

имел, уцелели лишь душа и тело, зеленый рваный плащ даоса и серый камень в желтом платке — кому он нужен? Сколько весен собирался вернуться в хижину Пятнистого Бамбука, подмести могилу наставника... Зацвел ли бамбук на горе Ушань?

Навстречу шли крестьяне. Первым — старик, приютивший его. Печально взглянул на гостя. Ли Бо сошел с узкой дамбы, встал на колени в жидкий вониючий ил, склонив седую голову перед крестьянской семьей. Кто они — Чжоу, Мао, Лу? О, горе! Навздыхаемся ли до конца?

6.

Высоко на шесте голова принца Линя. Голова ссохлась, а волосы так и не высохли, мокрые.

С трех сторон вернулись злые стражники, — никого не нашли в пустом городе. Только с четвертой стороны впереди коня спотыкался старый крестьянин, на спине горбом свернутая циновка, босые ноги до колен перепачканы илом — сажал рис или чистил канал. Гу И громко зачитал указ, грозно посмотрел на старика: «Чего стоишь? Плюй в черепашие отродье!» Молча слушает старик, смотрит пустыми глазами на чиновника, на преступника, копошащегося в слюне, и ничего не понимает, — такой он дряхлый, седой и бесконечно одинокий.

Стражник подвернул рукав куртки, ударил старика по губам. Тот осел, пытался встать, но только испускал вониючий дух, снова плюхался на тощий зад. Стражник легко, как ребенка, поднял его за ворот халата, ткнул морщинистым лбом в прутья: «Плюй!» Травяная шляпа упала на каменные плиты. Крестьянин низко поклонился, прохрипел: «Почтенному Ли Бо желаю здравствовать во все четыре времени года». Старший стражник неуклюже вытащил из ножен грязный меч... Голову казненного протолкнули сапогом сквозь липкие прутья клетки.

Повозка покатила из города, лошади чавкали копытами в грязь, а Ли Бо баюкал седую голову того, кто первым не плюнул в него.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Ближе к озеру слышнее стук вальков. Ветер доносит запах мокрого белья. Поодаль от женщин, на плоском камне сидит мальчик, громко повторяя:

— Учитель сказал: «Нельзя не знать возраст родителей, чтобы, с одной стороны, радоваться, с другой — проявлять беспокойство».

Рядом, вложив пальцы в рукава халата, дремлет на солнышке учитель.

И его, Ли Бо, когда-то учил почтенный Фан: «Учитель сказал... Учитель сказал...» До пятидесяти лет бедняга сдавал уездные экза-

мены, ни разу не сдал, только и прославился упрямством да еще тонким воспитанием; если чужая курица забредет на межу, склюет ростки, Фан не бросит в нее камень, — низко кланяясь, станет вежливо упрекать: «Почтенная, что это вам вздумалось нанести убыток моему состоянию? С какой стати, объясните, ученый человек должен терпеть от вашей невоспитанности?»

Он забыл все, чему учил его почтенный Фан, забыл все на свете, не помнит, сколько лет прожил, отивели лимоны или зацвели лотосы. Рыбаки, набив обручи на пустые бочки, скатили их в озеро, наполнили водой — если новые бочки хорошенько не замочить, рассохнутся, станут пропускать рассол, рыба протухнет. Волны покачивают бочки. Рыбаки у соляного ларя распутывают сети, готовят носилки для рыбы. А мальчик все повторяет: «Учитель сказал...»

А кто учит его Байцина, знает ли сын, сколько лет непутевому отцу? Там, в тени Черепаховой горы, пора сажать рис, но нет мужчин в доме; там с восточной стороны видны ветви и листья персикового дерева, окутанного голубым туманом, — это дерево посадил он сам, когда покинул семью и ушел по дороге. Теперь, наверное, верхушка доросла до карниза, маленькая Пинъян вспоминает отца, и слезы бегут по щекам, как быстрый ручей. Дети приходят к абрикосовому дереву, чтобы их приласкали, погладили, но далеко отец, никогда не вернется к ним.

Если дорогу преградил валун, сильный отбрасывает глыбу с пути, умный обходит, трусливый возвращается, бессильный плачет. Но бессмертный проходит сквозь камень, не помяв даже складки рукава. Он, Ли Бо, проходил сквозь скалы, мчался, оседлав пятицветный ветер, а его сын стоял на земле, устремив взгляд на звезду Тайбо — трудно человеку встретиться со звездой, трудно смертному сыну постичь пути бессмертного отца.

Мальчик все повторяет урок, учитель все дремлет. И у него были учителя — почтенный Фан, монах Чжу, Хозяин Восточной Скалы, Пятнистый Бамбук, а здесь, в Бей-хае, где у повозки с клеткой отвалилось колесо, — наставник Гао Юйгун. Стражники пошли искать плотника, Гу И пригласил настоятель храма Лао-цзы — вон виднеются лазоревая кровля и вершины громадных кедров. Когда-то в этом храме, в тесной келье, выходящей раздвижной стеной во двор с цветником и колодцем, Ли Бо два месяца в одиночестве постигал «Дао дэ цзин». От учителя ученик не вправе скрыть ничего, вытряхивает к его ногам всю жизнь, как мешок с зерном, — учитель знает, как поступить с мешком и содержимым. Молча проходил в келью наставник Гао Юйгун, молча уходил. Наконец, священное пространство перед храмом с лазоревой крышей оградил веревкой с пучками тростника; с руками, связанными за спиной, послушник четырнадцать дней очищал душу исповедью и постом.

Пройдя путь очищения, Ли Бо был введен в храм Лао-цзы, где монах-каллиграф начертил на золотистой бумаге чудесные знаки, что Ли Бо из Цзянлина постиг сокровенное «Дао дэ цзина». Из храма он вышел в зеленом плаще даоса, подвязав к поясу свиток посвящения.

А теперь стены монастыря забрызгала кровь, только безумец надеется обрести здесь покой.

Женщины уже выстирали белье, рыбаки засолили рыбу, а мальчишки все повторяют: «Учитель сказал...» Стремительный баклан нырнул, схватил шуку — вскипела вода; баклан то вытаскивает шуку, то она его тянет под воду — не поймешь, кто добыча, кто жертва. Волна отнесла птицу-рыбу к мосту, мальчишки припустились за ними, смотрит и Ли Бо: баклан устало бьет крыльями, все реже... исчез под водой, только перья качаются на волне. Жаль баклана. А поднял бы он шуку в облака, жаль стало бы рыбу.

Учитель сказал... учитель сказал...

2.

Много было учителей, но не было лучше Пятнистого Бамбука. Монах Чжу учил его тело, Хозяин Восточной Скалы — мысли, а Пятнистый Бамбук — чувства.

...Стена без просвета, светло-зеленая, глянцевая. Только вершина видна над бамбуковым лесом. Ли Бо ударил веслом, и узкая, в три доски, лодка свернула в восточный рукав, еле проходит сквозь заросли — тут не поможет ни парус, ни шест. Увидев тропинку, привязал лодку, перевесил удобнее меч и пошел между цветущими рододендронами, пока не набрел на хижину, крытую листьями, — из нее и поднимался дымок очага.

Так Ли Бо встретился с Пятнистым Бамбуком, ему тогда было за семьдесят. Возделал он рядом с хижинкой маленькое поле, засеял гаолянком. В долине крестьяне уже убрали поля; во всех дворах идет молотьба, ветер разносит полосу. Недели через две-три выпадет первый снег, а здесь, в горах, гаолян только красным стал, распушились метелки на стеблях.

Старец срезал стебли, когда пришел гость. Обтер полость серп, пригласил в дом, напоил холодной водой. И Ли Бо остался в хижине отшельника. Первые ночи не мог сомкнуть глаз — жуткие стоны и крики прогоняли сон, молодая поросль бамбука растет, с ревом прорываясь сквозь старые стволы; под порывами ветра стволы трутся о стволы, лязгают, как железо, но особенно ужасен стук сухих деревьев — они воют, скрипят, трещат. Три ночи Ли Бо провел без сна потом привык. Так и жили вдвоем в хижине. Циновки, корзины, лежанка, коромысло, чашки, кадки — все из бамбука. В очаге жгли бамбук. Ели ростки бамбука — белые, крепкие, хрустящие на зубах, как капустные кочерыжки. Вставали рано, ложились рано. Иной раз наставник за весь день слова не скажет, а светлая радость в сердце, так и хочется услужить ему.

Раз в неделю учитель уходил ненадолго, всегда на северо-запад, взяв желтый узелок. Ли Бо, живя у старца месяца три, так и не знал, куда он уходит, что уносит, спросить не осмеливался, хотя ладони чесались от любопытства. Однажды не вытерпел: Пятнистый Бамбук взял узелок, и он осторожно за ним; остановится — он замрет; пройдет дальше — он ставит ступню. Старик идет медлен-

но — шаг длиною в три пальца. Наконец дошел до полянки, где земля гладкая и черная, достал что-то из платка, встал на колени, шепчет, склоняясь до земли. Когда завертывал платок, Ли Бо увидел камень — большой серый голыш, какие лежат на дне горных рек. Но не камню же почтительно кланяется отшельник!

У каждого есть нечто, чем человек дорожит. У богатого — сундуки с добром, у чиновника — печать на фиолетовом шнуре, у храбреца — меч. А что у него, Ли Бо? Кисть и тушь?

Пальцы утратили гибкость, давно не упражнял их, катая нефритовые шарики. А ведь поэт не должен оставлять кисть надолго, как Чжоу Цзи свою жену.

В давние времена учредили должность Великого Непременного, чтобы отвечал за очищение храма императорских предков, — этот человек всю жизнь должен был хранить чистоту. В этой должности всех превзошел некий Чжоу Цзи. Однажды, когда его жена услышала, что он болен, и навестила супруга, Чжоу Цзи так рассердился нарушением правил, что велел заключить ее в тюрьму, ведь они могли видаться только один день в году — последний. Но в этот единственный день Чжоу Цзи, говорят, всегда напивался. Разве не столь же печален удел супруги Ли Бо? Даже раз в год не видит непутевого мужа. А помнят ли дети о нем, бессердечном отце?

Шелестит на ветру бамбук, проще всех звуков в мире его шелест, а после дождя все ветви и листья пропитаны влагой, шуршат бесппрерывной капелью, но сколько покоя в пресных, бесцветных ветвях!

...Прошел место, где Пятнистый Бамбук развязал платок, доставая камень. За спиною не слышен скрип и шорох роши, тихо вокруг. Заросли ежевики с черными ягодами, плети вьюнков, крупные белые лилии. Небо все ближе, камни растут из земли. Ли Бо дышал ровно; чем выше, тем легче дышать, чистая прохлада омывала сердце — давно не дышалось ему так легко. Шел все быстрее, прыгая по камням, цепляясь пальцами за морщины глыб, пока не встал на краю, над далью. Самому захотелось броситься в пропасть — казалось, взлетит, подхваченный ветром к слоистым тучам, ныряя и нежась в воздушных потоках, — один, как журавль, летающий в одиночку, кувыркаясь через крыло, падая камнем и снова взмывая над миром. Тени бамбуков. Лазурные блики моста. Белесый туман оседает каплями на бороде. Уши, как витые океанские раковины, полны шороха, шелеста, гула земли; зрачки изострились всевиденьем.

О Лао-цзы — предок на черном быке! Слова твои вспомнил Ли Бо на краю бездны: «Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется». Слова твои легко понять и легко осуществить. Но люди не могут понять, не могут осуществить. И я играл ими, стремясь к прекрасному, не беря в себе хорошее, уподобясь тому, кто дал в долг все деньги, но ему не вернули к Новому году, и первый день первого месяца встретил

нищим. Спокойно сердце того, кто не одалживал, сам в долг не брал, — такому незачем приобретать, нечего терять.

Не в силах сдержать радость, вихрем помчался Ли Бо, прыгая с камня на камень, не задыхаясь, не оступаясь. Увидев на гаоляновом поле наставника, опершегося на мотыгу, поднял его на руки, принес в хижину, усадил на лежанку, обмыл ему ноги чистой водой. Ничего не объяснив, умчался мотыжить поле, оглушительно свистя. Когда же сел у ног старца, тело стало невесомым, сердце прозрачным. Пятнистый Бамбук подал ему свою чашку. Только тогда Ли Бо осмелился спросить.

— Сяньшэн, все думаю, что у вас в желтом платке?

— Смотри на иволгу, пока она тебя не видит.

От стыда Ли Бо закрыл лицо рукавом.

— Не огорчайся, я тоже в твои годы не сдержал любопытства, пошел за Цветущим Бамбуком. От него этот камень.

— Чем же он необычен, учитель?

— Тем, что такой же, как другие камни. Цветущий Бамбук достал его из реки, завернул в красный платок. Когда красный платок обветшал, я завернул в желтый.

— Но вы кланялись ему!

— И ты мне кланяешься, а я такой, как все.

— Разве смею почтительно не приветствовать старшего?

— А разве камень не старше меня? Что человек считает святым, то и свято. Когда-то здесь, на склонах горы Ушань, были только камень и твердая земля. Мой учитель принес с юга бамбук, посадил — он разросся. Учитель ждал, когда зацветет бамбук, любил бамбуковые семена, но за долгую жизнь отведал их только однажды. Теперь я жду.

— Когда же цвел лес?

— Цветущему Бамбуку было тогда тридцать лет, а жил он долго, и я здесь давно... Да, прошло сто пятнадцать лет с тех пор, как бамбук зацвел на горе Ушань.

— Но ведь тогда и Гао-цзу¹ еще не было! — изумился Ли Бо.

— Значит, на золотом троне сидел кто-то другой. Императоры уходят часто, бамбук цветет редко, люди меняются, народ все тот же. Возьми мотыгу и следуй за мной.

Они миновали гаоляновое поле, ручей, ушелье, подошли к зарослям.

— Раскопай землю. — Ли Бо раскопал; земля черная, переплетена крепкими корнями. — Сколько здесь деревьев, за тысячу лет не сосчитать, а все связаны между собой старшим и младшим родством. Зацветет одно — весь лес в цвету. Погибнет одно — умрут все. Если выкопать росток, увезти за тысячу ли к северу, за тысячу ли к югу и посадить, года через два разрастется вдоль рек, вскарабкается по склонам. Но когда на горе Ушань умрет бамбук, в тот же день и час погибнут все, что за тысячу ли от него, где бы ни были. Знаешь, почему?

¹ Император Гао-цзу правил в 618—626 гг.

— Не знаю, учитель.

— Подумай.

Учитель так и не дождался цветения бамбука. Зимней ночью умер. Стояла такая тьма, что Ли Бо с трудом нашел хижину, возвращаясь из леса: сожмешь пальцы — кулак не видно, разожмешь — ладонь не разглядишь. Вернулся с вязанкой — учитель лежит на циновке, закрыв глаза, слабо дышит. Быстро подложил в очаг хворост, так что жарко стало в хижине. Заплакал с горя, встал на колени перед учителем. Тот положил ему руку на пордевшие волосы. Легка, как ивовый лист, рука учителя.

— Не обо мне печалься — о себе. Тяжело у тебя на сердце. Вижу, кто-то угостил тебя чашкой дурного чая. Слышал, как ты стонешь по ночам, для тебя собирал травы. Теперь ты спишь хорошо и говоришь внятно, но, видно, яд оказался слишком сильным — я не мог тебя исцелить, только ослабил действие отравы на сердце и печень. Ты поздно пришел ко мне... Но тот человек не умрет своей смертью. Помнишь, я сказал тебе: если погибнет бамбуковый лес на горе Ушань, в тот же час погибнут все деревья, пересаженные из него хотя за тысячу ли...

— Помню, учитель.

— Теперь ты понял, почему?

— Нет, учитель.

— Еще подумай, тогда поймешь. Встретились — расстаемся... Что за печаль? Нет у меня ничего, кроме камня в желтом платке; хочешь — брось, хочешь — возьми. Не почитай имена, свято лишь безымянное... Узоры неба... линии земли...

Сказав это, учитель ушел.

По всей Поднебесной не было человека, которого Ли Бо хотел видеть так сильно, как Пятнистого Бамбука. Пожалуй, один Ду Фу. Неужели он прав: выигрывая войну, мы проигрываем мир? Но разве не о том в «Дао дэ цзине»: «Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы... Хорошее войско — средство, порождающее несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет... Тот, кто радуется убийству, не может завоевать сочувствие в стране. Благополучие создается уважением, а несчастье приходит от насилия... Если убивают много людей, то об этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной процессией».

3.

Наконец на мосту показался паланкин Гу И, стражники, слуги, монахи, — уж не оттуда ли, из монастыря Лао-цзы? Видно, оттуда — вот и наставник в аллой шелковой рясе, его окружили послушники, каждый держит медную плевательницу, молитвенный барабан или просяную метелку. Дождались, пока Гу И вышел из паланкина, в тысячный раз прочитал: «Отныне тот, кто был известен под именем

Ли Бо из Цзянлия, лишается тени, имени и считается ничем. Подданные любого сословия и звания, встретив черепашие отродье, обязаны плюнуть в изменника». Плюнули: настоятель, монахи, плотник с теслом, которого привели чинить колесо телеги.

Монахи громко прочли сутру «Бессмертные будды», кланяясь наставнику, громко вторили: «Посвящаю себя будде Амитабе, его милосердию, его мудрости». Действительно, только безумцы могут возносить молитвы в стенах, обрызганных кровью. Молод настоятель, но красноречив, чего же он хочет от человека, в которого плюнул? Или думает, что слюна, душистая от благовоний, приятнее жирного плевка Гу И? Бедный наставник Гао Юйгун! В высоком зале, где мы с тобой выпили так много вина, теперь сидят отшельники тоски. В память о твоей учености здесь остались кожаные ремешки рукописей, высохших, как листья чеснока; кассию, ирис и ревень, что ты сажал всю жизнь, выдернули из земли.

Я рано понял, что нужно беречь свободу от мира. Но, видно, с годами поглупел, решив, что мое дело — спасти мир. Нет, не стоило мне, старику, звонить в колокола, бить в барабаны. Я, как этот молодой монах в алой рясе, чаще открывал книгу, чем сердце, а теперь ни к чему прочитанное и написанное.

Одиноко и так тяжело!..

Однажды с наместником Ань Лушанем проезжали мост через Янцзы — легкий, кружевной, словно фарфоровый, а проходят быки с повозками, груженными камнями, не прогнется. Говорят, этот мост длиною в семьдесят шагов за одну ночь построил каменотес Лу Бань, сжалившись над жителями, каждый год наводившими переправу. Воздали жители хвалу каменотесу, пели в честь него песни. Услышал про мост отшельник Чжан Голао, навьючил осла переметной сумкой — и мост закачался, прогнулся, а в камне, как в глине, оттиснулись ослиные копыта; непомерную тяжесть взвалил Чжан Голао на осла: в один кошель сумы положил солнце, в другой — луну. Прогнулся мост, но устоял, не рухнул.

Тяжелы луна и солнце. Но тяжелее всего — неволя. Как взлететь журавлю, если к крыльям привязаны камни? Как нырнуть рыбе, если в жабры вонзился крючок? Как постичь Дао, если думаешь о спасении мира? Жизнь коротка, но тягот в ней на тысячу лет!

Плотник приладил колесо, монахи вернулись в монастырь, стражники седлают коней, слуги подняли паланкин, где храпит Гу И.

Все дальше на юг катит повозка, в Елан, а сердцу все холоднее. Трава в лунном инее, усталые гуси ищут пропащую отмель. Шуршит бамбуковая заросль, сияет луна, поле цветущей гречихи белеет как снег.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.

— Отец!

Будто наяву слышен голос сына, но он за тысячу ли. Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он — бабочка, он от души наслаждался, порхая с цветка на цветок, но вдруг проснулся и удивился, что он — Чжуан-цзы, никак не мог понять: снилось ли ему, что он бабочка, или бабочке снится, что она Чжуан-цзы. Это и называется превращением вещей. Если так изменчивы мы сами, по-разному воспринимая себя во сне и наяву, душой и телом, что же тогда сказать о бесконечных формах природы? Если отдельные существа могут претерпевать такие изменения, то весь мир должен пребывать в непрерывном движении. Тогда что же удивительного, что Чжуан-цзы стал порхающей бабочкой, а Ли Бо оказался в клетке, как животное. Но если разум и честь так преходящи, чего же мы добиваемся своими трудами и мучениями?

Ли Бо сидел на полу, погрузившись в странности превращений, но снова услышал: «Отец!» — так внятно, что испуганно закрыл уши. Жалобно всхлипывая, косматый старик забился в угол клетки, задрожал. О небо! Разве не все исполнили повеление императора, неужели остался на земле хоть один, кто не плюнул в меня? Ха-ха! Конечно, остался — мой сын Байцин! Но как же он узнает меня, если мы никогда не виделись?

В день, когда он принес из Чэнду саженец персика с корнями в комьях земли, обвязанный мокрой рогожей, госпожа Цуй легла навзничь, а он, ее супруг, лег ничком — свет и тьма соединились, дав начало новой жизни, имя которой скажут вслух через десять лун. Но жизнь нерожденного — тоже жизнь; его дыхание, как у рыбы, — тоже дыхание; его зрение, как у летучей мыши, — тоже зрение. Как бы ни повернулся в чреве матери, всюду мягко, влажно, тепло; куда бы ни посмотрел — везде темно. Руки нерожденного слабы, как ушки хмеля, разве удержать ими отца? Ушел...

Госпожа Цуй отняла от глаз рукав, мокрый от слез, часто дыша, словно кость попала в горло, и нерожденный услышал частые удары материнского сердца. А вечером под села к тазу, натужилась — плод выскользнул из чрева и не дышит. Повитуха даже доставать не стала — задвинула таз под лежанку, куда уложили безутешную мать. Про дитя забыли, пока оно не закричало. Сперва испугались — не лишица ли оборотень? Повитуха достала дитя, шлепнула по сморщенным ягодицам — кричит. Родился вместе с именем, так и назвали Ши-дэ — Найденный, и так написали почтенному супругу и отцу мальчика. Так и звали до первой прически, только мать называла Хуан Лао — Желтый Персик. Сама она пригожа и нежна лицом — желтым, как обмолоченная рисовая солома.

Лицо матери — первое, что увидел ребенок. Потом земляной пол, черные от копоти стропила, очаг, лежанку, сестрицу Пиньян, белого козленка, крошечный огород с морковью, капустой и бобами,

крошечное поле в тени Черепаховой горы, дороге... Только отца не увидел сын. Наверное, всей семьей смотрят на дорогу: не клубится ли пыль под коном господина Ли? Нет ли вестей от господина Ли? Но высоко летят утки, еще выше серые гуси — не роняют перья. Нет вестей от отца и супруга. Чужие знают о нем, близкие не ведают — такова судьба необычных людей. Далеко уносят людей реки, дороги и годы.

Он написал им из тюрьмы. Если не дошло письмо, то теперь уж дошла весть о государственном преступнике Ли Бо, сосланном в Елан.

— Отец!

Высокий юноша торопливо развязывает котомку, сыпется рисовая мука — так долго он шел по следам отца, что рис истолокся, истерся, как в жерновах, стал мукой.

— Отец, вы прощены! — А губы дрожат. — Сам полководец Го Цзым дал мне золотую табличку императора!

Со всех сторон бегут переполошившиеся стражники. Гу И с трепещущим сердцем встал с теплой лежанки, в ушах еще звучат голоса молоденьких певиц, сердце еще согревает вино, до середины догорели квадратные свечи, тают сфинксы, тисненые в душистом воске. В раздвинутую створку видны факелы, стражники, разгневанный начальник уезда.

— Кто осмелился нарушить покой господина инспектора Гу И? Я, отец и мать народа, повелением Сына Неба лично опекаю уезд. А вы, бездельники, глаза выпуча, нарушаете все приличия. Разве могу я, начальник уезда, стать посмешищем для высокого чиновника и для народа? Тупые твари, нет в вас ни души, ни ума: ведь начальник говорит, а вы не соображаете!

— Отец и мать народа, тут какой-то сумасшедший твердит, что он сын Ли Бо.

— Безобразие! Какое безобразие так опозорить меня перед официальным представителем из столицы! Немедленно схватить наглеца!

— Стойте! — Байцин высоко поднял золотую табличку. Стражники повалились на колени. Подошедший Гу И дрожащей рукой взял золотую табличку, плюхнулся прямо в лужу, прочитал начертанное острым резцом: «Мы, единственный, больше не сердимся на Ли Бо и жалуем его званием беспечного и свободного ученого. В любом винном заведении страны он вправе требовать вина, а в государственной казне — деньги: в окружном управлении тысячу гуаней, а уездном — пятьсот. Военные и гражданские чины или простолюдины, не оказавшие при встрече с ученым должного уважения, будут наказаны как нарушители императорского указа».

Гу И показалось — земля задрожала, вскачь понеслась. Начальник уезда на коленях подполз к повозке.

— Почтеннейший Ли-ханьлин, у ничтожного человека, хоть и есть глаза, гору Таишань не заметил, поступил так опрометчиво, так необдуманно! Умоляю пожалеть моих старых родителей, маленьких детей. Почтительно прошу принять этот фиолетовый халат и

яшмовый пояс. А деньги сейчас принесут. И молодого господина прошу принять подарок...

— Да откройте же клетку! Выпустите отца!

2.

Ли Бо лежал на теплой лежанке с изголовьем из розового палисандра, укрывшись теплым одеялом из кроличьего пуха. При каждом вдохе внутри хрипело, он не мог откашляться, впалые виски и костлявую грудь сразу покрывала испарина.

Когда его, чисто вымытого, в тонком белье и новом халате усадили в паланкин с двойным фиолетовым зонтом, он испуганно съжился, не выпуская завернутую в платок отрубленную голову. Весь путь до Данду ни слова не сказал сыну, вздрагивая от криков скороходов: «Спешите склониться в поклоне перед повелителем печати!»

У городских ворот его встретил двоюродный дядя Ли Янбинь, исполнявший должность правителя, но как раз в этом году ему исполнилось шестьдесят девять лет, и он сдал дела управления, целиком посвятив себя каллиграфии.

Старый чиновник слыл не только человеком глубокой души, но и замечательным мастером кисти. На второе место он ставил свое искусство резчика печатей. Несколько дней он терпеливо вырезал печать для родственника — из дымчато-зеленого оникса с сине-зелеными прожилками, поразительно повторявшими очертания горы Ли-шань, великолепно бырезал имя «Ли Бо», которое пишется знаками «белая слива». Он не любил, когда хвалили его дарование, зато искренне радовался, если Ли Бо распевал свои строфы, и тут же записывал их. Узнав от Байцина, что отец любит тростниковый сахар, кипяченный в буйволином молоке, жареную утку, приправленную красным перцем, не отказывается от паровой свинины под соусом из прыгающей рыбы, велел каждый день готовить эти блюда, да еще свои любимые — белого карпа в винном маринаде и ломтики дыни, квашенные в рисовом соусе, но еда часто оставалась нетронутой, и Ли Янбинь сокрушался: «Больной не ест — это бывает. Но, чтобы великий поэт не имел должности, — такого в Поднебесной не бывало никогда!»

Байцин спал на циновке рядом с лежанкой отца, просыпался при каждом шорохе — подать отцу чай, отвар из трав. Он с нетерпением ждал, когда же здоровье позволит отцу вернуться в Шу, в дом у Черпаховой Горы, где давно ждут матушка и сестра.

Прошел восьмой месяц, девятый настал. Солнечная вода озера успокаивает взгляд прохладной глубиной, где плавно колышутся водоросли, пряча от шук стайки красноперых полосатых окуней. Тень от висячего моста раскачалась — крестьянин понукает навьюченного осла, женщины несут на коромыслах корзины, полные опавших листьев. Сказанное разносится далеко по воде, словно утки-нырки чертят воду серыми перышками крыльев.

Открыв глаза, Ли Бо долго смотрел на уснувшего сына — навер-

ное, семь раз менял воду в котле, чтоб чай был горячий, свежий. Почтительный сын. А я, видно, непутевый отец, глупый старик.

Услышав бормотание отца, сын проснулся.

— Отец, завтра «день двойной девятки»¹, мы тоже поднимемся на высокое место...

— Сперва надо исполнить долг. Позови дядю.

Ли Янбинь вошел, заложив за спину руки в длинных рукавах, голова в маленькой фиолетовой шапочке откинута назад, глаза навывкате, усы только в уголках губ.

— Почтенный старший родственник, простите неучтивого Ли Бо, засидевшегося в гостях.

— Об этом не стоит и говорить, прошу мою развалюху считать своим домом, распоряжаться всем имуществом. Гостите сколько хотите, ни о чем не заботясь.

— Скажите, почтенный старший родственник, есть поблизости гробовая лавка?

— Надо перейти канал, а там в переулке лавка Чэна. Не беспокойтесь, провожу вас, но отведайте хоть утку или паровую свинину — вы очень ослабели.

— Нет, сперва надо исполнить долг.

С берега доносятся голоса. Бурлаки, глубоко вдавливая босые пятки в желтый песок, тянут баржу, груженную солью; вот вошли в тень, отброшенную мостом, словно растаяли в ней, и, кажется, баржа плывет сама по себе, толчками, как жук-плавунец. Мост без опор, из круглых бревен, крашенных охрой, отражается в прозрачной воде. На мосту зеваки облокотились на резные перила, тут же продают канаты, полотно для парусов, кованые гвозди. По мосту спешат носильщики с тюками, корзинами, слуги несут шелковые паланкины. На шестах питейных лавок празднично развеваются флажки с журавлями и единорогами — значит, вино есть, галдят пьяницы, зазывая женщин. Кто-то ловит рыбу, кто-то ищет багром в воде.

Справа вдоль дороги апельсиновая роща, слева — канал. Ветра нет, паруса джонок поникли, ожидая попутного ветра. Ветер с полей приносит горечь сжигаемой ботвы. Только пьяницам все равно, откуда дует ветер. Пролетели на запад павлины.

Когда вошли в гробовую лавку, хозяин ругал пыльщиков, раздвигавших тисовое бревно. Пыхтит котел с лапшой, шипит баранина на огне, готовые гробы поставлены стоймя.

— Хозяин Чэн, привел к вам достойного покупателя.

— Рад услужить почтенному человеку. Если вам нужны доски, у меня есть тис, бук, самшит, а если изволите выбрать готовый гроб, прошу, выбирайте любой — красный или черный. Вот этот отличного качества и стоит ровно три лана. — Чэн погладил тисовый гроб из толстых досок, тщательно промазанный внутри и снаружи,

¹ Праздник осени, или «День двойной девятки», отмечали в девятый день девятого месяца по лунному календарю.

покрытый алым лаком. — Я в Данду знаю всех, не слышал, чтоб кто-нибудь умер.

— Ли-ханьлинь берет гроб для истинного мужа, делает доброе дело, так что не запрашивайте слишком много.

— Раз так, не посмею брать лишнего, отдам по своей цене — за полтора лана. Дешевле уж никак.

...Ли Бо припал к могильному холму, обложенному белыми камнями — земля приняла тисовый гроб с головой крестьянина, завернутой в камышовую циновку.

— Почтенный учитель! Уход ваш был для Ли Бо, как падение кометы, что с полуночной высоты обрушилась на землю, целый край осыпав золой и пеплом. За долгую жизнь только раз и склонили голову — когда лопнули струны жизни. Как тихо на вашей могиле! Глубоко скорблю о потере, хотя не знаю вашего имени. Заколочен ваш гроб, вы навсегда покинули нас. Ваш гроб благоговейно погребен, скоро на вашей могиле воздвигнут высокий холм, я сам стану его неусыпным стражем. Увы, какая горькая печаль! О чем осмеливаюсь донести.

3.

Ли Янбинь и Байцин, поддерживая с двух сторон Ли Бо, поднялись на холм, где рос одинокий чечеточник. Пришли не первыми: молодой чиновник в бледно-лиловом халате, расшитом побегами бамбука, сидел на корточках под старым деревом, собирая в траве красные бобы, щедро осыпавшиеся из лопнувших стручков. На плоском камне прыгала красноклювая сорока с бело-зеленым хвостом, нарядным зеленым оперением.

Заметив путников, чиновник поспешно встал, учтиво поклонился и протянул ладони, полные алых горошин.

— Прошу вас, возьмите, они очень красивы.

Ли Янбинь поблагодарил незнакомца строками Ван Взя:

Красных бобов много в южном краю.
Осень придет — новых побегов не счесть.

Чиновник продолжил:

Очень прошу: рвите их в память мою,
Ибо они о друге лучшая весть¹.

— А кроме Ван Взя, кого почитаете из поэтов? — спросил Байцин.

— Того, кто у всех на устах — Старого Ду. (Старого Ду? — удивился Ли Бо. — Тот молодой человек уже старый Ду? Да сколько же веков прошло, как мы расстались с ним?) Талант у него драгоценный, как узоры на полированном агате, хотя бывают и

¹ Пер. А. Штейнберга.

досадные трещины. Говорят, совершенством считает бессмертного Тао¹.

— Вся разница в том, что мы называем «учиться у других, как у наставников своих», — назидательно сказал Ли Янбинь. — Но это не просто изложить тому, кто только начинает учиться. Да и ученики в наши дни много мнят о себе, только кисть научился держать, а древние ему уже не вещь и ничто. У Ду Фу ищут ошибки, исправляют Ван Взя, скажешь о Мэн Хаожане — пожимают плечами, вспомнишь «Весеннюю траву» Чжан Сюя, тут же услышишь: «Я в сто раз больше написал, чем Чжан Сюй!» Потому все, что сочиняют, словно бред какого-то безумца, без смысла и даже порядка. Проявлением храбрости считают, когда вздымают песок на воздух и катят гальку за собой. Как таким невеждам объяснить, что значит высшая суть? Усвоит такой от учителя слог, не станет искать, где живет духовная сила поэта, никогда не приобщится к ней, будет только круги циркулем рисовать, чертить наугольником точный квадрат и будет всего лишь рабом таланта.

— Признаю вашу правоту, благодарю за терпеливое разъяснение, — поклонился молодой чиновник. — Вы — знаток серьезный, как после ваших слов мне с моим жалким умом братья судить о поэтах! Но все-таки в чем здесь дело, никак не пойму.

— А в том... — Ли Бо был раздражен болтовней о поэзии, — что стихи — способ воспеть душу и все, что зовем мы «духом народа» в наших классиках. Ведь все исходит из сердца, только из сердца. Только и вышли такие стихи потому, что дела человеческие заделали за сердце меня, и к этим стихам умом и силой нельзя ничего добавить и отнять ничего нельзя.

Байцин расстелил циновку, достал из корзины горшок с углями, чайник вина, глиняный кувшин с желтыми хризантемами. Наполнил чаши.

— Не отведаете ли с нами осеннего вина?

— Благодарю вас, но я так бесцеремонно нарушил ваше уединение.

Байцин проводил незнакомца взглядом, пока тот спускался по склону; почему-то сжало сердце, словно, отдав ему горсть алых бобов, молодой чиновник взял часть его души. Наверное, у них нет разницы в прожитых веснах. Лепестки хризантемы падали желтым снегом в горячее вино.

— Краснота одинакова для всех бобов, но вкус их различен — горький, жгучий, сладкий, с кислинкой. — Ли Бо поднял чашу, вдохнул запах вина, смешанный с ароматом цветов. — Сегодня праздник Ван Взя, только невежда не вспомнит его «бобы памяти» — он собрал их для всех, хотя не отдал никому. Вспоминаю сегодня Ван Взя. Вспоминаю Мэн Хаожаня, Хэ Чжичжана, Гао Ши. Ду Фу вспоминаю.

Сидели на вершине холма, у одинокого чечеточника. К востоку от дерева уходила вниз белая дорога, спускалась к озеру, отражавшему

¹ Тао Юаньмин (395—427), один из величайших поэтов Китая.

небо. Вода смягчила нестерпимую синеву неба, глаза отдыхали на зеленом островке блестящих листьев, белых лилий. А деревья на берегу почему-то чаще стояли сухие, с темно-коричневыми острыми изломами ветвей.

— «Хризантемы осенней нет нежнее и нет прекрасней!» Да, этот цветок полюбить с тех пор, как ушел Тао, редко кто умел. В Чаньани я знал бездельника, который нанимал садовников, чтобы они пересаживали и растили для него хризантемы, а когда они цвели, он приходил в сад и сочинял стихи: «В осенний день люблюсь хризантемами, подражая Тао из Пэнцзэ» — и думал, что так приобщается к великому. Нет, пути великих закрыты. Ушли великие... Осталась лишь природа.

Когда-то я сравнил цвет ланьлиньского вина с янтарем, а после меня Чжан Юэ и другие с толком и без толка стали все вина называть янтарными. Жалкие! Древние, найдя новый цвет, новый звук для строфы, новый образ, ставили рядом знак — «подражанию не подлежит». Разве можно перенести росу с цветка на цветок, со стебля на стебель, не расплескав?

— Не потому ли, отец, вы обратили внимание на цветок, мимо которого все проходили равнодушно десять веков. Четырежды встретил в ваших строфах розу.

— Ты собираешь цветы в моих стихах так прилежно, словно собираешься открыть цветочную лавку. Никчемное занятие! Поэт — художник жизни, его руки и ноги являются кистью, а вся вселенная — шелком, на котором он пишет свою жизнь. Много их, оступивших от чтения классиков или созерцания собственного пупка. Так торопятся уйти от мира, что теряют себя. А путь только один — вечное искать в самом себе. Древний поэт брал в руки свечу и с нею гулял по ночам — большой был в этом смысл!

Из горшка с углями струился жар, пахло огнем. Байцин взглянул сбоку на отца — как чужеземец! Кожа с краснотой, багровая, как бобы чечеточника, лоб в узорах морщин, а глаза совсем не ханьские — широко открытые, с неподвижными зрачками.

Лепестки хризантем намокли, опустились на дно, едва различима их желтизна в красном вине.

— Лао-цзы ушел через заставу Ханьгу, покинув Поднебесную в западном направлении. В тот год не было дождей, земля треснула, как панцирь черепахи. Разве легко ему было в такую жару взвалить на спину пять тысяч знаков? Когда опускал их на землю, чтобы вытереть пот, земля от тяжести прогибалась; когда снова взваливал на плечо, земля облегченно выпрямлялась. От Лао-цзы начало всех Ли.

Я пришел в Поднебесную, минуя заставу, без подорожной с печатью. Каждый, кто доносил на меня, получал награду. А узнать меня разве трудно — кто еще похож на меня ростом и цветом лица? Я тоже принес нечто, да все некому передать — мой Страж Заставы в пути. Встречусь ли с ним? Или еще подождать?..

В озере дрожали отражения деревьев, покачивалось зеленое поле с белыми головками лилий. В такой томительный час вдруг по-

чувствуешь холод осенней воды, покалывает кончики пальцев. Под ветром склонилась трава, полегла на юго-восток. Байцину захотелось на долгие годы сохранить этот день. Конечно, он и так не забудет его, но хотелось какого-то вещественного знака дня, при взгляде на который все, пережитое сегодня, обрело бы запах, узоры, цвет.

— Отец, не смею утруждать вас глупой просьбой, но хотел бы взять из ваших рук что-нибудь на память о сегодняшнем дне «двойной девятки».

Ли Бо отложил веер, собрал в траве алые горошины. Отсчитал девять, еще девять взял из тех, что собрал незнакомец, потряс в сложенных ладонях и подал сыну.

С вершины холма видны глубокие колеи от колес, поднимаются на тот берег, теряются в кустах. Но сейчас никого, только белые цапли на отмели ловят рыбежку. Вот сошлись в круг, словно что-то решая, а вот уж стоят полукругом; на середину вышла одна птица — кружится, как танцовщица в белом платье, раскрывая веером то правое, то левое крыло. Выходят по очереди птицы, танцуют. А молодая цапля поджала тонкую ногу, опустила голову, но взрослые зашикали на нее, стали щипать клювами. Долго танцевали птицы, потом улетели.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«После тигра остается шкура, после человека — имя». Часто слышал эти слова от отца, теперь повторяю своим детям.

С тех пор как на центральной равнине началась смута и разброд, мой отец восемь лет провел в скитаниях, тюрьмах, ссылке, и, хотя удостоился высочайшего прощения, жизнь его клонилась к закату¹. Имя его забыли, написанное им исчезло. То, что сохранилось, большей частью получено мной от чужих — тысячи разрозненных свитков.

Сегодня, думая об отце, растер тушь на камне, чтоб предпослать несколько строк бережно собранным мною строфам Ли-ханьлиня. Прав был отец: не все в них понятно, видно, каждому знаку великой кисти свой срок и свой возраст.

Похолодало в наших краях... Утром вышел из дома — трава белая от инея, поникли цветы. Так захотелось тепла! Поспешил домой, бросил в очаг сухие стебли репейника, смолот в мельнице чай. Холодом тянет из щелей, ветром сдуло на пол свитки. Поднял — узнал кисть Ли Бо.

У самой моей постели
Легла от луны дорожка.

А может быть, это иней? —
Я сам хорошо не знаю.

¹ Ли Бо умер в 762 году, в доме родственника Ли Яньбина.



Я голову поднимаю —
Гляжу на луну в окошко,

Я голову опускаю —
И родину вспоминаю¹.

Слезы брызнули на зимнюю бумагу, рукав халата стал мокрым. Не помню, сколько сидел так, сокрушаясь, скорбя о горькой судьбе отца, восхищаясь величиим его духа.

«Взираи на знаки небесные, дабы познать смену времен; взираи на знаки человеческие, дабы изменить к лучшему Поднебесную!» — начертано в «Книге перемен».

Фу-си создал человеческие письма, устремив взор на образы неба, устремив взор на узоры земли. Так же велик, как Фу-си, Ли-Небожитель.

Вот он поднял глаза: сразу вобрал в зрочки небо с Млечным путем, луной, звездами, в бесконечный путь устремился туда, где ни формы, ни узора — только четыре стороны света, верх и низ, минувшее и сегодняшнее, где длительность и длина подобны двум балкам, лежащим крестом в основании кровли.

Вот он опустил глаза: сразу вобрал в зрочки землю, все деревья и травы, коим присуща жизнь; всех птиц, рыб и зверей, коим присущи жизнь и сознание; всех людей, коим присущи жизнь, сознание и долг-справедливость. Здесь от слова до слова можно загнать коня, но попробуйте вонзить между знаками острие ножа — железо ломается. У кого, скажите, язык так свеж и необъятен? Кто еще одним взмахом кисти повесил на крюк завесу между бытием и небытием?

Как же, неотесанный, я смел подумать, что отец станет попусту водить кистью, бессмысленно марая бумагу? Как я, слепец, не разглядел перемены и движения, линии и узоры! Печальюсь и корю себя, что не смог увидеть сокровенное в строках отца, хотя столько раз держал их перед глазами и читал громко, нараспев. Как же после этого называться почтительным сыном? Ведь этот свиток — память об отце, он протянул его мне через всю Поднебесную, словно посох слепцу. Какого знака ни коснешься зрачком, каждый отзывается, как колокол. Как он велик! Поднял голову — небо, опустил голову — земля.

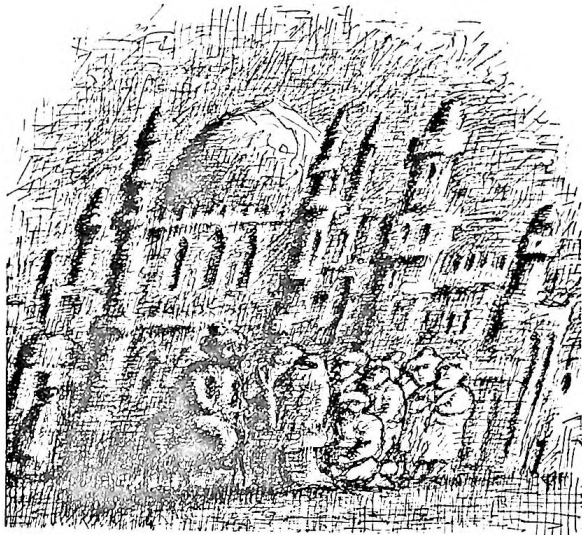
Люди редки, трава густа. Безымянные путники поле прошли, а следы их шагов остались. Во времена раздора редко совершенство строк: одни не видят небо, другие не видят землю. И сейчас в ином мире, среди бессмертных, отец поднимает глаза... опускает глаза...

Бережно свернул свиток. Взял потемневшую коробочку золотистого лака, в ней красные бобы старого чечеточника. Сян сы доу². Разве в этой жизни и во всех перерождениях забуду вас, отец?! Но смотрю на красные бобы и не понять, какие же тогда собрали вы...

1981—1984

¹ Пер. А. Гитовича.

² Китайское название бобов чечеточника. «Сян сы доу!» — Помни тысячу лет!



Я ушел, ибо пребывание в этой обители
несправедливости

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧИТЕЛЯ

разные дни жизни рабом и господином, воином и гонцом, учеником и учителем, бессчетное число раз пытался ответить, зачем аллах дарует человеку жизнь, а дав, безжалостно отбирает; не находя ответа, он искал его в беседах с толкователями Корана, звездочетами, поэтами, но их слова оказались лепешкой, после которой снова наступал голод, ему же хотелось насытиться не на один день.

Когда-то он был учителем Хайяма. Каким был мальчик, которого отец за руку привел в медресе сорок или пятьдесят лет назад, старик, конечно, не помнил — столько детей прошло перед глазами. Он помнил Абу-Тахира, потому что его отец — начальник тюрьмы — велел выстроить для учителя дом, помнил Хуссейна ибн Юсуфа с багровым родимым пятном во всю щеку, помнил силача и задирку Хасана Саббаха, а вот Хайяма не помнил: высокий он был или низкорослый, худой или толстый, быстрый в соображении или нерадивый, почтительный или дерзкий. Люди говорили ему: «Слышал, Малик-шах возлюбил твоего ученика как брата?», «Радуйся, хаджи, твой ученик пересчитал все звезды на небе!» И куда бы они ни приходил, люди, узнавая, что это он первым вложил калам в пальцы имама Омара, не отказывали ему ни в крове, ни в пище. Последние годы он только этим и жил; в Хорезме он говорил: «Я учитель Омара Хайяма», и в Самарканде говорил: «Я учитель Омара Хайяма», то же повторял в Багдаде, Герате, Балхе, Шахрисабзе. Его именем стало Учитель Хайяма.

Однажды в Балхе, ворочаясь среди храпящих в караван-сарай, он вспомнил слова, услышанные через пространство времени: «Почтенный учитель, начало наших бед не в том, что вы не можете нас научить, а в том, что не велите знать». Но кто их сказал, Хайям или кто-то другой, разве ответишь?

Старик хотел пить, а воды не было; возможно, она струилась совсем рядом, журчала по камням, светящимся солнечными бликами, или прохладными волнами омывала берег. Но старик боялся свернуть с дороги.

«Ничего, потерплю. Может, встречу караван или приду в селение. Ничего, я потерплю, не такая уж сегодня жара».

И он шел дальше, опустив грязноволосую голову, чтоб не смотреть по сторонам, — там виднелись деревья, зыбко дрожавшие от зноя. Только однажды, прикрыв худой ладонью уставшие глаза, старик долго смотрел на них и представил, как свернет с дороги и пойдет к деревьям: они все ближе, уже легла на лицо невесомая, но такая благословенная тень ветви, матерински разросшейся на множество веточек, что-то лепечущих зелеными губами листьев; между могучими горбатыми корнями в неглубокой песчаной ложбинке упрямый родничок — прозрачная вода переливается через край и растекается по земле; в этой драгоценной чаше кружится белый цветок с мохнатыми желтыми тычинками; губы все ниже склоняются к воде, уже вдыхая ее холод, нетерпеливое дыхание рябит воду...

Старик горестно облизал пересохшие губы, вздохнул. Перетянул на впалый живот узел пояса. Веревка была толстая, поэтому узел получился большой и сбивался на правый бок, больно натирая кожу.

Однажды он уже шел Нишапурской дорогой, мимо старых ветвистых черешен. Тогда в этом доме с глиняным дувалом была подстава шахских гонцов, здесь неустомимые всадники меняли коней, ели, запасались водой и мчались дальше. Сейчас дом обвалился, рухнули стены, арык засыпало песком, и только две старые черешни вышли к дороге, словно встречая гостей. Жители давно оставили дом, построили себе новое жилище, а деревья остались — теперь они настоящие хозяева дома, хранители погасшего очага; они не могут, как люди, уйти в другие селения, города, страны — здесь их вечная родина. Глубокая вода поит их корявые корни, проросшие глубоко во тьме земли, обжигающее солнце переполняет сладким соком их плоды, ветер с далеких вершин обрывает спелые черешни, роняя в мягкую красную пыль. Но пора плодов еще не настала, лишь недавно облетели цветы.

— О дорога! — прошептал старик. — О великая дорога! Почему пахарь, мотыжа землю, находит серебро и бронзу, а я, который прошел тебя от начала до конца, от зари до заката, не нашел даже черствой лепешки? Я вышел в путь сильным и крепконогим, громко смеющимся над стариками, а теперь я сам стар и похож на облешего верблюда. Ты отняла у меня все, дорога, ты ненасытно впитала мою жизнь, как пролитую воду, так дай мне хоть глоток за отнятые годы, ведь я учитель Омара Хайяма! Я кормил его своими знаниями, как голодного птенца, а сейчас он взлетел над Западом и Востоком, и в мудрости моему ученику нет равных среди живущих.

Бормоча и вздыхая, старик брел дальше. Лицо его кривила боль, когда босая нога наступала на камешек, припорошенный пылью. Однажды он даже зарывал — словно пять скорпионов вонзили жала в огрубевшую подошву, это был не камень и не скорпион, а женская бронзовая пуговица в форме птичьей лапы, цепко сжимающей шарик из синего лазурита, об нее он и поранился до крови. Отерев рукавом пыль, старик сунул пуговицу за щеку — больше некуда было спрятать, к тому же, если сосать бронзу, не так хочется пить, и еще, слышал он, лазурит помогает при лихорадке и беспокойном сне.

Дорога стала пурпурной, когда он услышал за спиной нарастающий топот. На стремительном коне промчался воин, спеша с повелением шаха; старик даже не успел разглядеть всадника — остались только дымные клубы пыли и ожог плети. Что ж, плеть и спина неразлучны, как иголка с нитью. Старик в молодости тоже был гонцом, до сих пор на правом запястье остался жесткий рубец, натертый кожаными темляком. Когда-то одним ударом кругло сплетенной сыромяти он мог перебить гортань волка.

Пройдя еще фарсанг¹, он увидел вдали темную точку. Путник? Нет, не похоже. Всадник? Старик торопливо свернул на обочину. И точка тоже замерла. Дерево! Старик хрипло засмеялся — вдруг там вода, ведь где ей и быть, если не рядом с деревом.

Это было мертвое дерево — шелковица, пораженная гневом аллаха; обугленный ствол, расколотый до сердцевины, чернел

¹ Фарсанг — 6 километров.

огромным дуплом, где в полный рост мог встать человек. Кривые ветки возделы изуродованные руки, словно моля о пощаде. Уже никогда не оживут они зелеными листьями, никогда не прошуршат по листьям сладкие ягоды — божий гнев страшен. Но пока стоит дерево, пусть изурованное, пусть сожженное, пока цепляется омертвившими корнями за землю, у него нельзя отнять тень.

В тени шелковицы лежал младенец. Старик присел на толстый корень, рассматривая красное с желтизной лицо, приплюснутый нос, синие выпуклые глаза, осторожно протянул кривой палец, и младенец довольно зачмокал.

— Кто тебя здесь оставил, маленький человек? Даже волчица не бросает своих детенышей. Может, разбойники убили твою мать? — Бронзовая пуговица, царапая язык, мешала говорить, и старик положил ее на землю. — Может, змея ужалила ее в сердце, когда она искала для тебя воду?

Тень, заботливо укрывшая дитя, медленно разжала громадные черные руки и передвинулась, рыжие тоненькие волосы вспыхнули медным блеском. Ребенок зажмурился и заплакал. Старик достал из-за пояса дудочку, раздвинул грязные усы, поднес к губам косточку орла. В тишине зазвучала протяжная унылая мелодия, она струилась как ручей, бегущий по горному склону, — чисто и легко, на одной печальной ноте, беззащитной в тишине и одиночестве.

— Что мне с тобой делать, маленький человек? Я стар и беден, у меня нет ничего, только дудочка и бронзовая пуговица. Все, что я накопил, отнял от несправедливых жадных людей. А тебе еще ничего не успели дать, кроме жизни и старой тряпки, на которой ты лежишь. Кто твоя мать, откуда? Из Герата, Бухары, Ургенча? — Ребенок брызнул тонкой струйкой на сморщенную старческую ладонь. — Мальчик. Мужчина... Может, кто-нибудь даст мне за тебя хотя бы десять дирхемов, тогда мне не придется идти в Нишапур пешком, а там мне только стоит сказать, что я учитель Хайяма, и меня сразу помогут в бане, оденут в дорогие одежды, угостят кебабом и шербетом.

Ползая на четвереньках, старик собирал травинки и листья подорожника. Набрав полную горсть, вернулся к младенцу и устало лег рядом, пережевывая стершимися зубами пахучую зелень. А мальчик пищал, как птенец. Он еще был частью природы, и обрезанная серебристая пуповина еще незримо соединяла его с землей, небом, травой, птицами, зверями, обгоревшим деревом. Его круглые глаза смотрели по ту сторону бытия — бессмысленного и вечного. И все-таки это был человек, неважно — из Герата, Бухары или Ургенча, но, обреченный волей творца жить, он жил. И крохотная жизнь его — тоньше паутины, легче козьего пуха, короче ресницы — уже вобрала в себя все, что суждено испытать каждому, будь он нищий бродяга или царь царей: страх, сиротство и боль.

Старик выплюнул на ладонь зеленую кашицу и, скатав шарик, вложил в рот младенца.

— Ну вот, а теперь усни. Ты даже не понимаешь, какая удача тебе выпала, даровав встречу со мной, ведь я могу возвысить тебя своими

познаниями. Вот, послушай-ка задачу... Ну, какую же тебе задать полегче? «Копье стояло в воде отвесно и высывалось наружу на три локтя. Ветер отклонил его и погрузил в воду таким образом, что острое стало находиться на поверхности воды, а основание не изменило своего положения. Расстояние между первоначальным местом его появления и местом его исчезновения в воде — пять локтей. Мы хотим узнать длину копья». О, эту задачу решит не каждый, только плохо, что в ней снова говорится о воде, а я хочу пить. Можешь не сомневаться, я знаю все задачи ал-Хорезми, Абу-л-Вафа, Ибн Сины, ал-Бируни и ал-Кархи, иначе как бы мой ученик Омар стал всемогущим в познании? Если бы я разложил перед тобой сокровища своего ума, жемчуг и рубины показались бы рядом с ними камнями. Правда, я уже слишком стар, а ты еще слишком мал, но все равно великая милость в том, что ты встретился со мной, твой путь начинается с удачи. А теперь, маленький человек, я тоже отдохну. Нам еще долго идти, и я устал.

Старик развязал узел веревки и задохнулся от боли, расколовшей и обуглившей его, как молния дерево. Последнее, что он увидел, — оперенное древко стрелы, дрожащее перед глазами.

Два воина в холщовых куртках с нашитыми полосками буйволо-вой кожи осторожно подошли к хрипящему старику. Высокий отложил лук и, осторожно вытянув руку с блеснувшим ножом, приподнял голову за седые спутанные волосы, чтобы не испачкать кровью сапоги и штаны. Второй что-то искал между корнями шелковицы.

— Господину показалось, Али. У этого бродяги, наверное, нет и медной фельсы.

— А я своими глазами видел, он что-то прятал.

— Уж не это ли? — Длинный поднял младенца.

— Хо-хо-хо! От этого змееныша воняет, как от тухлой рыбы. Самое подходящее имя для него — Аффан¹.

Воин обтер мальчика тряпкой, завернул в плащ, сорванный со старика, и понес к дороге. За ним, недовольно ворча, шел второй, вытирая о рукав лезвие ножа.

На дороге их ждал надменный всадник в тяжелом парчовом халате и пышной чалме из тончайшего касаб. Белый иноходец нетерпеливо приплясывал, зло косясь на двух скакунов с притороченными ковравыми сумами: один конь был масти кумайт — с рыжей гривой и черным хвостом, второй скакун хурма-гун, цвета хурмы.

— О господин, мы нашли только этого ублюдка.

— А что еще, дети шакала?

— Бронзовую пуговицу и нищего бродягу, он уже не дышит.

— Ладно, сунь этого щенка в мешок — и в путь. Хоть мальчик? Сам вижу. Отдашь его начальнику рабов, пусть запишет.

Господин ударил коня плетью, и всадники, качнувшись в седлах,

¹ Аффан — вонючий, тухлый (араб.).

поспешили в путь. Порыв ветра долго гнал за ними пыль, потом вернулся к одинокой шелковице и дунул в дудочку. Она жалобно запела.

2. СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Последний верблюд не успел еще пройти арку постоянного двора, как сразу густо повалил снег. Купцы приказали слугам достать из тюков тулупы, теплые сапоги и, на всякий случай, походные жаровни со звонким березовым углем.

Хайям плотнее запахнул халат из верблюжьей шерсти. Он и Абу-л-Хотам Музаффар ал-Исфазари ехали на мулах в самом хвосте каравана, за ними только конные воины — конвой. Издалека оба имама были как братья — в чалмах из зеленого бухарского касаба, в ниспадавших на плечиakraхмаленных тайласанах — черных накидках, отличающих судей и ученых. Хотя Исфазари давно уже прославился трудами по астрономии и геометрии, до сих пор в нем сохранилась давняя привычка во всем походить на учителя.

Древняя дорога, выбитая в хорасанской земле еще воинами Александра Македонского, протянулась на сотни фарсангов, соединив город Нишапур и город Балх. Не один раз прошел ее Хайям: и с торговыми караванами, и с гонцами султана Малик-шаха, и в одиночестве, но всегда это случалось весной или летом, и первый раз зимой. Поэтому он не подумал о снеге. Светило солнце; белые сугробы, в некоторых местах до половины скрывшие высокие колья, ограждавшие дорогу, слепили чистым светом и еще не обдавали лицо холодом. Подняв к глазам ладонь с одинокой снежинкой, Хайям внимательно рассмотрел крошечную звездочку, пока она не превратилась в сверкающую каплю. Попробовал языком — вода пресная. «Что ж, по крайней мере мы избежим несчастья всех караванов — жажды», — подумал он.

От головы каравана по обочине дороги, лихо избоченясь в седле, скакал всадник. Когда он осадил коня, Хайям узнал в нем караван-салара — помощника караван-баши, отвечающего за всех верблюдов, мулов, лошадей. Поперек его седла были перекинута две шубы из волчьего меха.

— Господин, купцы из Балха просят тебя и твоего достойного спутника принять эту одежду.

— Передай им нашу благодарность. Как ты думаешь, сколько дней нам еще идти до Балха?

— Если аллах так поведет и не будет пурги, через месяц мы войдем в ворота Матери Городов.

Караван-салам пронзительно свистнул, и конь, взметая копытами снежную пыль, размашистой рысью пошел вдоль веренища неторопливых верблюдов.

— Ну, Абу-л-Хотам, тепло тебе в волчьей шкуре?

— Я больше надеюсь на чалму, учитель. Кому суждено замерзнуть, тот окоченеет и в бане.

— Вот как? Раньше я не замечал за тобой таких открытий, да и

отец твой всегда больше полагался на свои глаза и уши, хотя надел чалму хаджи¹, когда тебя еще не было на этом свете. Когда остановимся на ночлег, пожалуй, спрячу тыквы с вином, а то, чего доброго, ради спасения моей души ты выльешь вино на землю. А помнится, в Исфахане ты не отставал от Абд-ар-Рахмана Хазини и Наджиба ал-Васити в богоугодном деле осушения кувшинов, даже я порой не мог за вами угнаться.

— Ах, учитель, какими только грехами мы не испытываем терпение аллаха в молодости!

— Значит, ты с тех пор состарился, а я помолодел?.. Но если ты стал чаще обращаться к Корану, чем к трудам Евклида и ал-Хорезми, тебе непростительно не знать, что терпение создателя поистине безгранично и одним кувшином больше или меньше — что ему за дело? Разве, кладя ошипанную курицу в котел, ты считаешь, сколько зерен она склевала?

— Но мы говорим о людях...

— А к людям терпение всемогущего никогда не иссякает. Даже халифа Муавию — да будет мир над ним! — никто не видел в гневе. Или ты не читал об этом? Когда я рассказал удивительный случай с ним великому визирю Низам ал-Мульку, он поспешил записать эту историю в свою книгу «Сиясет-намэ».

— Расскажи, учитель. Может быть, она и мне послужит уроком.

— Известно, что халиф Муавия был человеком очень кротким. Во время приема, когда перед ним сидели приближенные, к нему подошел молодой человек в изношенной одежде. Приветствуя халифа, он без стеснения сел перед ним и сказал: «О повелитель правоверных! Сейчас я прихожу к тебе по одному важному делу. Если исполнишь, скажу!» Муавия сказал: «Все, что возможно, исполню». — «Узнай, что я человек чужестранный и не имею жены. Твоя мать не имеет мужа. Отдай мне ее в жены, дабы я был с женой, а она с мужем, а тебе будет вознаграждение». Муавия сказал: «Ты человек молодой, она же настолько старая женщина, что во рту ее нет ни одного зуба. Почему ты желаешь ее?» — «Потому что я слышал, что она обладает большим задом, я же люблю большой зад». Муавия сказал: «О господи! Мой отец также взял ее в жены за это качество, другой заслуги она не имела; от этой страсти он и умер. Однако я передам этот разговор матери; если она пожелает, никто не будет препятствовать ей в этом святотестве». Он так сказал, и в нем не обнаружилось раздражения.

Исфазари засмеялся.

— И чем же кончилось у них дело?

— Точно не знаю, но думаю — они договорились. Какая же старуха откажет молодому?

— Ты прав, отец! В нашем селении тоже случилось такое.

Хайям обернулся и увидел за спиной молодого воина в лохматой бараньей шапке. Конь под ним приплясывал, косясь лиловым глазом

¹ Хаджи — мусульманин, совершивший хадж — паломничество в Мекку.

на тяжелую плетъ, свисавшую с запястья всадника. Воин вытер рукавом халата слезы со щеки.

— Судя по твоему налучию и колчану, ты уже четвертый год несешь службу?

— Да, в Новый год будет четыре. Я старший в семье, вот и пошел в солдаты. Кормят до отвала, одежда и оружие казенные, жалованье платят, можно и домой кое-что послать. Скоро получу новое седло, узду с серебряными звездами, палицу — плохо ли? А земля в наших местах тощая, не то что зад той старухи, о которой ты рассказывал. Одни камни на ней растут.

— И много у вас земли?

— Совсем нет, хаджи. Отец с братом копают колодцы — это занятие у нас по наследству.

— Как же узнают, где вода?

— Где саксаул, там и вода. Копай вдоль корня!

— И глубоко!

— Иногда на пятьдесят локтей, иногда на сто. Дело простое, но очень тяжелое. Сначала пальцы опухают, потом начинаешь кашлять. А когда из горла пойдет кровь, ни один лекарь не поможет.

— Как же зовут тебя, сынок?

— Рахматулла.

— Видишь, как получается, Рахматулла: не успели мы пройти и одного фарсанга, а ты узнал новое от меня, и я у тебя кое-чему научился.

— Ха-ха! Шутник ты, отец! Будем проезжать Карабиль, там наше селение. Если остановимся неподалеку, прошу тебя быть гостем в родительском доме. — Воин поклонился и повернул коня к начальнику конвоя, взмахом руки приказавшему приблизиться Рахматулле.

— Учитель, и что у тебя за страсть — тратить время на разговоры с низкорожденными? То с кузнецом, то со стражником, то с огородником.

— А ты знаешь, Абу-л-Хотам, кем был мой отец Ибрахим? Он шил палатки. И дед Омар шил палатки, отсюда имя мое — Хайям. За высокий рост и худобу деда прозвали Омар Мешочная Игла. А прадед Юсуф красил верблюжьей шерстью в зеленый, синий и шафрановый цвета. И сколько бы я ни копал вглубь корень рода своего, мне не найти там эмиров и халифов. И вот эти руки в мозолях и ожогах щелочи — руки не имама, а подмастерья.

Абу-л-Хотам посмотрел на руки учителя, потом на его лицо: желваки отвердили широкие смуглые скулы, черная жесткая борода выбилась из-под накидки, белки разгневанных глаз покраснели; в минуты гнева мало кто мог выдержать тяжелый, безжалостный взгляд Хайяма.

— Тебе, сыну ученого и внуку ученого, не понять, что несколько поколений должны были откладывать каждый медяк, чтобы я первым в своем роду научился читать и писать. Моя мать — да будет память о ней долгой, как моя печаль! — не могла прочитать ни одного слова, начертанного рукой сына, — слезами радости она

читала их. И я никогда не осквернял память о родных высокомерием, не считал себя возвысившимся над ними только потому, что узнал то и это, а они не знали.

— Прости, учитель, если я тебя обидел.

— Да, ты меня обидел. Но дело не в обиде, слово не камень — голову не разобьет; я хочу, чтобы ты понял: мы стали высокими людьми лишь потому, что о нас всю жизнь заботятся низкие. Они вбили эти колья вдоль дороги, чтоб мы не сбились с пути; они вырастили для нас пшеницу и виноград, чтоб мы не знали недостатка в хлебе и вине; это они сшили нам одежду, сделали из тростника каламы и бумагу, сложили из кирпичей обсерваторию в Исфахане и мастерили по твоим чертежам астролябию, какой не было ни у одного астронома мира. Что мы без этих людей? Снежинка... Смотри: дохнул — и нет ее. — Хайям задумался. Из шубы доносились его вздохи. — Ты мог бы вычислить ее объем и вес?

— Конечно.

— Он ничтожный. Думаю, это чудо творения весит не больше одной сороковой ячменного зерна. А соединенные в неисчислимое множество, невесомые звездочки сбивают человека с ног, погребают целые деревни. Я своими глазами видел, как снежная лавина перебросила через реку трех всадников вместе с конями; родственники нашли их весной, когда растаял снег на берегу. Смотри, Абу-л-Хотам, некоторые колья уже совсем занесло, — похоже, у нас сегодня будет трудный день.

Отвернув высокий воротник, имам посмотрел на белесое небо, завешенное косо летящим колючим снегом.

— В предсказании погоды тебе нет равных, учитель. Слышал я от отца, что в прошлом году, когда ты гостил у него в Мерве, султан Мухаммад послал к отцу слугу с поручением: «Скажи имаму Омару, пусть он определит благоприятный момент для выезда на охоту, — так, чтобы в эти несколько дней ни дождя, ни снега». И отец вошел к тебе.

— Да, Абу-л-Музаффар передал мне волю повелителя, и я назначил день и сам держал стремя султана. Только мы проехали расстояние в один петушиный крик, как налетел ветер и поднялся снежный вихрь — сильнее, чем сейчас. И все засмеялись. Султан уже натянул поводья, чтобы повернуть коня, но я успокоил его сердце. И точно: туча скоро исчезла и еще пять дней никто не видел ни дождя, ни снега.

— А в эти дни что нас ждет?

— Снег и ветер. Но они не опасны, страшнее — головорезы Хасана Саббаха. Не зря же с нами такая охрана.

— Неужели правду о нем говорят, что, если он укажет на кого-то пальцем своей вражды, того не спасут ни стены, ни стража?

— Думаю, так. Если уж послушные ему отравили всесильного Малик-шаха и вонзили нож в спину великого визиря Низам ал-Мулька, то трудно избежать их гнева. Но ведь и в руках противников Саббаха кинжал остер, а яд — смертелен. Еще не родился тот, кого нельзя убить.

Хайям и Исфазари вели разговор по-арабски, к тому же шепотом — кто знает, в чьи уши ветер вложит неосторожные слова? Может, уже завтра их услышит Саббах в своей неприступной крепости Аламут.

Красношерстные верблюды неторопливо продолжали путь. Когда ветер крепчал, колокольчики звенели тревожно. Мелкий колючий снег все сыпал и сыпал, просеиваясь сквозь небесное сито. На взрыхленной сотнями копыт дороге он торопливо заметал глубокие следы, а по обочинам, на склонах коричнево-охристых пригорков снежинки, падая, меняли цвет, розовели, словно крошки айвовой халвы, и были заметны.

К полудню снег покрупнел и распушился. Теперь он был как клочья хлопка, летел не наискось, а прямо, будто нанизанный на нескончаемые нити. Ястреб, нахохлившийся на куполе одинокого мазара¹, лениво взмахнул острыми крыльями и, плавными кругами набирая высоту, исчез за белой пеленой. Верблюды, лошади, мулы, замедлив поступь, подняли заиндевшие морды, словно вглядываясь туда, откуда неслышно для людей пахнуло слабым запахом горьковатого кизячного дыма.

— Эй, хаджи, уже близко Хейсенабад, — крикнул проскакавший Рахматулла. — Там сотворим молитву и отдохнем.

Верблюд-вожак свернул с караванной дороги на узкую невидимую тропу, и вскоре путники увидели высокую голубиную башню, а еще дальше — еле различимые глинобитные домики селения. По мере приближения три здания выделялись среди других строений: маленькая мечеть с темнеющим на вершине минарета гнездом аиста; большое двухэтажное здание со множеством пристроек — каравансарай; справа от него дом поменьше — должно быть, местного иктадара².

С ржавым скрежетом отворились ворота, обитые железными полосами, и караван медленно втянулся в просторный двор, защищенный высокой стеной. Дав подбежавшему слуге дирхем, Хайям поручил ему заботу о муле и поспешил в отведенную для него комнату на втором этаже.

Помещение оказалось тесное, с узким, в ладонь, оконцем. Если бы не горел светильник, недолго и лоб расшибить о низкую притолоку. Штукатурка местами осыпалась, обнажив каменную кладку. К стене придвинута скрипучая суфа, застеленная потертым коричневым паласом. В углу свернутый молитвенный коврик медный кумган, таз, глиняный кувшин с подогретой водой. Пол покрыт грязным войлоком. Да, это не постоялый двор Зубейды, где есть и повар, и банщик, и лекарь...

Расстелив маленький коврик, Хайям совершил омовение и молитву и лег на суфу, достав из ниши подушки, теплое одеяло. Ноги от долгой езды затекли, и теперь в пятках щекотно покалывало. Хорошо!

¹ Мазар — могила святого.

² Иктадар — владелец икта, земельного надела.

На двенадцатый день пути от Мешхеда и на пятнадцатый с тех пор, как за спиной остался Нишапур, показались белые волны нагорья Джуд-хыз. С каждым пройденным фарсангом они вздымались все выше, грозя обрушиться на караван, завертеть, закружить его в гибельном водовороте бурана. Верблюды ревели, кони ржали, мулы кричали, люди молились.

Не окажись купцы из Балха такими почтительными к ученым, плохо им пришлось бы в чалмах и халатах. Исфазари с надеждой смотрел на учителя, словно в его власти были и снег, и ветер. Обмотав концами черной накидки лицо так, что остались одни глаза, Хайям тревожно смотрел по сторонам. Иногда, послыняв указательный палец, высоко поднимал его — северный ветер мгновенно впивался острыми зубами в палец. С трудом докричавшись до Рахматуллы, имам велел ему найти караван-баши и передать, что у него есть важный разговор.

Наконец высоко над головой Хайям увидел оскаленную морду верблюда — громадного белого мехари¹, слившегося с бураном, еще выше — красное от ветра огнебородое лицо караван-баши.

— Вот я, имам.

— Как думаешь, верблюды устали?

— Двух мы уже не смогли поднять.

— А люди?

— Э-э, что говорить! Такого даже я не видел.

— Тогда слушай! Скажи погонщикам, пусть остановятся и сгонят караван в одно место. Ночью ветер утихнет и кончится снег.

— Если бы так, господин!

— Не сомневайся, караван-баши. И поспеши, иначе животные и люди обессилеют, а ночью, когда будет сильный холод, многие замерзнут.

Белый верблюд, качнувшись опавшими горбами, растаял в снежной круговерти. Где-то впереди раздались крики, шелканье бичей, ругань. Один за другим верблюды опустились на колени, окружив кольцом людей, лошадей и мулов. За этой живой дышащей стеной ветер терял силу, но снег все выше наметал сугробы. Утрамбовав сапогами маленькую площадку, воины охраны разожгли костер и теперь отдирали сосульки с бород и усов. Абу-л-Хотам Исфазари жадно глядел на высокие языки пламени, не решаясь растолкать толпившихся, не желая попросить место у огня; но руки сами тянулись к костру.

А Хайям, укутавшись с головой в волчью шубу, лег на подстеленную попону, достал на ощупь плоскую глиняную фляжку, вынул затычку и отпил несколько глотков горького вина. Зажал пальцем горлышко, прислушиваясь к заструившемуся теплу, подмигнул сам себе и еще отпил. «Если аллах доведет меня до Балха и обратно, никогда не покину Нишапур, если только жизнь моя не будет в опасности», — пообещал Хайям. «Из-за чего я трачу свое время и здоровье? Эмир Абу Са'да Джарре призывал меня составить гороскоп,

¹ Мехари — порода верблюдов.

пообещав награду, и я поспешил, забыв, что дома — и камни из золота. Эх, Омар, когда тебе уже за шестьдесят, пора подумать о другой награде. Если твой хлеб насущный предопределен творцом, то никто не уменьшит и не увеличит его. Не надо тужить о том, чего нет... А золото? Что золото? По ту сторону бытия ты не сумеешь взять с собой даже ячменное зерно, даже каплю вина на губах. Но живой человек все-таки нуждается в золотых монетах, в серебряных и даже медных, — униительно просить в долг у булочника, мясника и торговца бумагой. Вот почему я оставил Нишапур и поспешил в Балх. А если награда и впрямь окажется такова, как обещал эмир, сразу закажу для библиотеки шкафы из кедрового дерева, переплету все книги в кожу и пергамент и велю их натереть кедровым маслом — тогда они хотя бы не станут добычей моли. Что-то еще хотел... Что-то связанное с эмиром... А, вспомнил! Он ведь живет на улице Работорговцев. И в Нишапуре есть такая. Шкафы, пожалуй, подождут, а вот невольницу куплю, чтоб была красива лицом и вкусно готовила, — хватит с меня обедов сестры, приправленных упресками!»

К полуночи ветер утих и небо очистилось от туч. Звезды, словно бесчисленные светильники, зажженные разом, сияли отчетливо и ярко.

— Учитель, смотри! — Исфазари осторожно потрогал плечо Хайяма. — Я вижу звезды!

— А? — Хайям откинул шубу, поежился от холода.

— Учитель, звезды подтвердили твои слова

— Да? Что ж, пусть отыщут караван-баши — пора поднимать людей.

Разбуженный лагерь зашевелился; вспыхнули факелы, зазвенели бубенцы, слышалось хриплое дыхание погонщиков, снова торопящихся к седлам ящики, мешки, тюки.

Рахматулла подвел к Хайяму оседланного мула, но тут подоспел караван-салар, ведя в поводу итренного жеребца с парчовым чепраком и богатым седлом; в слабом лунном свете тускло поблескивала высокая лука кованого серебра, а сам рыжий жеребец казался золотистым, как золотой песок. Хайям принял повод, протянул руку к белой стриженной гриве, но конь рванулся, обив в снег Исфазари; имам в одно мгновение намотал повод на кулак и с такой силой сжал удилами рот жеребца, что тот присел от боли.

— Господин, от всех торговых людей тебе поклон и благодарность. Не потрудись взять у меня повод — это тебе подарок.

— Рахматулла, возьми повод! Будем проезжать вашу деревню, передашь коня отцу, скажешь — от низкороджденного ему подарок.

Хайям тронул каблуками мула, а воин стоял, ошеломленно глядя ему вслед. Но вот раздалась команда: «Гулямы, строим попарно, марш!» И Рахматулла, сразу очнувшись от грозного крика висак-баши¹, лихо взлетел в седло и занял место в строю конвоя.

¹ Висак-баши — командир над тремя гулямам-стражниками.

Идти пришлось долго. К утру, увязая в глубоком снегу, спустились через перевал Ак-Таш в предгорье, а дальше — в зыбучие пески пустыни Карабиль. На дне колодцев чернел лед, приходилось туда опускать людей, обвязав веревкой, — снег растапливали только для чая. На стоянках жгли саксаул, раскалывающийся под ударом железных палиц, как мрамор, — дерево горело бездымным жарким огнем. Зато в караван-сараях наедались шурпой, пловом, вареным мясом, овечьим сыром. И снова шли дальше — через Анджой, через Мазари-Шариф, через Кубадиян — и наконец, на тридцать девятый день пути, по льду, змеящемуся поземкой, перешли реку Балх-Аб. Куропатка, с фырчаньем вылетевшая из-под копыт белого верблюда-вожака, села на обочине, ослепленная ярким зимним солнцем. Воздух за ночь промерз, холод выстудил из него запах разрезанного арбуза. Ветер сдувал алмазную пыль с руин некогда могучей Бактрии — родины Заратуштры и Кира, с неприступных башен крепости Балх. Стены, бесчисленные крыши домов, бойницы, купола мечетей искрились белым пламенем снегов. Неожиданно северный бешеный ветер одним взмахом смел драгоценные покровы — как разгневанный мастер-усто, недовольный собственным рукоделем.

Когда стража, собрав пошлину, а с купцов еще и «долю султана» — налог на товар, подняла воротом громадную бронзовую решетку, пропуская в город караван из Нишапура, снова пошел снег — колючий, режущий лицо, не тающий на ладони, пока не поднесешь ее к губам. Снег ложился надолго.

Почти тридцать лет не был здесь Хайям и сейчас не узнавал пригород, расстроившийся во все стороны от шахристана¹. Новые улицы, базары, мечети, бани, караван-сарай, громадные склады задолго до въезда в крепость оглушали городским шумом. Хорасанцы, мавераннахрцы, хорезмийцы, арабы, индусы, румийцы, армены, франги, туркмены, нубийцы — какая только речь не звучала в те времена в благословенном Балхе, по праву названном еще и Об-эль-Булдан — Мать Городов. Сюда, как стрелы, пушенные в цель, стремились торговые пути из Багдада и Каира, Исфахана и Бухары, Венеции и Ани, Пекина и Могалишо.

Отсюда, как лучи солнца, они расходились по всей обитаемой земле. И над всем, что ввозили в Балх и вывозили из него, имел силу и власть эмир Абу Са'да Джарре. Его чиновники назначали купцам места в торговых рядах, ведали складами, зернохранилищами и бойнями, взвешивали бронзовые, стеклянные и каменные гири, решали, сколько серебра и меди должен отсчитать меняла за магрибский, багдадский или нишапурский золотой динар.

Не перечислить того, чем торговали в Балхе. Только в один день — а это был вторник, — когда наш караван закончил долгий и опасный путь, в город вошли десятки караванов, груженные великим множеством товаров, и каждый товар писцы эмира старательно

¹ Шахристан — центральная часть городов средневекового Востока, где находилась резиденция правителя.

вписали в пошлинные книги: леденцы, вареный имбирь, гвоздика, цветы мускатного ореха, розовое масло, мускатный орех, корица, шелк, алоэ, слоновая кость, самаркандская бумага, сандаловое дерево, китайская камфора, моржовый клык, воск, сера, олово, сахар, квасцы, дамасская сталь, тековое дерево, кедровое дерево, свинец, медь, чай, мирра, сурьма, хлопок, кардамон, кубебовый перец, чернильный орешек, ладан, лак, шафран, мумиё, изюм, пшеница, рис, конопля, сало, рыбий клей, уголь, мыло, льняное семя, кунжутное масло, горчичное семя, бадахшанский лазурит, фундук, тростниковые древки пик...

А еще в этот день караван доставил из Хамадана на продажу в Балх семнадцать детей-рабов, старшему из которых минуло десять лет, а младшему исполнилось два года — и это был Аффан, подобранный в придорожной пыли. Первым человеком, которого он увидел в этом мире, стала женщина, его мать; вторым — учитель Хайяма; третьим — стражник, перерезавший горло старому учителю. Но Аффан никогда не сможет вспомнить их, он будет обречен на незнание своего начала, на пытку воспоминания.

Когда эмиру доложили, что Гийас ад-Дин ибн Ибрахим абу-л-Фатх Омар Хайям Нишапури и хаджи имам Абу-л-Хотам Музаффар ал-Исфазари уже в Балхе, он играл в нарды¹ с имамом чтецов Корана Абу-л-Хасаном Газали и, не прерывая игры, спорил с ним о толковании аята²: «Разве они не посмотрят на верблюда, как он создан; и на небо, как оно возвышено?» Услышав весть, эмир приказал немедленно провести ученых во дворец, помыть в бане и, если они не пожелают отдохнуть в доме гостей, пригласить их на трапезу.

Распаренные и надушенные, переменяв одежды, Хайям и Исфазари вошли в покои Джарре. Увидев Гийас ад-Дина, Абу Са'да встал ему навстречу и обнял, кивнул Исфазари, усадил их. Газали, воспользовавшись этим, привел новое доказательство в защиту своего толкования аята, но эмир бесцеремонно перебил его:

— Остановись, замолчим! И спросим знающего. Гийас ад-Дин, еще в Балхе ты слыл хафизом³ и знатоком семи чтений Корана. А у нас вражда во мнениях.

— Я и сейчас знаю на память весь Коран и семь его чтений. Но если мое мнение подтвердит твое, я огорчу почтенного Газали; если соглашусь с ним, ты останешься недоволен. Лучше промолчать.

— Да умножит аллах подобных тебе среди ученых! — сказал довольный Газали. — Правда, раньше я считал, что там, где речь заходит о знаниях, ты не считаешься ни с кем.

— О знаниях, которые можно проверить, — поправил Хайям. — Если Аристотель сказал: «Длина и время, как и вообще все непрерывное, называется бесконечным в двояком смысле — или в отношении деления, или в отношении границ», то, хоть обрушусь

¹ Нарды — игра, распространенная на Востоке.

² Коран состоит из 114 сур (глав), а каждая сура — из аятов (стихов).

³ Хафиз — человек, знающий на память Коран.

небосвод, наоборот не будет. Если Евклид доказал: «Из любого центра можно описать окружность любого радиуса», то даже все верблюды царства ни на волос не сдвинут этот постулат с опоры истины!

— Выходит, неверные собаки нам учителя, а не пророк и его внуки? — Эмир Абу Са'да пихнул пяткой раба, расставлявшего на скатерти блюда с зеленью, и тот опрокинулся на ковер, устилавший пол. — Пять раз в день совершает мусульманин омовение, и каждый раз с кончиков пальцев стекает грязная вода. Что же сказать о душе, погрязшей в грехе и не обращенной к аллаху? Что пользы от грязных? Аллах сказал: «Я — с вами, укрепите тех, которые уверовали! Я брошу в сердца тех, которые не веровали, страх; бейте же их по шее, бейте их по всем пальцам!»

Исфазари незаметно сжал пальцы Хайяма, предостерегая от лишних слов, но имам вырвал руку.

— Почтенный эмир, разве пчела, накапливая в улье мед, не собирает пыльцу и с розы, и с гречихи, и с кизила, и с цикория? Что для пчелы пыльца — для нас, ученых, труды предшественников. Если что-то в них соответствует истине, порадуемся этому и перейдем это у них; если же что-то окажется ложным, укажем на это и простим их.

Изучение древних книг не только угодно аллаху, но обязательно для мужей науки. А тот, кто запрещает их изучение людям, сочетающим в себе природный ум и богобоязненность, тот закрывает перед людьми знания врата исследования, через которые пророк призывал нас шествовать к познанию аллаха. Это высшая степень невежества и отдаленности от всевышнего.

Да, эмир, в книгах неверных есть и ложь, и грязь, и заблуждения, но только из-за этого поступать с ними, как поступил халиф Омар, предав огню сокровищницу разума в Александрии, — преступление. Мало ли кто захлебнулся в воде, а мы пьем ее и без нее не можем. Прекрасно средство, которое одному вредит, но тысячи исцеляет. Потому-то, когда пророк — наилучшие молитвы и привет над ним! — повелел некоему человеку напоить медом своего брата, страдающего поносом, а тот, послушавшись, вызвал медом понос еще сильнее и обратился к пророку с жалобой, тот сказал: «Аллах правдив; лжет живот брата твоего».

Хайям закашлялся — пересохло в горле. Поискал глазами чай или шербет, но не было — напуганные слуги, зажмурив глаза, толпились у дверей. Они бы и уши закрыли поплотней ладонями, но держали подносы, блюда, кувшины, не решаясь войти, и не знали — время ли ставить кушанье на скатерть. Эмир задумчиво гладил крашеную хной короткую жесткую бороду. Исфазари, морщась, посасывал кончик черного уса, словно ус его был виноградным листом, вымоченным в уксусе. Только имам чтецов с грустной улыбкой смотрел на Хайяма.

— Да, Гийас ад-Дин, нет тебе равных в астрономии и философии — в этих науках тебя приводят в пословицу. И в законоведении ты наставник судей. И рубай твои, будь они семижды прокляты, запоминаешь сразу — они, как репы, цепляются за одежду. И в тол-

ковании Корана твои познания совершенны. Ах, если бы ко всем твоим добродетелям создатель даровал тебе главную — способность избегать неповиновения богу!

Хайям улыбнулся.

— Не печалься обо мне, почтенный Газали! На свете теперь два рода людей: у одних есть разум и нет веры, у других есть вера, но нет разума. Довольно обладать чем-то одним, а я ученый...

Кто знает, как долго затянулось бы неловкое молчание между гостями и хозяином, если бы не наступило время второго намаза. Молитва приближает человека к богу и к подобным себе. Из дворцовой мечети они вернулись просветленные, предупредительные друг к другу. Слуги уже накрыли дастархан, красиво и щедро уставив его зеленью, мясом, жареным на сковороде и вертеле, запеченными в тесто птицами, жирной рыбой масгуф, выловленной в Евфрате, и прочим, что бедняк не видит и во сне, ученые берут лишь с чужих скатертей, а эмирам даровано от рождения.

— Эмир, нет ли в твоём доме юноши по имени Низами Арузи Самарканди? — спросил Хайям.

— Да, он у меня уже с год секретарем.

— Это мой ученик, один из лучших после Исфазари и Хазини.

— Что ж, он почтительный юноша и сведущ в науке. Когда я спрашиваю его о чём-нибудь, он отвечает: «Отлично, повелитель! Прекрасно, повелитель!» Служба у меня его возвысит. — Эмир хлопнул в ладоши и приказал привести Арузи.

— Твоя рука, Абу Са'да, облагодетельствовала многих, и за это тебе воздастся.

Эмир задержал перед губами шепот плова, подозрительно глядя на Хайяма.

Вошел стройный, слегка прихрамывающий юноша в бархатной круглой шапочке и голубом халате с коричневыми полосами, подпоясанном шелковым платком. Поклонился, краснея от смущения.

— Твой учитель пожелал тебя увидеть. Сядь слева от него.

Хайям обнял Самарканди, поцеловал.

— Учитель, в понедельник я видел тебя во сне. Ты сидел в саду нашего медресе и чертил на земле фигуры золотой зубочисткой, которой любишь закладывать прочитанное в книге.

— Ты и зубочистку помнишь, маленький самаркандец?

— Я даже могу сказать, в какой одежде ты приходил на занятия.

— А ты, Абу-л-Хотам?

— Лучше всего я запомнил тяжелую линейку. Как вспомню, спина начинает чесаться.

— Ты был лентяем и непоседой. Удивляюсь, как ты стал ученым! — Хайям подмигнул ему.

— Гийас ад-Дин, люди говорят, ты учился в медресе вместе с Низам ал-Мульком и Саббахом? — отложив чисто обглоданное крыло перепелки, спросил Газали. — Будто вы даже дали клятву: тот из трех, кто добьется успеха, поможет двум. А когда Низам получил должность из рук Алп Арслана, вы с Саббахом пришли напомнить о

клятве. Саббах попросил место писца при дворе — и было исполнено.

— Интересно, а что попросил я? Ты не слышал об этом?

— Ты попросил себе налог, поступающий в казну с жителей твоей деревни. Говорят, ты сказал: «Если исполнишь мою просьбу, я смогу под родной кровлей заниматься поэзией, которая восхищает мою душу, и предаваться созерцанию творца, к чему склонен мой ум».

— И что же?

— Низам исполнил твою просьбу.

— Жаль, что я этого не знал... А Саббах действительно служил писцом в канцелярии.

— И что ты можешь сказать об этом сыне свиньи, испражняющемся чаще дрофы? — При одном упоминании имени Саббаха эмир тяжело задышал от гнева.

— То, что говорят люди.

— Эх, попадись он моим воинам, я сам содрал бы с него шкуру!

— Сила твоя известна, — подтвердил Хайям, — но Аламут далеко от Балха.

— Багдад еще дальше, но мой дед Абу Муслим ибн Хаукиль Джарре сокрушил его своим гневом. Недавно султан Мухаммад призвал меня в Мерв, а также эмиров Туса, Нишапура, Нисы и Герата — мы собираем большое войско против Саббаха, но это тайна с золотой печатью! Будет ли благоприятствовать нашему победоносному походу расположение светил?

— Ответ скажут сами светила, — я всего лишь переводчик слов неба на язык людей.

Внесли сладости и напитки. Эмир все чаще опускал голову в громадном белом тюрбане, увенчанном пером павлина, смешно пошвыстывая распухшим от простуды носом.

— Учитель, позволь мне что-то принести для тебя? — тихо спросил Арузи.

Хайям кивнул.

Самарканди вернулся с пузатым фарфоровым кувшинчиком, в каких обычно варят чай, налил пиалу и подал учителю.

— Плохо человеку, когда зажимают ему рот, не давая вымолвить ни слова, но действительно невыносимо, когда закрывают рот, мешая выпить — Хайям с нежностью посмотрел на ученика. — Одина ты понял меня, маленький самаркандец... Ты уже стал выше меня, а когда-то не мог дотянуться рукой до моего плеча.

— Учитель, я стоял в дверях, когда ты спорил с имамом чтецов, и все запомнил. Я давно уже записываю слова, сказанные тобой и о тебе, — пусть будет память моим детям.

— У них будут свои учителя — лучше меня.

— Нет, равного тебе не было после ал-Фараби и Абу Али Ибн Сины. Я давно хочу спросить... если позволишь... Но боюсь обидеть тебя дерзостью.

— Спрашивай.

— Есть ли в науках недоступное тебе?

— А ты как думаешь?

— Думаю, нет вопроса, на который бы ты не ответил.

— Каждый может ответить на вопрос, но не всегда верно и не всегда сразу. Абдаллах Омар ал-Хаттаб однажды спросил у своего отца, уходящего из этого мира: «Когда я увижу тебя, отец?» — «На том свете». Но сын сказал: «Хочу скорее». Омар ал-Хаттаб ответил: «В первую, во вторую или в третью ночь увидишь меня во сне». Прошло время, и сын все ждал. Наконец, через двенадцать лет, увидел его во сне: «О отец! Не говорил ли ты, что я увижу тебя через три ночи?» — «Я был занят. В окрестностях Багдада разрушился мост; мои смотрители не обратили внимания на это, а у одного барана нога провалилась в дыру и сломалась — до сего времени я держал за это ответ».

А можно отвечать и дольше. Можно всю жизнь держать ответ... А теперь я тебя спрошу, самаркандец. Что это: «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то эти прямые, продолженные неограниченно, встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых»?

— Пятый постулат Евклида.

— Да, пятый постулат Евклида. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— А я уже тридцать шесть лет ишу его доказательство. И множество достойных людей напрасно занимались тем же полтора тысячелетия до меня. Вот какие вопросы случаются, юноша. Правда, есть и потруднее, но число их невелико. Если будешь писать обо мне, напиши где-нибудь: «Хайям любил спрашивать, словно ребенок».

— Гийас ад-Дин, о чем у вас беседа? — спросил Газали, закончив играть в нарды.

— Об ответах.

— Люди спрашивают у бога, дети — у отца. Жаль, что у тебя нет детей, Гийас ад-Дин.

— Да, мне их уже не зачать — смерть и ослу помешала залезть на ослицу. Этот случай из непоправимых. Скоро и я усну, как эмир Абу Са'да, только спать буду без храпа.

Гийас ад-Дин поднял пиалу с вином и, видя в ней неведомое другим, сказал:

— Могила моя будет расположена в таком месте, где два раза в год северный ветер будет осыпать меня цветами...

— А? Какие цветы? — хриплым спросонья голосом проворчал эмир.

— Груши и абрикосы, — ответил Хайям.

3. БАЛАГАНЩИК

Четыре муздына стояли на вершине минарета, прижавшись к узорчатой медной решетке. Огромным цветистым ковром под ними расстился город. Он был подобен сну — все краски, запахи и формы смешала умелая рука создателя внутри стобашенной стены. Муздыны смотрели на восходящее солнце, но свет умирал в их белых рыбьих глазах, как факел, брошенный в колодезь.

Отдышавшись от долгого восхождения по каменным виткам лестницы, трое и тот, кто подал сигнал хлопком ладоней, закрычали:

— Аллах акбар! Свидетельствую, что нет бога, кроме аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад — посланец аллаха! Идите на молитву! Идите к спасению! Аллах акбар! Ля иллях илля ллах!

Пронзительные звуки еще не успели раствориться в городском шуме, а четверо набрали воздух в сморщенные мехи легких и повторили призыв к молитве.

— О проклятые! Пусть милосердный аллах переломает вам ноги, каждую в трех местах! — проворчал Хайям и, подтянув сползшие шальвары, повернулся на правый бок.

Что же он видел во сне? Что? Разве теперь вспомнишь? Проснувшись, он любил неподвижно лежать на жесткой суфе, словно селезень, покачиваясь на волне между бытием и небытием, между сном и пробуждением. Эти краткие мгновения вмещали в себя так много, что он поражался их неисчерпаемости. Сколько раз ему снились проклятые параллельные линии! Вскочив, как будто дом пылал, охваченный пожаром, он, проклиная темноту, возжигал нетерпеливыми руками светильник, и, пока разгорался фитиль, мысли бесследно исчезали. И так же в прах рассыпались рубайи, казавшиеся во сне цветистыми и прочными, словно ковровый узор. Увы, ни сон, ни вино не открывали запоров на вратах познания.

Кряхтя, имам сел на широкой суфе, поискал глазами халат. Все в комнате было разбросано: одна туфля валялась в углу, вторая красовалась на низком столике, прижав грязной подметкой листы, исписанные уравнениями; серебряный кувшин, привезенный еще из Самарканда, опрокинут; халат скомкан, из-под него змеится развязанная чалма.

Хайям слез с суфы; подперев кулаком ноющую поясницу, поднял халат, но лень было продеть руки в рукава, и он накинул его на плечи. Теплый ветер шевелил всклоченную черную с проседью бороду, гладил щеки. Смахнув со стола туфлю, старик взял верхний листок и, поднеся к близоруким глазам, покачал головой — цифры покачивались, пальцы дрожали.

— О аллах, если бы ты знал, как у меня болит голова, ты бы оставил мне хоть один глоток на дне кувшина.

Набралось на три маленьких глотка. Вино было мутное, горчило, но он выцедил его; постоял, прислушиваясь к ударам повеселевшего сердца. Ну вот, теперь можно сходить в медресе, узнать расписание занятий на следующую неделю.

Хайям встал на четвереньки и полез под суфу, где хранил тяжелый кожаный мешочек. Откладывая в сторону золотые динары и медные фельсы, он на ощупь нашел четыре серебряных дирхема, снова присыпал мешочек землей и задом вылез на свет. Босиком прошел в сад, ополоснул в арыке лицо, руки, ноги и вытерся полкой халата. Ветви шелковицы, густо усыпанные зеленой листвой и белыми ягодами, отражались в бегущей зеленой воде; хотелось сесть, приспокившись озябшей спиной к теплому сильному стволу, и

смотреть в проточную воду. «Но переодеться-то все равно надо», — подумал Хайям.

Вернувшись в комнату, он сменил шальвары, надел просторную зеленую джуббу¹, обшитую у подола, ворота и края рукавов крученым золотым шнуром, сунул ноги в сафьяновые туфли без задников. Долго закручивал чалму, потом с гневом отбросил ее в угол и достал из сундука новую, уже закрученную.

В ворота постучали. Торопливо бросив под суфу грязную скатерть, туда же ногой закинув скомканный халат и чалму, хозяин поспешил встретить раннего гостя.

За воротами стоял Абдаллах ал-Сугани по прозвищу Джинн.

— Мир тебе, развязывающий узлы тайн!

— И тебе мир, господин точный исследователь! — ответил Хайям, обняв старого друга.

Пока он растапливал чистую скатерть и доставал из стеной ниши крошечные мягкие подушки, Джинн достал из сумки кувшин с гранатовым вином, очищенные фисташковые орехи и нарды. Прежде чем приступить к игре, друзья наполнили чаши и пожелали друг другу здоровья. Оба слыли азартными игроками, но, в отличие от Хайяма, Джинн не скрывал радость и гнев: если выпадало «шесть-шесть» или «пять-пять», он хлопал в ладони и так хохотал, что никак не мог бросить кости. Но первую партию он проиграл.

Когда кувшин опустел наполовину, Хайям рассказал Абдаллаху о случае, свидетелем которого был в Медине: в караван-сараях двое сели играть в нарды — купец из Халеба и местный брадобрей, и мединец семь раз подряд выбросил «шесть-шесть». Джинн не поверил: «Вероятность такого удивительного совпадения столь ничтожна, что ее можно опровергнуть алгебраическим исчислением». Они заспорили о способах исчисления сочетаний и, проспориав до хрипоты, решили избрать судьей трактат ал-Хорезми «Ал-джебра». Этой книги у них не было, поэтому, доиграв партию, а заодно допив вино, мудрые вышли из дома, бережно поддерживая друг друга.

Не успели они пройти квартал лекарей и травознатцев, как повстречали переплетчика дворцовой библиотеки Умара ибн Аббада. Умар спешил к купцу, заказавшему дорогой переплет для книги ар-Рази «Элегантность в шахматах», но по пути решил купить необходимое лекарство. Когда он узнал причину спора, то изъявил желание присутствовать при его разрешении — до сих пор никто из нишапурцев не был свидетелем неправоты Хайяма. Купец же подождет, а лекарство он сейчас купит.

Худой, черный, как головешка, лекарь в лиловой шапочке угостил всех троих айвовым шербетом и высказал интересные суждения о таинственной медицине индусов. К тому же — воистину газель бежит на стрелка! — среди медицинских трактатов, хранившихся у врача, нашелся и прекрасный список «Ал-джебры». Нашли нужное место об исчислении сочетаний, и прав оказался Джинн, но, так как Хайям своими глазами видел удивительное, решили: мединец играл

¹ Джубба — верхняя одежда.

пустотелыми костями, утяжеленными свинцом. Так были оправданы и математика, и очевидец. А поскольку этот день принес радость всем четверым, продолжили его в майхане¹.

Землистый запах анаши и горячего пота, дрожащие звуки рубаба и звериное рычание пьяных дервишей: «Йа-ху! Йа-хак!», золотая пыльца полудня и разноцветие вина — вот что от пола до потолка наполняло майхану, и трезвый был здесь так же неуместен, как мертвец среди живых.

Пьяницы потеснились, а тех, кто не мог двигаться, за руки и за ноги отволокли в угол, освободив место для новых гостей. Громче зазвенели струны рубаба, пронзительно запела флейта, дробь барабана рванулась из-под быстрых пальцев. Два ученых и лекарь, сбросив туфли, обняли друг друга и, покачивая плечами, начали старинный танец. С каждым движением годы вылетали из их сердец степными горlinkами, крепили голоса, останавливая прохожих на соседних улицах. И когда трое превратились в волчок, пущенный сильной рукой, оборвались звуки флейты, рубаба и барабана.

Хозяин майханы своей рукой налил лучшего вина в китайские фарфоровые чаши, и мальчики в атласных халатах поднесли их веселым старикам. Когда они выпили и отщипнули по черной виноградине, к суфе подошел юноша.

— Высокочтимые, позвольте ничтожному слуге усладить касыдой ваши благословенные уши. — И, не дожидаясь ответа, прочитал ее от первой строки до последней.

— Эй, хозяин, принеси чашу с вином для поэта, — крикнул лекарь.

— Лекарь, неужели ты так пьян, что одно называешь двумя? — изумился Хайям. — Где ты видишь *второго* поэта? Глоток воды — и то слишком дорогая плата за этот ослиный рев, ибо осел кричит своим голосом, этот же крадет чужие голоса.

— Но он еще молод...

— Шенков от беспорядной суки и надо топить, пока слепые. Что ты прописываешь больному, если он упал и сломал ногу?

— Ясно что — мумиё, лучшего лекарства нет.

— Как мумиё врачует сломанную кость, так и стихи должны возвращать душу к жизни.

Джинн ерзал на суфе, ему было жаль юношу, хотя он и принимал сказанное Хайямом.

— Не обижайся, я тоже выслушал твою касыду, — Джинн улыбнулся покрасневшему юноше. — Некоторые строки ее подобны строкам несравненного Насир-и-Хусроу, яркость сравнений — творениям великого Рудаки, а скорбь любовного томления увлажняет ресницы воспоминанием о Абу-Теммаме...

Теперь поэт зарделся от радости.

— Вот-вот, об этом я и толкую, — прервал Абдаллаха Хайям. — Рифма твоей касыды напоминает одно, ее ритм — другое, а сравнения — третье. А сам ты напоминаешь кошку, которая сожрала трех

¹ Майхана — питейный дом.

соловьев и удивилась, почему она мяукает, а не поет. Ступай, несчастный, и знай: у плешивого не вырастут волосы, даже если каждый день мазать голову медом.

Хайям посмотрел вслед юноше и слез с суфы. Лекарь спал; лиловая шапочка сползла на нос. Абдаллах ал-Сутани, обмакнув тонкий палец в чашу с вином, чертил на ковре геометрические фигуры. Переплетчик Умар бранился с кривым флейтистом:

— А я говорю тебе, лучшее вино из рейхана, — оно укрепляет сердце, желудок и устраняет газы.

— Но от него болят глаза, а утром ломит затылок.

— Что за сказки ты придумываешь, проклятый! Научись сначала отличать вино от кунжутного масла!

Хайям хотел вмешаться в спор, но махнул рукой и вышел из майханы; не успел пройти и тридцати шагов, как его догнал запыхавшийся переплетчик.

— Опора познания, — сказал он, отдышавшись, — разреши, я провожу тебя.

Солнце не щадило ни молодых, ни старых. Изумрудным и синим огнем полыхали купола мечетей, от глиняных стен струился жар, как из печей, в которых пекут лепешки. Ослепительной наготой сияли алебастровые колонны эмирского дворца. Дымы очагов лениво поднимались над улочкой.

Старики обогнули огромное здание коврового склада и вышли на площадь, где по праздникам ремесленники стравливали баранов. И сейчас здесь толпился народ, окружив площадь полумесяцем.

Хайям подозвал чумазого босоногого малыша с черной косичкой на бритой голове чтобы тот острыми локтями растолкал зевак и положил дорогу, но вспомнил, что не взял с собой ни одной медной монетки, а дирхем отдавать было жалко.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Мухаммад, — гнусаво ответил малыш, не вынимая палец из носа.

— Счастливое имя тебе дали родители. Ступай с миром, Мухаммад.

Они и так протиснулись вперед — люди почтительно сторонились, освобождая путь имаму.

Перед толпой стоял худой сутулый человек в залатанных штанах, старой рубашке, подпоясанной синим платком, и пыльных каушах. Длинный конец зеленой чалмы был пропущен под рыжей бородой и закинут на плечо. Синеглазый мальчик, находившийся при нем, достал из легкого кожаного сундука бамбуковые трубки, вытряс из них еще одни, ловко соединил и накрыл паласом. Мужчина погладил мальчика по стриженной голове, раздвинул цветастую шелковую ширму и скрылся за ней.

Хотелось пить, но Хайям решил посмотреть хотя бы начало представления. И еще он старался вспомнить, где видел худого печального кукольника. В Багдаде? Самарканде? Алеппо? Там он встречал балаганщиков. И даже на родине пророка — в Медине, но тот был прибит за уши к громадным городским воротам.



— Ку-ка-ре-ку! — прокричал за ширмой петух, и представление началось.

Старый коврик казался волшебным. Он превращался то в лавку скупого менялы, то в баню, то в сад, куда ночью забрался осел, полюбивший дикую козу.

— Хоп, хоп! Хоп, длинноухий, хоп! — По коврику, смешно хромя, затрусил тряпичный ослик, нагруженный двумя корзинами с кирпичами. Рядом шла коза, срывая листочки с дерева. Осел нежно гладил ее длинными ушами.

— О коза, если в такую прекрасную ночь, когда сад полон благоухания, я не запою сладостную мелодию, не может быть улады в моей жизни! Если я сейчас не начну распевать освежающие душу напевы, какой мне толк от моего веселья и какая мне польза от моего существования?

Коза тонким голосом мальчика сказала:

— О осел, что за речи ты произносишь? Ты лучше говори о вьюке и погонщике. Нет голоса хуже твоего, нет звука противнее, чем твое пение. Какое дело ослу до музыки? А затем, мы ведь как воры забрались в чужой сад, совершаем кражу. Коли ты начнешь сейчас орать, садовник проснется, закроет ворота в сад, кликнет помощников и расправится с нами по-свойски...

Толпа молчала. Редкие улыбки освещали угрюмые лица. Кто знает, какую цену придется заплатить за смех? Он не ткань, не бирюза, не дыня — случается, что получаешь его бесплатно, а расплачиваешься головой. Те, кто привык смеяться, убедившись, что двери дома заперты на все запоры, потихоньку выбирались из толпы. Переплетчик осторожно тронул Хайяма за локоть.

— Прости меня, Гийас ад-Дин, но я совсем забыл о книге, которую обещал принести купцу.

— Поторопись, Умар, — насмешливо сказал Хайям, — грех томить ожиданием богача, а то он проснется, как хозяин сада...

Не дослушав, переплетчик ящерицей юркнул в толпу.

— О коза, — продолжал осел, — я — горожанин, а ты — деревенская баба, я — животное домашнее, а ты — дикий зверь. Разве может неуч оценить музыку? Разве житель пустыни понимает толк в пении? Поющий отдает свою душу, а слушающий наполняет свою душу.

— Какое сердце не стремится послушать пение, — молвила коза, — какая душа не жаждет музыки! Но только кто может внимать твоему реву? Боюсь, твое пение окажется пагубным.

Но осел не послушал совета и заревел изо всех сил. Коза одним прыжком перемахнула глиняную изгородь сада, и вовремя: прибежал садовник, схватил осла, привязал к дереву и спустил шкуру. Толстый садовник в огромной чалме, с длинными рыжими усами и рыжей бородой, настриженной из верблюжьей шерсти, кряхтя, сдирал с осла шкуру. Сорвал и шлепнулся задом о землю, а от бедного осла осталась только... рука кукольника — длинные смуглые пальцы, схватившие садовника за бороду.

Хайям не выдержал и засмеялся. Молодой кузнец, стоявший

рядом с ним, посмотрел на старика и тоже засмеялся. Сперва тихо, потом захохотал, прихлопывая огромными ладонями по грязному прожженному фартуку. Хохотала вся площадь.

И снова опустел коврик. Но вдруг послышался дробный цокот копыт. На площадь вылетел белый конь с чернобородым всадником в тяжелом парчовом халате — это был хранитель эмирских туфель. Чуть позади скакали два стражника на тонконогих крутогрудых скакунах: один конь был масти кумайт — с рыжей гривой и черным хвостом, второй — хурма-гун — цвета хурмы. Всадник на рыжем коне зло натянул поводья, вскинувшись на стремянах, — каплей воды сверкнул клинок. Ширма упала, открыв кукольника и мальчика, спрятавшегося за его спиной. Второй стражник взмахнул тяжелой плетью, висевшей на запястье, и балаганщик, закричав, схватился за лицо. Заплакал мальчик. Хранитель эмирских туфель не обернулся.

Медленно, не глядя на обгонявших его людей, шел Хайям, шаркая стоптанными туфлями. Женщины в покрывалах жались к стенам. Мальчишки швыряли камнями в хромую лохматую собаку. Гончар Мурод-Али поклонился имаму, но тот не ответил. На узком коврике в тени лежал больной лихорадкой и стонал. А Хайяму казалось: стонет мир, закрыв руками окровавленное лицо. И плачет, как мальчик, которого он тоже где-то видел.

Так, задумавшись и скорбя, он подошел к медресе Эль-Хуссейния, в котором преподавал математику, поднялся по ступенькам и сел, устало привалившись к деревянной резной колонне. Сегодня занятий не было, и во дворе стояла тишина. Дышать стало легче.

В арке ворот показался носильщик с широким ремнем, перекинутым через плечо.

— Носильщик! — позвал его Хайям. — Вот тебе два дирхема, купи рейханового вина и принеси в мой дом. Слышал я сегодня, что оно укрепляет сердце и устраняет газы.

Вернувшись домой, Хайям зажег светильник, но не успел совершить омовение, как в ворота постучал носильщик. Имам подивился его усердию и пригласил войти. На скатерти лежала черствая лепешка и виноград. А теперь еще и две чашки с вином, на одну треть разбавленным розовой водой.

— Благодарю тебя, шейх познающих.

— Разве ты меня знаешь? — удивился Хайям.

— Господин, тебя не знают только те, кто ничего не знает.

— Хороший ответ стоит большого глотка, — ответил повеселевший Хайям.

Носильщик выпил и, поклонившись, ушел.

А старик еще долго сидел, сжимая чашу. Потом взял свободной рукой светильник и, откинув ногой ковровую занавеску, вошел в комнату, где хранились книги. Здесь стояла такая же суфа, только поуже, и низкий столик для игры в шахматы, выложенный отполированными квадратиками чинары и самшита; глиняные фигурки дремали в выдвижных ящичках, а на крышке стола стояла бронзовая чернильница и резная подставка для каламов.

Хайям поставил светильник и чашу, достал из ниши «Книгу

исцеления» Ибн Сины. Любимая книга! Она сопровождала его в скитаниях. Хайям бережно погладил переплет из сандаловых дощечек и наугад открыл страницу. «Материальность бывает раньше, чем бытие самой вещи, и она нуждается в материи, из которой состоит. Следовательно, все, что стало существовать после того, как не существовало во времени, имеет материю, в которой и заложена сущность ее возникновения».

В который раз он поразился мудрости учителя, но сегодня ему не хотелось думать о тайнах бытия. К чему исследовать тайны бытия, когда очевидное ужасно и несправедливо? Неужели наша жизнь действительно подобна игре в нарды и кто-то бросает кости нашей судьбы? Он вспомнил Абдаллаха ал-Сугани, прозванного Джинном. Сколько ночей они провели вместе в Исфаханской обсерватории, составляя новый календарь для Джалал-ад-Дина Малик-шаха! Сколько спорили! Особенно о «весах Архимеда». Сорок лет Абдаллах думал над их созданием, но даже Хайяму не объяснил их тайное устройство, только однажды признался, что бесценные веса могут изобличить любое злоупотребление.

Когда казначей султана Санджара, женоподобный скопец Саада, узнал об удивительном изобретении Джинна, он испугался, что будет изобличен, и пригласил Абдаллаха во дворец. И пока они вместе вкушали плов, запивая его квашеным топленым молоком, слуги казначея рубили саблями «весы Архимеда», — среди них был и тот, кто сегодня чуть приметно кивнул свирепым стражникам на балаганщика, а сам даже не обернулся, услышав крик боли; тогда он еще не был хранителем эмирских туфель. То, что удалось разрубить, и то, что не поддалось клинкам, вместе с рукописями, числами и чертежами сложили в три больших мешка и утопили в реке. Так за время, достаточное, чтобы моргнуть, нас покидает бессмертие и в двери разума стучится безумие.

— Бедный Абдаллах! — вздохнул Хайям. — Он так и не смог вынести этот удар и теперь говорит о несправедливости шепотом. Но разве сам я, вернувшись из Мекки, не придержал поводья языка и не спрятал сокровенную тетрадь подальше от чужих глаз? Может быть, мы действительно лишь фигурки на шахматной доске? Или тряпичные куклы в сундуке балаганщика?

Он вспомнил сутулого бородача, схватившегося с криком за лицо. Вряд ли тот умеет извлекать кубические корни и вычислять объем усеченного конуса. Но вырастут малыши, подобные Мухаммаду, ковырявшему в носу, и тому мальчику... где же он видел его?.. и расскажут своим детям про упрямого тряпичного осла... И кто тогда вспомнит о нем — повелителе философов Востока и Запада? Кто? Какой-нибудь осел-математик да мудрец, выживший из ума.

Он выпил вино. Пусть болят глаза и ломит затылок. Это будет утром, а сейчас новая рубай щекочет ему язык. Не вставая с суфы, он потянулся к столику, но упал и больно стукнулся лбом об пол.

— Лучше бы я сам слез, не дожидаясь, пока сатана лягнет меня копытом, — проворчал Хайям, приложив к ушибу монету. — Хвала аллаху, что я еще не проломил себе нос.

Он взял чернильницу, подвинул серебряную подставку с каламами. Их было много, различных по длине, толщине и форме. Он выбрал длинное перо шамси, сделанное из египетского камыша.

Слабый ветер вспугивал желтое пламя светильника, в соседней комнате шуршала мышь, тихо скрипело перо. Хотя Хайям был немолод, почерк его оставался гладким, ровным и красивым. Беззвучно шевеля липкими от вина губами, он писал:

Мы — куклы, а небо — кукольник.
Это действительность, а не аллегория.
Мы поиграем на ковре бытия
И снова попадем в сундук небытия один за другим.

Тихо скрипело камышовое перо, дрожало коптившее пламя...

4. НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ ЭТОТ МИР

В большой светлой комнате на глиняном полу сидели, поджав ноги, двенадцать мальчиков, а на ковре — учитель Хайям, в синем халате и белой чалме. От пряного весеннего тепла хотелось спать; голова медленно клонилась на грудь, и тогда дети смеялись, корчили рожи, украдкой грызли орехи. Им не терпелось скорее выбежать на улицу, где ласково сияло солнце, журчали арыки, цвели розы и барбарис.

В узкое окошко влетел черный индийский скворец и, пронзительно вереща, стремительными ломаными линиями прочертил комнату. Хайям испуганно вскинул голову, разбуженный криком птицы и смехом детей. Он увидел черного скворца — в солнечных лучах грудка его вспыхивала быстрым фиолетовым огнем; скворец опустился на ковер рядом с пиалой и, кивая головкой, быстро пил чай.

— Рустам, — сказал учитель толстому мальчику в расшитой золотом тюбетейке, — откинь ковер у входа, пусть птица вылетит на волю. Немудрено, что она заблудилась. Вот вы так беспечно смеетесь над ней, а разве сами не обились с пути? Лучше бы вам стать погонщиками ишаков, чем зря переводить чернила!

Скворец радостно свистнул и вылетел на улицу. Дети сидели смиренно, боясь пошевелиться.

— Не помню, задал ли я вам упражнения на завтра? Подскажи мне, Али.

Сын хозяина ковровой мастерской встал и поклонился.

— Да, учитель. Мы записали два задания: выучить суру «Муравьи» и решить задачу с торговцем шелком.

— Легкие задачи я вам задал, дети, а трудную не хочется придумывать в такую жару.

Ковровая занавеска откинулась, — низко согнувшись, вошел статный чернобородый мужчина, ведя за руку испуганного мальчика, утирающего слезы.

— О господин, прости, что помешал твоему богоугодному делу. Я переписчик Керим ибн Маджид, в прошлом году я со всем приле-

жанием переписал твой труд «Ноуруз-наме». А это мой приемный Аффан, которому я вместо отца.

Дети, зажав рты, приснули от смеха. Зашептали, кося глазами: «Аффан! Тухлый!» Учитель посмотрел на них, и сорванцы сразу присмирели.

— Что ж, человек не всегда сам выбирает свое имя, а ты сделал доброе дело. И у пророка был приемный сын — Зейд.

— Да, господин, злые люди так его называли. Позволь мальчику расти в тени твоей мудрости.

— Он умеет писать?

— Еще с прошлой осени, господин, и почерк его уже приятен глазу.

— И у тебя есть деньги, чтобы заплатить за обучение? Хотя зачем я спрашиваю? Переводчикам отваливают столько золота, сколько весит книга; переписчикам платят серебром; а самим пишущим достаются удары по пяткам. Поэтому с тебя я возьму дороже.

Переписчик достал из-за пазухи маленький мешочек и, поклонившись, подал Хайяму. Тот высыпал монеты на суфу, подсчитал и остался доволен.

— Ну что ж, приводи его завтра после второго намаза.

— Благодарю, господин, что ты выслушал твоего слугу. Аффан, хорошенько запомни этот счастливый день. Учитель, кости у него мои, а мясо твое — научи его мудрости и не жалея ударов.

— Ладно, ступай, — махнул Хайям. — Али, собери чернильницы и каламы. А вы, лентяи, бегите домой. Тот, кто не выучил сегодняшний урок, пусть съест десять лепешек с медом.

Он остался один в опустевшей комнате, прислушиваясь к топоту проворных босых ног. Вот они вылетели, как скворцы. А его крылья отяжелели, потеряли силу. Что толку махать ими — курица и та взлетает выше. Все реже он видит небо и все чаще землю. И проклятая спина сгибается все круче, иногда так вступает в поясницу, что вздохнуть — и то больно.

Пока сестра жила вместе с ним, он хоть не знал домашних забот — одежда была чисто выстирана, мясо прожарено, книги заботливо обернуты в прочный наманганский шелк. И даже вино всегда водилось в его доме, хотя из-за каждого глотка приходилось спорить с сестрой до хрипоты. А мерзкие старухи, которых она присылает вместо себя, своей стряпней могут отбить аппетит у любого. Эти крючконосые сварливые ведьмы только выманивают у него деньги. Но хватит! Завтра же он найдет молодую. Он давно уже присмотрел дочку старика Мурод-Али, живущего в квартале гончаров, — она стройна, как прут ивы, лицо ее округло, словно спелый персик.

Хайям вздохнул. А зачем откладывать на завтра? Все, что угодно аллаху, надо делать быстро. Он надел туфли и, не заходя домой, заспешил в квартал гончаров. Здесь же жили керамисты и мастера по изготовлению изразцов.

В мастерской Мурод-Али не оказалось. Два его сына и два

ученика месили ногами красную всхлипывающую глину, изредка поливая водой и подсыпая золу. Увидев Хайяма, они остановились.

— Муса, где твой отец? — спросил Хайям старшего сына.

— Он в саду, господин. Дядя привез ему кеклика.

Действительно, мастер сидел в саду и пил чай. Перед ним стояла клетка, сплетенная из прутьев, на которую он смотрел с наслаждением и интересом: на жердочке, нахохлившись, сидел кеклик — горная куропатка.

— Мир тебе, мастер.

— И тебе мир, повелитель умных. Зейнаб! — крикнул он, обернувшись к дому. — Гость переступил наш порог, принеси чай.

Плавнo покачивая узкими бедрами, между ореховыми деревьями проскользнула Зейнаб с медным подносом на голове. Румяное лицо она закрыла широким рукавом накидки. Поставила поднос и ушла.

Хайям маленькими глотками пил чай. И мастер пил, не спуская прищуренных глаз с куропатки.

— Мурод-Али, возраст наш и годы дружбы заставляют меня сказать правду о деле, ради которого я пришел.

— Уши мои — слуги твоих слов.

— Разве, когда мне нужен кувшин, я иду к другому гончару? Нет, я иду к тебе. Искусность твоих рук известна многим.

Мастер согласно кивал. Разве кто-нибудь возьмется отрицать приятное?

— Вот и сейчас я вошел в твой дом с просьбой. Сделай мне красивый сосуд и прорежь в нем щель, в которую может пролезть динар, но не может пролезть палец, — буду туда складывать золотые монеты.

— Какой сосуд тебе нужен, господин, большой или маленький?

— Думаю, достаточно, если он будет высотой в ладонь. Хочу сложить деньги в одно место — мало ли для чего они могут понадобиться!

Мастер смотрел на кеклика, но думал о другом. Его огромный лоб с гладким пятном ожога прорезали морщины. Могучие руки тяжело лежали на коленях. Пальцы, всю жизнь мявшие глину, сжимались и разжимались.

— Хороший чай, — похвалил Хайям, — кто его так вкусно готовит?

— Зейнаб, кто же еще? После смерти матери она теперь хозяйка в доме. Не знаю, есть ли что по женской части, чего она не сделает лучше других.

— Да, счастлив твой дом, ему не нужно ни столбов, ни крыши, — вздохнул Хайям. — Ах, лучше бы мне, как отцу, тоже шить палатки, тогда я хотя бы залатал дыры на халате. Клянусь его памятью, никаких денег не жалко, только бы не знать домашних забот!

— Что ж, золото — падишах среди прочих денег, оно повелевает всем.

— Верная мысль. Но где найти женщину, которая согласилась бы войти в мой дом? Чтобы она была благочестива и скромна, приятна лицом и чистоплотна. Ты же знаешь, Мурод-Али, благочестие в

наши дни стоит дешезле, чем финики в Басре. Видно, на тебе милость аллаха — трех сыновей и дочь оставила тебе жена. А я в этом мире один, и некому заступиться за меня перед всемогущим. Боюсь, так и останутся мои динары в глиняном сосуде.

— А какой ширины ты хочешь сосуд? — спросил гончар.

— Такой, чтобы в него вместились восемнадцать золотых. Такую цену и Рустем не заплатил за своего скакуна.

— Так, господин, — согласился Мурод-Али, — но скакун только ржет и скачет, а та, в которой ты испытываешь нужду, должна варить, шить, стирать, ткать, подметать. К тому же от коня никто не требует скромности и благочестия. Не лучше ли тебе заказать кувшин в два раза больше?

— Ах, приятель, сосуд можно сделать величиной с тюрьму, но что в том пользы? Если бы я заранее знал, что та, которая войдет в мой дом, будет стройна и свежа лицом, как твоя дочь, с такой же родинкой на правой щеке, так же искусна в приготовлении сладостей и всего остального, я бы не пожалел и вдвое больше.

— Да, такое дело не решается враз, — рассудительно заметил гончар. — Есть девушка, о которой мы с тобой толкуем.

— Отныне, Мурод-Али, благополучие мое в твоей ладони. Давно не слышал я твоих песен. Скажи дочери, пусть принесет рубаб, и спой мне что-нибудь.

— Если аллаху угодно. — Он громко хлопнул в ладони.

Зейнаб выслушала слова отца и принесла рубаб, выдолбленный из урючного дерева.

Мурод-Али подтянул струны и, закрыв глаза, запел. Заслышав звуки рубаба, в сад вошли сыновья и ученики, потом, шепотом сказав «салам», — соседи.

Некоторые дела в этом мире кажутся мне непростительными:

Первое — когда старуха красит сурьмой глаза,

Второе — когда тайны сердца рассказывают друг другу,

Третье — когда непутевый сын становится болью отцовского

сердца,

Четвертое — когда расстаешься с другом,

Пятое — когда красавица лежит в объятьях глупца,

И, наконец, непростительно мне, что я нищий, скиталец.

Гончар отложил рубаб.

— Я услышал эту песню еще в молодости от одного старика. И всю жизнь помню.

Хайяму нечего было сказать. Сердце его отозвалось печалью на каждое слово песни.

— Мурод-Али, отныне я твой должник. Я шел к тебе за советом, а получил вдвое. Если решишь отдать в медресе младшего сына, возьму с него за обучение только две трети положенной платы.

— Благодарю, господин, недаром твоим именем клянутся. Пусть мальчик учится, а я переговорю, с кем надо, и через три дня, в пятницу, мы сладим дело, о котором говорили.

Накануне пятницы Хайям лег спать пораньше, надеясь проснуться утром дня украшения. Но напрасно он ворочался с боку на бок, то

откидывая одеяло, то закрываясь с головой, — сон не приходил. Он набросил на плечи халат и, осторожно ступая в темноте, вышел в сад. Ковш Большой Медведицы сверкал над спящим городом. Все семь звезд ее виднелись отчетливо, словно вытканые серебром на черном бархате полуночного неба.

— Скорее бы утро! Видно, проклятые муэдзины проспали время молитвы, а я дрожу от нетерпения, как страдающий лихорадкой. Прав был Ибн Сина, болезни есть теплые и холодные. И не только болезни. Разве наша жизнь не делится на годы жара и озноба? В молодости мы бездумно бросаем в костер бытия целые деревья, сейчас же рады каждой щепке. Раньше мне ничего не стоило идти без отдыха и день, и два, и три, сейчас даже езда на смирной кобыле отдается болью в крестце... Ах, Омар, к чему роптать? Раньше было то же, что сегодня: и сто лет назад багдадский динар весил мискаль¹, а после четверга шла пятница. Мир остался прежним — изменился ты. Слава аллаху, что ты еще вдыхаешь и выдыхаешь. Волос, на котором держится твоя жизнь, истончился и поседел, но клинок смерти до сих пор не коснулся его. Помнишь, что сказал тебе в Балхе старый пьяница: «Пусть радуется смерти моей тот, кто сам сумеет спастись от смерти»? Едва ли ты слышал от людей слова разумнее.

Смотри, уже тускнеют звезды, а небо становится розовым и бирюзовым. Надейся! Вон соловей сел на гранатовое дерево, раскрылись цветы шиповника. Да, Омар, мир остался прежним, и он не так уж плох.

Под пронзительные крики муэдзина Хайям сотворил молитву и, надев лучшее платье, заспешил в баню.

Банщик оказался из его учеников. Хайям помнил его прилежным мальчиком. Став юношей, он, по наущению отца, сменил калам на мыло и рукавицу и, судя по всему, не сожалел об этом. Увидев учителя, банщик почтительно помог ему раздеться, ввел в парную, потом в серную ванну. И так три раза. Он намыливал его и тер рукавицей со всем старанием, мял суставы так, что по всей бане стоял треск, выскоблил пятки пемзой, гладко обрил голову, обрезал ногти, окрасил ладони и подошвы золотистой хной. Потом завернул учителя в мягкую прогретую простыню.

Когда довольный Хайям вернулся из бани, время уже клонилось к полудню. Вместе с ним пришел повар, одолженный у хозяина караван-сарая, со всем необходимым для обеда. Пока повар готовил, старик сходил к меняле, разменял восемьдесят дирхемов из расчета по двадцать за один динар, тщательно проверил, не обрезаны ли монеты, — случилось и такое. Потом зашел к Абдаллаху ал-Сугани, прозванному Джинном, пригласил его взглянуть на служанку и заодно скоротать время.

Не успели они доиграть партию в шахматы, как повар сказал, что у него все готово — кебаб, рис, лепешки, соусы, зелень, фрукты, в кувшин с шербетом брошен снег и даже срезанные розы плавают в тазу.

¹ Мискаль — 6 граммов.

— Ступай к своему хозяину, остальное мы сделаем сами, — сказал ал-Сугани, раздраженный, что его отвлекли от игры. — Душа моя, Абу-л-Фатх, что ты скажешь, если я пойду правой башней?

— Воля твоя, высокочтимый Джинн, а мой ход конем.

— Ты отдаешь его?

— На здоровье, Джинн, я же беру твою левую башню. Ха-ха-ха.

— Смейся, благородный Абу-л-Фатх, умоляю тебя, смейся еще. Но если я сделаю тебе шах, закрой на минуту свой благоуханный рот и дай посмеяться мне.

— Так вот какую штуку ты сыграл со старым другом! Где были мои глаза? Наверное, солнце ослепило их. — Он протянул руку к доске, но постучали в ворота. — Жаль, что нам помешали, и сегодня мы уже не доиграем партию. Посмотри, кто там?

Пока ал-Сугани вводил гостей, Хайям быстро поправил чалму, одернул халат. В сад вошел Мурод-Али, за ним женщина, скрывшая лицо под тонким красным покрывалом.

— Мир тебе, помощь веры, — поклонился гончар.

— И тебе мир, почтенный Мурод-Али. Надо же, совсем забыл, что сегодня пятница!

— Вот та, о которой мы договорились.

— И она умеет все делать по дому?

— Больше того.

— И родинка у нее на правой щеке?

— Воистину.

— Или на левой?

— На правой, господин. Ты мое слово знаешь.

— Как ее имя, Мурод-Али?

— Родители называли ее Зейнаб.

— Да умножит аллах ее дни, душа моя готова стать ее запястьем. Пусть сорвет яблоко и принесет. — Хайям толкнул острым локтем в бок ал-Сугани, кивнул: «Смотри двумя глазами!»

Стройная, легко ступая по траве, вошла в сад; когда она потянулась к ветке, старики увидели, как шелковая накидка очертила бедра и тонкую талию. Обнажилась маленькая пятка, крашенная хной; нежные ямочки увидел Хайям на щиколотке — словно кто-то двумя пальцами сжал нежную плоть, как розовую глину. Зейнаб сорвала три яблока: одно подала Хайяму, второе — ал-Сугани, третье — гончару. Им это понравилось.

— Что ж, Мурод-Али, время обеда. Войдем в мой дом, там все готово. Скажи Зейнаб, пусть подаст воду для омовения и делает все, что положено хозяйке.

Мужчины сели вокруг скатерти, засучили рукава халатов и омыли руки. Зейнаб заботливо спросила, кто из них любит плов с шафраном, а кто с рейханом, голос ее звучал нежно и негромко.

Хайям смотрел то в блюдо, то на Зейнаб, пока гончар не признался:

— Это моя дочь, господин. Подумал я, у меня еще есть сыновья, а у тебя никого. Согласен ли ты, чтобы она жила под твоей крышей? Если согласен, скажи свое слово — и дело с концом.

Хайям поспешно достал динары, высыпал из кожаного мешочка на скатерть. Мастер брал золотые монеты и снова клал в мешочек.

— Я торгую кувшинами, но не детьми. И не сердись — это Зейнаб так пожелала. Правду говорят: женский разум что кувшин с трещиной — что ни налей, все выльется. Я ее и просил, и бил, но она хочет к тебе. Не знаю, что она в тебе нашла, кроме ума... Гийас ад-Дин, будь ей опорой.

— Мурод-Али, отныне ты мне вместо брата. Вот, Джинн, теперь я снова здоров, печень моя уменьшилась, кровь снова в движении. Лучшее лекарство не описано и в «Каноне».

— Верно. Даже вино, если его слишком долго прятать от гостей, превращается в уксус. Что же сказать о мужчине, в доме которого нет женщин? Только боюсь, ты теперь не захочешь играть со мною в нарды и шахматы. Где двое игроков, третий — помеха.

— И тебе не стыдно, Джинн? Вспомни, сколько нашу дружбу били, мязли, трепали, а она, подобно овечьей шерсти, становилась лишь нежнее и дороже. Дом мой открыт для тебя всегда.

Растроганный ал-Сугани вытер глаза концом чалмы и обнял старого друга. Хайям тоже заморгал ресницами. Мурод-Али обнял обоих огромными ладонями и прижал к груди.

— Клянусь, ради таких минут каждого из нас зачала мать! Видно, аллах вылепил этот день из самой лучшей глины.

Так за жареным мясом, квашеным молоком и чаем со сладостями старики наслаждались беседой, а Зейнаб занималась своим делом. Ей было смешно смотреть на отца, которого она привыкла видеть строгим, на мудрых ученых, заботливо подкладывавших друг другу мягкие подушки. «Какие смешные!» — подумала она.

А они были не смешные — счастливые.

Выплескивая грязную воду, Зейнаб слышала, как Хайям проводил гостей до калитки и сказал им:

— Да, друзья, сегодняшний день из лучших. Пока зеркало запотеваает от дыхания, не торопитесь звать плакальщиц. Пока сердце еще в пути, не проклиняйте этот мир — лучше его нет ни над головой, ни под ногами.

Что к этому добавить?

После месяца шахривар настал михр — обильный месяц, когда созревают персики и груши, гранаты и ягоды тута, когда грецкие орехи роняют лопнувшую кожуру и стучат по глиняным крышам, спугивая дремлющих котов.

В эти дни Хайям выходил из дома только в медресе. Мир его, вмещавший некогда вселенную, сжался до карих зрачков Зейнаб; подобно пчеле, он знал только свой улей, и порог его дома, не боясь быть ужаленными неприязнью, могли переступить Абдаллах ал-Сугани, прозванный Джинном, гончар Мурод-Али, сестра и ее муж — имам Мухаммад ал-Багдади.

Теперь Хайям жил в маленькой комнате, смотревшей окном на восток, как и положено библиотеке, а большую отдал Зейнаб. Вечером, когда улица засыпала, он сидел над раскрытой книгой, не

видя букв. Если бы в эти минуты кто-нибудь спросил: «О чем ты думаешь?», имам не смог бы ответить. О чем? Обо всем.

Задув свечильник, он приходил к Зейнаб — развязать пояс ее шальвар, ведь сказано в Коране: «Женщина вам пашня, пашите ее как угодно». Он стал ребенком, лепетал глупые слова, сравнивая любимую с розой, а себя с росой, которая ложится на цветок ночью и покидает его на рассвете. Он уходил на рассвете, шатаясь как пьяный. В узкое окно струился свет, освещая запылившиеся рукописи, а он лежал, устало закрыв глаза, и улыбался. Он был счастлив.

Первыми перемену в Хайяме заметили ученики. Он не шутил с ними, но и не бил по ладоням тяжелой линейкой — просто дремал и равнодушно слушал их косноязычные ответы. Даже когда родители медлили с платой, учитель не призывал проклятья на их головы.

Потом спохватились бродяги и пьяницы, с которыми Хайям водил знакомство. Думали — он заболел, пока один из дервишей не увидел его на базаре торгующимся из-за баранины. Дервиш стоял за спиной Хайяма, поигрывая чашей из кокосового ореха, подвешенной на трех цепях, спускавшихся на грудь. Дождавшись конца торга, он подмигнул своим друзьям и спросил почтенного: «Кто ты, так похожий на Хайяма, только трезвый?» Старик, даже не обернувшись, ответил: «Я-то известен в двух Востоках, а вот кто ты, зачатый ишаком и потаскухой? Недаром тебя стреножили железной цепью». Смех посыпался на голову несчастного, как камни. Поистине нелишне знать, с кем шутишь.

Но больше всех досаждал Хайяму своим злословием один законовед. Не называю его имени, потому что и у тех, кто подложил законы под зад вместо подушки, есть дети и ради чего им краснеть за глупость отцов? А этот к тому же был глупее остальных, но, желая прослыть умником, он до начала занятий приходил в медресе и брал у Хайяма уроки законодательства и толкования Корана. А на людях поносил его, о чем Хайям узнал со слов Абдаллаха ал-Сугани. В тот же день он нашел на улочке Баяти пять зурначей и пять барабанщиков, дал каждому по два дирхема, наказав рано утром ждать у ворот медресе.

Как только пришел законовед, Хайям велел музыкантам надуть щеки и ударить в барабаны. Когда перед аркой собралась толпа, недоумевая, что стряслось, Гийас ал-Дин громко сказал всем:

— Внимание, о жители Нишапура! Вот вам ваш ученый. Он ежедневно в это время приходит ко мне и постигает у меня науку, а среди вас говорит обо мне так, как вы знаете. Если я действительно таков, как он говорит, то зачем он заимствует у меня знания? Если же нет, зачем поносит своего учителя?

Что бы ты ни говорил мне — говоришь по злобе,
Постоянно ты нарекаешь меня еретиком и безбожником.
Я признаю себя таким, каким ты меня называешь, но
Рассуди по справедливости: достоин ли ты говорить все это?

Так Хайям умножил число своих врагов еще на одного. Конечно, в маленьком городе замечен даже персик на ветке, что же говорить о нем, который в лучшие времена сидел у подножья трона

Малик-шаха и пил шербет из одного кувшина с всеильным визирем Низам ал-Мульком? Огради себя хоть крепостной стеной, люди все равно увидят, правая или левая нога барана варится в твоём котле.

Изредка Хайяма навешала сестра и передавала, что о нём говорят. Он только отмахивался.

— Сестра, с тех пор как я вышел из отцовского дома, молва всегда бежала за мной, как собака, кусая за пятки. Разве не так?

Сестра вздыхала и печально смотрела на брата. Борода его стала совсем седая, глаза высветлило время, руки в морщинах, словно он пахарь или кузнец, а не ученый.

— Что ты вздыхаешь, сестра? Я давно не чувствовал себя так хорошо.

— Ах, брат, зачем дразнить людей? Пусть бессовестный гончар заберет свою дочь, а я познакомлю тебя с достойной женщиной.

— С достойной? — крикнул Хайям. — Это у которой во рту шатается последний зуб, а голова трясется от слабоумия? Не суй нос в мои дела, женщина! Разве ты не видишь, что время моей жизни умещается в ладони, а я, вместо того чтобы запомнить этот мир, трачу с тобой время на пустое.

Сестра заплакала.

Хайяму стало ее жаль; он виновато погладил тонкую легкую ладонь. Так уж случилось, что она всегда ему мешала. Когда он учился у Насир ад-Дина шейха Мухаммада Мансура, сестра однажды опрокинула чернила на его тетрадь; когда он переехал в Самарканд, она жаловалась отцу, что брат дарит подарки невольнице имама Абу-Тахира; даже высокие стены Исфаханской обсерватории не помешали ей подсчитать, сколько вина он выпил с друзьями.

Нет, он не любил сестру, но сейчас, когда из рода Хайяма их осталось всего двое, ему было жаль ее. Аллах не дал ей детей. Ему тоже, но у него были книги и вино, друзья и женщины. И скоро будет ребенок. Даже сейчас, на закате лет, он счастлив. Наверное, последним своим счастьем...

Хайям гладил тонкие сухие пальцы сестры.

Когда вошла Зейнаб, сестра быстро вытерла краем накидки мокрые щеки и заторопилась домой. Хайям не стал удерживать ее.

— Господин, где ты будешь ужинать — дома или в саду?

— Дома, Зейнаб. Меня что-то знобит.

— Хочешь, я принесу тебе ватный халат?

— Спасибо, мой распутившийся бутон. Что бы я делал без тебя? Ну, иди сюда, султан очарований. — Он обнял ее за гибкую спину и усадил рядом. — Тебе хорошо здесь?

— Да, господин, не надо месить противную глину и ткать с утра до вечера.

— А со мной тебе хорошо?

— О господин!.. — Щеки ее вспыхнули.

Чтобы согреться, Хайям выпил полную чашку бульона, сваренного из вяхирей — лесных голубей, и почувствовал себя сытым. Он лениво сосал тонкие ломтики душистой сладкой дыни.

— Господин, а правду говорят, что Луна больше Джума-мечети?

— Правда, мой прекрасный попугай. Хочешь, я нарисую тебе и Солнце, и Луну? Принеси мне бумагу. Хотя подожди. Солнце... — старик нежно погладил маленькую упругую грудь девушки, нащупывая твердый сосок, — ...подобно соску твоей груди, а Земля — дразнящей родинке возле соска.

— Мне щекотно! А Луна?

— Если бы рядом с родинкой была еще одна... Видно, все-таки придется идти за бумагой. — Он с сожалением отнял руку от груди.

Зейнаб принесла калам, чернильницу, бумагу. Хайям точными линиями нарисовал Солнце, Землю, остальные планеты, написал их названия.

— Теперь тебе понятно?

— Да, это совсем просто. А где же пятое небо, куда взлетел пророк на крылатом Бораке и взял Коран из рук аллаха?

— Лист бумаги слишком мал, чтобы вместить, кроме необходимого, еще и невозможное. Хотя ты не читаешь моих книг, тебе все-таки надо знать, что все, что человек может себе представить, не выходит за пределы трех: необходимое, возможное и невозможное. Необходимое — это то, что не может существовать и должно существовать; возможное — то, что могло бы и не существовать; а невозможное существовать не может. Хотя не всегда заметна разница между тремя, — порой достаточно искры, чтобы завеса между ними вспыхнула и обратилась в дым. Необходима жизнь. И смерть необходима. Но где кончается одно и начинается другое? Скажи мне, жизнь моей души.

Хайям перевернул лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу. Все некогда было записать, теперь самое время...

От глубин черного праха до зенита Сатурна
Я разрешил все загадки мироздания,
Проницательностью я развязал тугие узлы, —
Все узлы развязались, кроме узла смерти.

— Я обломал ногти об этот узел, зато развязал другое — пояс твоих шальвар. А радость иногда превышает истины! Не отвращай лицо, — я всегда его должен видеть. Оно необходимо мне! А ведь я думал: любовь для меня уже невозможна. Но увидел тебя — и завеса вспыхнула, и моя наука оказалась фальшивым дирхемом — поскреби его, и под серебром увидишь медь. Тем и прекрасна наука, что в ее результатах никогда нельзя быть окончательно уверенным. Как, впрочем, и в любви... Сегодня тебя любят, завтра — прогибают.

— Не говори так, господин! Мне стыдно, но я никого так не любила — ни отца, ни братьев.

— Вот уж не думал, что опровержение моих слов так приятно. Запомни, маленький нарцисс, у меня ничего не осталось, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты родила девочку, похожую на тебя. Пусть имя ей будет Айша — Живущая. Пусть будет у нее широкий лоб и острый подбородок, как у тебя, и густые брови, и длинные ресницы, и сладкие губы, и...

— Разве ты не хочешь сына?

— Вся моя жизнь прошла среди мужчин, я устал от них. А теперь или, мне надо побыть одному.

Он проводил Зейнаб ласковым взглядом, любуясь ее походкой.

Конечно, прав был пророк, веля женщине отгородить лицо от мира. Глаза ей даны смотреть на мужчину и за детьми, а не читать книги или движения светил. Что ей до того, пересекутся параллельные линии или не пересекутся, равна сумма углов треугольника ста восьмидесяти градусам или не равна, вращается Земля вокруг Солнца или, как говорят муллы, покоится на рыбе. Что ей до того? А разве мужчины сгорают от желания узнать все это? Тысячи людей живут в городе, а ты беседуешь с теньями ушедших, да еще с ал-Сугани.

Вспомни, сколько месяцев днем и ночью ты вместе с Абд-ар-Рахманом Хазини, Абу-л-Абассом Лукари, Абу-л-Хотамом Музаффар ал-Исфазари и другими трудился в обсерватории над составлением астрономических таблиц, создавал календарь, точнее которого люди не знали от сотворения Адама! И что же? Кому это пошло на пользу? Никому. Да, Омар, видно, туча твоих знаний пролилась дождем в пустыне.

Нет, Омар, опроверг он себя, если бы каждый начинал путь с начала, а не от места, очерченного предшественниками, человеческая мысль кружилась бы на месте, как собака, пытающаяся укунить свой хвост. Разве не Евклид построил здание, с крыши которого ты пытался увидеть дальше? Разве ты сам не поднимался по ступеням лестницы, так крепко и прилежно возведенной Ибн Синой и ал-Фараби? Кому-кому, а тебе стыдно брюзжать и сетовать. Да, люди темны, но, если ты зажег на их пути хоть один светильник, в мире станет светлее. А тот балаганщик с тряпичными куклами — разве он не оставил людям каплю света? Ты просто глупый ворчливый старик. Как еще Зейнаб не сбежала от тебя с каким-нибудь плечистым молодцом?

Ах, женщины! Каждая из вас как пятый постулат Евклида, который только кажется не требующим доказательств. А возьмешься искать доказательства — и лишишься сна.

И по дороге в медресе Эль-Хуссейния он продолжал думать о геометрии и женщинах и, как не первый раз за последние недели, снова ушиб колено о груды обожженных кирпичей, наваленных во дворе школы. Потирая ушибленную ногу, Хайям вошел под восьмиугольный свод. В четырех углах просторного двора цвели померанцевые деревья и благоухали цветочные клумбы, также имевшие форму восьмиугольника. Двор двухэтажной стеной окружили крошечные комнатки-худжры для учеников; на первом этаже двери были расположены прямо, а втором — слева.

Старый служка, подметавший двор, успевал вытянуть метлой по спине кого-нибудь из мальчишек, с визгом носившихся по двору. Увидев учителя, дети поспешили в комнату для занятий. Служка низко поклонился, хотя горб, выпиравший под грязным халатом, и так согнул его в вечном поклоне.

— Мир тебе, имам.

— И тебе мир, Мансур. Когда уберут эту грудку камней?

— Рабочие ленивы, господин, я их стыжу каждый день, но этот народ не понимает слов. — Горбун зорко оглядел двор и подошел вплотную к Хайяму. — Шейх Гийас ад-Дин, у меня к тебе дело.

— Какое же? — Хайям удивленно посмотрел на подметальщика.

— Наш повелитель... — Хайям вздрогнул, услышав титул повелителя исмаилитов Хасана ибн ас-Саббаха аль-Химьяри, — ...просит тебя, отложив все заботы, прибыть в Аламут.

— А ты, Мансур, оказывается, сундук с секретом...

— Не обо мне речь, господин, а о тебе.

— Так вот, передай пославшему тебя, что я дал клятву никогда не покидать Нишапур, если только моей жизни не будет угрозы.

— Как знать, имам? Наш повелитель не любит промедления, а шея ученых не тверже любой другой.

— И это тебя просили передать мне, горбун?

— Нет, такого мне не поручали.

Хайям выхватил из-за пояса самшитовый футляр для калама и замахнулся. Он бы ударил подметальщика, если бы тот нагло смотрел ему в глаза, но Мансур, вскрикнув, закрыл лицо руками и пальцы его задрожали от предчувствия боли — футляр был тяжелый, с прямыми острыми гранями.

— Ступай прочь, собака! Если я еще раз увижу тебя в медресе, начальник тюрьмы изрубит тебя в куски.

На уроках Хайям не слушал учеников, задумчиво чертя каламом круги на шершавой бумаге. «Зачем я нужен Саббаху? Не будет же он говорить со мной о математике и толковании Корана. Тогда зачем? Аламут далеко от Нишапура, но люди Саббаха повсюду. Какая же нужда во мне исмаилитам?»

После уроков, проходя по двору, Хайям снова споткнулся о кирпичи. Остановившись у могилы эмира Абу-л-Абасса ибн Тахира ибн ал-Хуссейна, святое имя которого носило медресе, Хайям поклонился его праху и помолился, чтобы проклятые кирпичи обрушились на головы тех, кто их здесь бросил. Из медресе он пошел не домой, а на улицу Кривых Ножей — к Абдаллаху ал-Сугани, прозванному Джинном. Здесь жили оружейники и кузнецы, из закопченных мастерских полз едкий дым, пахло окалиной и отсыревшим углем, и никогда не смолкал гром молотков о наковальни. Жесточайший звон неостывших клинков.

Хайям не любил здесь бывать и много раз ругал Джинна, что он не соглашается переехать поближе к Хайяму, в квартал переписчиков, переплетчиков и торговцев бумагой, — здесь было тихо, чисто и в каждом дворе разбит сад или цветник.

Толкнув дверь, от ветхости волочившуюся по земле, Гийас ад-Дин прошел мимо пустого бассейна. Рядом с домом была сложена маленькая плавильня, в которой давно уже погас огонь. И сам домик Джинна казался таким же забытым и холодным.

Господин точный исследователь сидел на полу — босой, бритая голова без чалмы сияла, как начищенный кумган. В одной руке он держал реторту с раствором ляписа, в другой — фарфоровую чашку

с купоросным маслом. Увидев гостя, он поставил реторту и чашку, обтер руки полой халата и обнял друга.

— Джинн, оставь свое богопротивное занятие, и выйдем на айван¹, не то я скончаюсь раньше срока.

Охая от боли в поясницах, старики вынесли на айван большой скатанный ковер с подушками, потом пиалы, глиняный кувшин с водой, пару лепешек и горсть изюма.

— Радуйся, Джинн, вчера сестра мне сказала, что переплетчик дворцовой библиотеки Умар ибн Аббад продает свой дом. Помнишь, мы встретили его, когда искали книгу Мухаммада ал-Хорезми «Ал-джебра»? И он недорого возьмет, я уже торговался с ним до хрипоты.

— Зачем?

— Чтоб ты жил рядом и я не тасился в это проклятое аллахом место. Помнишь, в молодости мы мечтали, что будем жить вместе в большом доме с прекрасным садом — ты, я, Абу-ль-Маджид Санаи, Музаффар Исфазари. И у нас будет общая библиотека с кедровыми шкафами для книг, и лаборатория, и даже маленькая обсерватория на крыше. А наши жены жили бы вместе и вместе готовили для нас...

— Санаи еще сказал, что после пятого намаза сам будет запираť женскую половину на стальной засов, чтоб жены не мешали нам болтовней и упреками.

— Но он сейчас в Газне, Исфазари — в Исфахане. Мы так давно не собирались вместе... Помню, я вместе с сыном Исфазари гостил у эмира Абу Са'да Джарре в Балхе. И мы вспоминали Исфахан. Но знаешь, Джинн, он стал слишком часто упоминать имя аллаха и только один раз перечислил звезды, а ведь он астроном, а не муэдзин.

— Это бывает с каждым в разное время. Сначала любовь, потом вера, и только после — знание.

— А если смешать все это в твоей реторте, то получится зловонный состав, называемый жизнью.

— Нет, получится загадочное и прекрасное, которое тоже зовется жизнью. Мы же, алхимики, соединяя все со всем, не смогли получить даже золота.

— А Джабир ибн Хайян?

— Единственный, он смог. Через двести лет после его смерти сломали старый дом в Эль-Куфе и под сгнившим полом нашли запыленный брусок золота. С тех пор никому не удавалось повторить такое, хотя уход ибн Хайяна и нашу жизнь разделяют триста девять лет. Мы по-прежнему его ученики и подмастерья. — Джинн закашлялся, лицо его покраснело, на лбу выступил пот. Он часто дышал, в груди хрипело. — Проклятая кислота! Уф-ф! Гийас ад-Дин, поешь изюм, а я приготовлю поесть.

— Не утруждай себя, я пришел к тебе за советом. — И Хайям рассказал о встрече с горбуном во дворе медресе.

¹ Айван — крытая веранда.

— Ты прогнал одного гонца, но у Саббаха их много, есть помоложе и посильнее подметальщика Мансура, — пошипывая бурую бороду, заметил Джинн.

— Но зачем я ему нужен? У меня нет охоты тащиться по горам. Пока я лезу на свою крышу, у меня и то уже сердцебиение.

— Тогда скажи тому, кто придет — а я думаю, ждать долго не придется, — что эмир повелел тебе написать книгу и часто спрашивает о ней.

— Но у них везде уши, Джинн. Разве ты не видишь, что наша страна раскалится, как жаровня, и некуда поставить ногу без того, чтобы не обжечь пятки!

— Тогда скажи, что ты болен, и не выходи из дома.

— Но если исмаилит придет ко мне домой и об этом донесут во дворец, меня с веревкой на шее повлекут на ковер крови¹.

— Я не узнаю тебя. Где твоя голова, равной которой нет в государстве? Если даны условия, значит, есть и решение. Мне кажется, такое: найди подметальщика и сам назначь место и время встречи. И лучше не в Нишапуре и не в уединенном месте, а в людном — на базаре или в мечети.

— В мечети я последний раз был два... да, два года назад.

— И то — чтобы украсть молитвенный коврик.

— Это придумали мои враги. Распустили слух, что я украл коврик и выменял на вино. Сперва я разозлился, потом стал поддакивать лжесвидетелям — пусть уж говорят обо мне правду.

— Тогда назначь встречу на базаре, — где тысячи людей, там двое незаметны.

— Наверное, ты прав. Я подумаю.

— Будь осторожен, Гийас ад-Дин, и помни — у тебя есть друзья.

— Да, да, Джинн, это одно из утешений стариков, островок в изменчивом мире превратности. Не провожай меня и хорошо подумай о домике Умара ибн Аббада.

5. ДОРОГА В ТУС

Хайям въехал в Тус с восточной стороны, через ворота, в которые вошел караван верблюдов, груженный золотом по повелению султана Махмуда Газневи — плата Фирдоуси за «Шахнаме», а в тот же день и час из западных ворот Туса, скрипя огромными колесами, выехала арба с телом поэта. Вспомнив эту печальную историю, имам пробормотал:

Воду, которую не дали при жизни,
После смерти вылили на его могилу.

Тус славился яркими паласами, сладкими дынями, чистой прозрачной водой, фиштакковыми рощами и тем, что здесь, в доме торговца аптекарским товаром, родился великий ибн Хайям, про-

¹ Ковер крови — коврик, на который ставили осужденного на казнь.

званный Джабиром, то есть Костоправом, ибо он поставил на должное место медицину. Увы, от дома Джабира не осталось даже развалин, а в доме Фирдоуси жила дряхлая старуха. Хайям видел ее — она стояла у ворот.

Понукая мула, Хайям проехал дровяной базар, знаменитое водохранилище глубиной в сорок ступеней, земляную дамбу, желтую от созревших дынь, и по тесным грязным улицам добрался до каравансарая Толстого Ибрахима — здесь они сговорились о встрече с посланцем Саббаха.

Караван-сарай был старый — прямоугольная просторная постройка с четырьмя угловыми башнями, придававшими ей внушительность и подобие крепости. Прочные стены отбрасывали внутрь двора прохладную тень и манили отдохнуть после долгого пути. Ни сторожа, ни управителя не было видно, хотя в полуденной тишине, казалось, еще слышался отзвук караванных колокольцев. Стертые каменные плиты двора свидетельствовали, что уже много лет по ним ступают верблюды, топчутся овцы и козы. В некоторых помещениях были сложены вороха верблюжьей колочки, кипы прошлогоднего сена, мешки с овсом. Пахло навозом, пережаренным мясом, терпкой кожурой неспелых грецких орехов, которую, мелко истерев, добавляют в корм лошадям, предохраняя от болезни соленой воды, неизбежной при переходе через громадные солончаки Дешт-и-Кевира.

Наконец на крик Хайяма вышел, утирая замасленные пловом губы, плечистый сторож свирепого вида и молча проводил почтенного имама в комнату, отведенную ему в западной башне. Обычно здесь было сыро и зябко от толстых стен, но сейчас горела жаровня и глиняный светильник с пятью рожками. От серебряного кувшина для омовений прохладно пахло розовой водой. Пол выложен шестиугольниками из зеленого камня, на котором точильщики точат ножи. Пушистые хорасанские ковры и драгоценный столик, инкрустированный по черному дереву редким янтарем, придавали маленькому жилищу неожиданно великолепный вид. Кто-то, видимо хорошо знавший привычки Хайяма, оставил на столике обливное блюдо с засахаренным миндалем и сосуд из полированной коричневой тыквы, полный чудесного вина. В этом Хайям убедился прежде, чем скинул туфли.

Выйдя из башни, ученый смысл с лица пыль в маленьком бассейне, нашел Толстого Ибрахима, принимавшего с приказчиком освежавшие бараньи туши для кухни, и справился о цене — он рассчитывал на кров поскромнее.

— Не утруждай себя заботами, имам, я свое получил. Если захочешь приказать, позвони в серебряный колокольчик — все будет исполнено без промедления.

Гийас ад-Дин обрадовался и поспешил к себе. Достал из дорожной ковровой сумки «Книгу исцеления», с которой никогда не расставался, и раскрыл на странице, заложенной золотой зубочисткой. Но читать не пришлось — дверь открылась и вошел Саббах. Да, Хасан ибн ас-Саббах аль-Химьяри. Не страшась и не оглядываясь,

хотя за его голову, положенную на весы, султан Мухаммад обещал золота в пять раз тяжелее.

Хайям усмехнулся: с каких пор добро стало дешевле зла, что цену человеку теперь назначают не за ум и красоту, а за жестокость? Разум нынче в цене чеснока, злодейство же ценят на вес золота и даже в пять раз дороже.

Хасан Саббах стоял перед Хайямом в черном войлочном колпаке и тяжелом, распахнутом на мощной груди, драгоценном халате, тесно затканном маленькими золотыми бута — символами огня, похожими на стручки горького перца. Под халатом виднелась голубая накидка, нетуго перепоясанная широким черным поясом, тоже изукрашенным бута, но серебряными. Кожаные туфли с острыми загнутыми носами опирались на узкие серебряные каблуки. На шее висело украшение с блюдо величиной — нестерпимо-синий громадный овал из бадахшанского лазурита, оправленный в затейливую золотую филигрань. Тяжелая ладонь сжимала посох, сверху окованный серебром и украшенный крупным, нежно мерцающим жемчугом. Саббах молча остановился в дверном проеме и спокойно смотрел на Хайяма. Казалось, такой человек мог только стоять — так он был строг и неподвижен. Поэтому Хайям тоже встал — босой, домашний, незаметно вытирающий о халат палец, липкий от засахаренного миндаля. Молча они стояли — седобородый, уже сутулящийся ученый и могучий твердошекий властелин исмаилитов, густо заросший прямой черной бородой.

— Тебе понравилось вино, Гийас ад-Дин? Оно из погребца султана Малик-шаха.

— Да, оно густое и красное...

— «...как кровь, которую ты пролил» — ты это хотел сказать? Не бойся, я пришел тебя выслушать.

— Раз ты пришел слушать, значит, я должен говорить. Но сначала ответь, что ты хочешь узнать от меня? И сядь — мы оба пределали неблизкий путь.

— Что я хочу узнать? Ах, Гийас ад-Дин! Мне ли задавать вопросы тому, кто вопрошает лишь творца, минуя даже аллаха? Разве я Малик-шах, чтобы спрашивать у тебя? Разве я проклятый Низам ал-Мульк, чтобы советоваться с тобой? Я всего лишь нищий, просящий слова справедливости и правды. Ты не умеешь лгать, поэтому я умолял тебя назначить мне день встречи; вот моя протянутая рука, Гийас ад-Дин, — она протянута за подаванием истины.

— Саббах, мы не дети, и я знаю, зачем мы встретились здесь. Твоим именем пугают детей и взрослых, султан Мухаммад, — да продлит его дни аллах! — собираясь в гарем, надевает под платье кольчугу, опасаясь твоих молодцов, накурившихся гашиша. Ты убил Малик-шаха, и Низам ал-Мулька, и тысячи других, имена которых знаешь лучше, чем я.

— Да. И мне известны имена тех, чья смерть идет за ними неотступней тени. Как врач, ты должен знать, что при болезни отворяют кровь, чтобы больному стало легче.

— У каждого врача три средства — слово, лекарство и нож. Ты же, не испробовав первых двух, поспешил взять нож, а так поступают мясники, но не целители.

— Разве это не твои слова:

Тому, кто сведущ в тайнах мира,
Радость, горе и печаль — все одно.
Раз добро и зло мира равно пройдут,
Хочешь — будь болезнью, хочешь — снадобьем.

— Мои. Но я удивляюсь тебе, Саббах: когда мы были детьми, ты спрашивал меня, где писать «каф», а где «вав», а теперь ты считаешь себя всезнающим и не нуждаешься в советах, хотя сейчас каждая твоя ошибка ужасна. Пей вино.

— Аллах не разрешил нам это.

Хайям пожал плечами и выпил.

— А все, что ты делаешь, он разрешил? Вложить в руки глупцов ножи... Пролить кровь правоверных... И разве ты не знаешь, что человек — самое совершенное творение аллаха?

— Это не помешало тебе поднять руку на подметальщика Мансура.

— Я поступил нехорошо. Но ты сравниваешь несравнимое, Саббах. Замахнуться на одного или зарезать тысячу — понятия разные, и следствия таких поступков несоизмеримы. Скажи мне, как называется то дерево, которое ты так щедро поливаешь кровью?

— Имя ему — справедливость. И с этого дерева я срежу все сухие ветви, заботясь, как истинный садовник, о плодоносящих. — Огромные карие глаза Саббаха смотрели спокойно, не мигая, но в их спокойствии была видна досада и усталость, как у родителей, рассказывающих очевидное непонятливым детям. — Ислам состарился и оплешивел, я верну ему силу.

— Такая беседа может длиться бесконечно, ибо примеров множество на каждый случай. Я скажу «два-три», ты ответишь — «три-четыре», я — «пять-пять», ты — «шесть-шесть»¹. Но ведь мы прожили жизнь, Саббах, и научились причину отличать от следствия, слова от поступков.

— Закон, основанный на лжи, всю жизнь пропитывает ложью.

— Конечно, ложь отвратительна — ты прав, но стало что-то слишком много правд, просто глаза разбегаются — как на базаре; не знаешь, у какого торговца она слаще и дешевле. Но торгующему великие знать: если чего-то слишком много в продаже, товар падает в цене и можно остаться в убытке.

— Я не купец, Гийас ад-Дин, откуда мне знать их хитрости?

— Ты озабочен, что наша жизнь пропитана ложью. Синее решил перекрасить в красное. Мой прадед был красильщиком, и я в этом деле понимаю. Ты слишком торопишься, Саббах, а по мне пусть жизнь будет пропитана ложью, но не кровью — от лжи имеется лекарство, от смерти же исцеления нет. Пророк — наилучшие

¹ Различные положения игральных костей при игре в нарды.

молитвы и привет над ним! — сказал нам: «Люди! Оглянитесь!» Мы оглянулись и увидели вокруг мерзость, ложь, беззаконие, а впереди, в конце пути, — благополучие и справедливость. Но этот путь не одинаков для всех, многие не смогли его пройти. И все-таки это путь, движение, развитие. А ты, смеясь над людьми, идущими по пути, указанному пророком, думаешь: «Глупцы! Вы слепые и заблудившиеся. Уж я-то устрою это дело!» И ты бьешь народ палкой по ребрам, считая себя единственным вожатым, знающим тайный смысл грядущего. «Нам предопределено свыше», — твердят такие, как ты, а их предопределение на самом деле — выдумка, или болезнь, или врожденное слабоумие.

Хайям налил из тыквы вина, перелив через край пиалы, и, боясь расплескать еще больше, нагнулся и отпил, вытянув шею, как курица.

— Напрасно ты смеешься над предопределением, Гийас ад-Дин. Однажды я был перед султаном Малик-шахом, когда к нему пришел мальчик из детей эмиров и хорошо прислуживал. Я удивился тому, как хорошо он служит в раннем возрасте. Султан же мне сказал: «Не удивляйся, ведь цыпленок, вылупившийся из яйца, клюет зерно, хотя его никто не учит, но не находит дороги домой, а птенец голубки не может клевать зерно без обучения, но зато становится вожаком голубиной стаи, летящей из Мекки в Багдад». И я поведу мусульман дорогой, открытой лишь мне одному. Но мне было бы легче, имея такого спутника, как ты. Я знаю только путь, тебе же дано знать, будут ли мне сопутствовать расположения светил. Два наших знания, — Саббах стиснул левую ладонь правой, — предрешат исход любого дела, — среди людей нашего времени нет равных мне и тебе.

— Саббах, не обманывай хотя бы себя! Верблюда в некотором смысле тоже можно назвать спутником... К тому же у меня свой путь: от дома до медресе, из медресе домой, а у тебя — от края до края мира. Мне поздно пускаться в такую дорогу, да я и не слышал, чтоб кто-нибудь ее прошел. А уходили многие...

— Я рад, Гийас ад-Дин, что ты не хитришь со мной. И я не стану лукавить. Я могу сдать тебя с ладони жизни, как пылинку. Сиди, сиди и не бойся! Могу исполнить любое твоё желание, как если бы ты достиг престола аллаха.

— Первому я верю, но во втором сомневаюсь.

— Мои предки из племени химьяритов говорили: «Недоверие — мудрость дураков».

— Что ж, если ты так всемогущ, Саббах, вот тебе бумага и калам — докажи пятый постулат Евклида!

— Я всегда считал, что ученые это дети, и ты мне кажешься одним из них — самым непоседливым и дерзким, — впервые улыбнулся Саббах.

— Возможно, мы и похожи на детей любопытством и жадностью познания. Мы тоже ругаемся, спорим, опровергаем друг друга. Но что было бы, если бы мы взяли вместо каламов ножи и решили защищать свои мнения не спором, а резней? Недолго прожила бы наука после таких кровопусканий! А ведь мы решаем задачи труднее

тех, которые ты взялся решить. И мы пусть медленно, но неуклонно, без крови и убийств, отвоевываем известное у неизвестного, конечное у бесконечного. Изучение наук и постижение их с помощью истинных доказательств необходимо для того, кто добивается спасения и вечного счастья.

— Гийас ад-Дин, не зря тебя зовут «Худжжат ал-хакк» — «Доказательство истины». Мне очень жаль, что свет учения халифа Исмaила не осветил твою душу. — Саббах намотал на толстый палец черные волосы бороды.

— Аллах помогает нам во всех случаях, он наше прибежище. А свет и тьма в нас самих. По крайней мере, вечная жизнь начинается здесь... Некоторые полагают, что бесконечность бытия и есть вечная жизнь; другие считают, что она начинается, когда нас призовет аллах. Оба эти представления неточны, вернее, недостаточны. Вечная жизнь отличается от земной, но начинается на земле — в тебе, во мне, в Толстом Ибрахиме... И не надо путать свет с пожаром, хотя и от него на время становится светлее.

— Пожар?.. Мысль о пожаре мне не приходила, но я подумую. Может быть, у тебя есть просьба? Я с радостью ее исполню, если... она не выше моих сил.

— Просьб у меня нет, остались желания. И самое большое из них — прожить остаток дней без суеты. Я приехал в Тус купить у судьи редкий список перевода «Начал», сделанный еще ал-Хаджжаджи¹. Но мне не хотелось бы, чтобы об этом знали многие. Хозяева караван-сарая люди общительные...

— Твое беспокойство напрасно. Толстый Ибрахим надежный человек и умеет молчать. Мир тебе, Гийас ад-Дин, я рад, что ты нашел время для меня. Иди и ничего не бойся.

Саббах встал, взял прислоненный к столику посох и, слегка наклонив голову, чтобы не задеть колпаком о притолоку, вышел.

Хайям остался один. Посмотрел на глубоко вмятую подушку, где только что сидел Саббах, устало погладил бороду. «Странно, он немного моложе меня, но у него ни одного седого волоса в бороде, а моя совсем седая. Гранаты щек моих сморщились и посинели, и бывает нестерпимо больно вот здесь». Боль, словно спящий пес, которого позвал хозяин, проснулась и острыми зубами вгрызлась в сердце. Старик со стоном опустился на правый бок, поджав колени к подбородку. Осторожно вдохнул и вытер взмокший лоб. Фу! Губы сразу иссохли, как опавшие листья. Он с трудом дотянулся до колокольчика и позвонил. Подождал, еще позвонил — шагов не было слышно. Из-за стен башни смутно доносился шум (может, пришел караван?), но на лестнице было тихо. К счастью, боль скоро прошла.

Хайям поправил халат, сунул ноги в домашние туфли без задников и, чутко прислушиваясь к успокоенному сердцу, вышел из комнаты. Шум во дворе стал громче. «Ну и глотки у этих погонщиков! Даже за стеной от них нет спасения!»

¹ Ал-Хаджжаджи — первый переводчик на арабский язык «Начал» Евклида.

Но кричал не погонщик — молодая женщина в черной накидке пронзительно кричала, царапая тащивших ее мужчин. В одном Хайям узнал свирепого сторожа. Втянув голову, тот увертывался от острых ногтей и молча тащил женщину. В углу двора возле склада для фуража толпились люди, что-то плотно окружив. Хайям растолкал спины, протиснулся вперед и увидел Толстого Ибрахима, лежавшего на пыльных каменных плитах. Он упал лицом вниз, поджав руки с поднятыми локтями, словно сляясь подняться. Лужица темной крови растеклась вокруг надломленной шеи; далеко разлетелись осколки стеклянной гири; следы чьих-то туфель, отпечатанные в пыли, терялись в крови и вновь начинались из крови. Кровавые следы.

— Что с ним? — спросил Хайям рыжебородого.

— Не знаю, хаджи. Хозяин пошел за рисом для плова, и мы услышали крик. Прибежали, а он лежит с перерезанным горлом. И никого рядом.

Хайям опустил на колени, осторожно распрямил руку, сжал тремя пальцами запястье, прижав вену к лучевой кости. Пульс не прощупывался — Толстый Ибрахим был мертв.

Толпа, тесно обступившая убитого, качнулась и треснула; люди, отталкивая друг друга, выбирались из толпы. Хайям поднял голову: мимо бежали дети; семенили женщины в волосяных покрывалах; шаркали бормочущие старики; толстый торговец, ругаясь, толкнул стражника, наступившего ему на пятку. Куда они спешат? Сидя на корточках, не видно. Хайям встал: вдоль арыка, в сторону водоема, укрытого лимонными деревьями, густо желтеющими плодами, спешили люди. Над чалмами, шлемами стражи возвышался черный войлочный колпак Хасана Саббаха; сотни рук тянулись коснуться его тяжелого халата, узорчатого пояса, его посоха, украшенного жемчугом.

«О люди! — с горечью подумал имам Омар. — Куда вы торопитесь так, что с пяток сваливаются туфли? Спешите на пожар, и не с водой — с огнем. Ах, люди!.. Но где начинается свет и вечная жизнь, если возле мертвого остался только один живой? Если даже там, где люди целуют окаменевший след пророка, человека разрубили на куски, как тушу в мясной лавке. Где спастись человеку?»

Хайям побрел к башне. Вопли толпы словно толкали его в спину, но не было сил бежать. Отяжелевшие ноги с трудом поднимались по каменным ступеням. «Не утруждай себя заботами, шейх, я свое получил...» Ах, Саббах, Саббах! Теперь я понял, почему ты счел хозяина надежным и умеющим молчать. Ты веришь только мертвецам! А я-то старый глупец, говорил с тобой о творениях аллаха и самонадеянно подумал, что прокладывая путь к твоим ушам.

Вот так. Жил человек, плохой или хороший — кто знает? Звался Ибрахимом. Имел жену и, наверное, детей. Любил хорошо поесть — иначе от чего же растолстел? Молился, подсчитывал барыши, считался почтенным горожанином. Шел на склад с гирей, не зная, что смерть к нему ближе, чем рубаха. И вся его вина лишь в том, что он был человеком. Будь он верблюдом, лимонным деревом или водой в

арыке, Саббах прошел бы мимо. Но человеку, увы, дарована способность говорить...

Хайям, словно это было вчера, снова увидел себя в Мекке — в толпе паломников, покрытым, как и все, цельным куском материи — ихрамом. Они прошли среднюю арку Баб ас-Сафа — через эти ворота выходил пророк, когда шел на моление на гору Сафа. Раньше там был Камень, на который ступал благодатными ногами посланник аллаха, мир да будет над ним! След его стопы вырезали и вставили в белый камень так, что пальцы ног обращены в сторону мечети. Одни паломники припадали к следу пророка лицом, другие ставили на него ногу. Хайям счел более уместным припасть лицом. Потом вошли в дом Каабы и заполнили его; Хайям, оттесненный в Иракский угол, нашел взглядом колонну, на которой лежал Черный Камень — округлой формы, длиной в ладонь и четыре пальца, шириной в восемь пальцев. Вместе со всеми он шел справа налево; подойдя к Камню, поцеловал его и снова обошел. Так семь раз: три раза бегом, четыре раза медленным шагом. Когда один иссохший старик, обессилив от бега, упал и его стошнило, служители с обнаженными мечами тут же изрубили паломника на куски. Тогда Хайям с великим усилием удержал себя от тошноты, но еще много ночей просыпался от удущья.

Разве угодна была кровь того старца аллаху? Разве она хоть на волос прибавила славы пророку? Ах, люди, люди! Ведь это вам в уши закричал Фирдоуси: «Если смерть справедлива, тогда что же несправедливо?» Да, пророк знал силу и власть Камня, ибо Камень всегда прав, потому что мертв. Вот почему прав и Саббах, а Толстый Ибрахим виноват и лежит с перерезанным горлом на каменных плитах своего караван-сарая. И так будет до тех пор, пока люди не поймут: главное — не Камень, не Закон, не Власть и даже не Знание, главное — человек.

Он больше не мог оставаться в караван-сараях — страшно стало одному в каменной башне, с этой подушкой, вмятой каменным задом Саббаха, с засахаренным миндалем, положенным неведомой рукой. Торопливо подвязав поясом халат, Хайям вышел из башни, прошел мимо присыпанной песком крови, где только что лежал Ибрахим, вывел из стойла запряженного мула и поспешил из Туса, пока еще не закрыли ворота.

День был жарким и солнечным. Широкая дорога пахла пылью и полынью, серебристо-зелеными кустиками росшей по обочине. Поля поспевающего ячменя подступали почти вплотную к дороге, шелестя высокими колосьями на теплом ветру. Этот шелест жизни, и безлюдная дорога, и огромное небо над зеленеющей долиной вдруг показались таким счастьем, что Хайям остановил мула и, опустившись на колени прямо в пыль, поблагодарил бога, что с ним случалось очень редко.

6. О ПОЛЬЗЕ СДУВАНИЯ ПЫЛИ

Громко постучали тяжелым кольцом в ворота.

— Здесь живет шейх Абу-л-Фатх ан-Найсабури?

— Йа аллах! — крикнул Хайям, предупреждая Зейнаб, что пришел чужой мужчина и ей надо закрыть лицо покрывалом.

Судя по тому, что незнакомец назвал его ан-Найсабури, он был арабом — персы говорят Нишапури.

— Я — ан-Найсабури, а ты кто, гость? Войди в дом и назови свое имя.

— Я — Икрам ибн Джамал из Багдада. И отец мой, и дед, и прадед торговали бумагой. Наша семья поставляла ее Хунайну ибн Исхаку, Абу-Юсуфу аль-Кинди, Абу-Насру Фараби, Абу-ль-Ала Маарри.

— Вот как! Давно я не слышал столько прекрасных имен сразу!

— Наша лавка рядом с Бейт ал-Хикма¹.

— Был я и там.

— И у нас тоже, имам хаджи. Тогда ты удостоил беседой моего отца, а я вам прислуживал. И ты взял стопку лучшей бумаги — бирюзовой и золотистой.

— У твоего отца шрам над правой бровью, и он, как суфий, бреет усы?

— Память твоя огромна, господин! Тогда отец сказал мне и старшему брату Ясиру: «Дети, каждый год в этот день давайте нищим по двенадцать дирхемов».

— Почему по двенадцать?

— Ты осчастливил наш дом в двенадцатый день месяца рамазана.

Хайям и гость прошли на айван, где Зейнаб уже постелила скатерть и накрыла завтрак.

— Что же привело тебя на чужбину?

— При халифе Мустаршиде многие торговцы бумагой обнищали, ибо спрос на нее упал, — воюют оружием, а не бумагой. Старший брат стал торговать хлопком и переехал в Миср, а я хотел, чтобы дело моих предков продлилось. И отец похвалил меня и сказал: «Икрам, поезжай в Найсабур. Там, где живет Доказательство истины, всегда будет нужна бумага». Я пришел со вчерашним караваном и утром поспешил к тебе.

— Ты рассказал хорошее, но чем я могу помочь твоей торговле? Я человек бедный.

— Имам, тебе не придется тратить, ты будешь только получать. В стене, возле ворот, есть удобная ниша. Пока я не приобрел дом, я бы хотел устроить там лавку, а тебе от меня будет плата — пятнадцать дирхемов каждый месяц.

— Это за место. А за шум?

— Ты шутишь, господин?

¹ Бейт ал-Хикма — «Дом мудрости», академия, основанная халифом Ал-Маамуном.

— Какие шутки! Отодвинь ухо ладонью и скажи мне, что ты слышишь?

Пока молодой торговец сидел, смешно оттопырив большое ухо, Хайям не спеша ел печеные баклажаны, фаршированные сладким перцем и луком.

— Я слышу только журчание воды в арыке и скрип дерева.

— И я это слышу. А когда ты сделаешь из моего дома лавку, у меня будет болеть голова от воплей покупателей, и мне придется каждый день пить отвар из зерен конопли, сильфия и мяты. А лекарство в наши дни стоит дорого. Кроме того, к тебе будут приходить поэты, а они не могут говорить как люди — им непременно надо выть или рычать. Неплохо иметь пятнадцать дирхемов, но тишина стоит дороже.

— Может быть, двадцать дирхемов вернут тебе спокойствие, господин?

— Ты прав, багдадец...

— Меня зовут Икрам ибн Джамал.

— Как бы тебя ни назвал отец, ты прав: чем больше дирхемов, тем спокойнее. И я не поверю, что ты желаешь зла старому человеку.

— Клянусь прахом отца, это так. Но назови свою цену, имам!

— Тридцать дирхемов и сто листов бумаги каждый месяц.

— Если багдадской или бухарской, я согласен.

— Самаркандской.

— Тогда тридцать листов, хотя и это мне в убыток.

— Тридцать самаркандской и сорок бухарской.

— Но это то же самое! — опешил ибн Джамал.

— Разве? Видишь, я уже не помню, что сказал минуту назад, и у меня начала болеть голова.

— Хорошо, хорошо, тридцать дирхемов и пятьдесят листов самаркандской бумаги — только из уважения к твоей мудрости и седине. Деньги я уплачу сейчас, а товар у меня сложен в караван-сарай.

Ибн Джамал достал шелковый позванивающий мешочек, положил на протянутую морщинистую ладонь. Хайям подивился верному расчету багдадца — в мешочке оказалось точно тридцать монет.

— Господин, если ты не возражаешь, я сегодня же пришлю двух каменщиков и плотника — надо оградить нишу кладкой в три кирпича, оштукатурить, выложить окно и дверной проем.

У Хайяма тоже нашлось дело в городе, и он вышел вместе с ибн Джамалом. Проходя мимо медресе, учитель с радостью увидел, что куча кирпичей уменьшилась и рабочий с распухшей щекой, перевязанной платком, складывает в тачку последние. Хайям захохотал. Багдадец с удивлением смотрел на него, а зеваки на них обоих.

— Ибн Джамал, то, что я тебе расскажу, удивительней приключений морехода Синдбада. Однажды в нашем медресе обвалилась стена, и я нанял каменщиков для ее ремонта. Неделю они работали, а оставшиеся после них кирпичи валялись здесь три года, став причиной моих бедствий. Из-за них я совсем охромел. И когда мое

терпение истончилось, я помолился эмиру Абу-л-Абассу ибн Тахиру ибн ал-Хуссейну, чтобы он обрушил эти кирпичи на голову тех, кто их здесь бросил. Прошло семь месяцев — и, как ты видишь, куча убрана, а каменщик наказан. Теперь я верю, что эмир Хуссейн действительно святой, — сам подумай, сколько людей обращаются к нему с молитвой, если моя ждала очереди так долго.

Рабочий, не понимая, над чем все смеются, тоже захохотал, раскрывая рот, насколько позволяла повязка.

— Отец мне говорил, имам, что однажды твои слова дошли до самого аллаха.

— Я что-то не помню.

— Прости, я плохой рассказчик, но дело было так. Однажды ты сидел в саду и пил вино, дабы отвлечь себя от суетного мира. И вдруг поднялся страшный ветер, он вздымал тучи пыли, гнул к земле деревья, валил на бок людей...

— Ну и ветер! — хмыкнул Хайям.

— Ураган! Он набросился на гебя и опрокинул чашу с вином. И тогда ты крикнул:

Ты разбил мой кувшин с вином, о господи!
Закрыв для меня врата наслаждения, о господи!
Ты пролил на землю пурпурное вино.
Да буду я проклят, может быть, ты пьян, о господи?!

Эти упрёки дошли до ушей аллаха, вызвав его гнев. И аллах наказал тебя — перекошил твой рот и сковал язык немотой. Тогда ты, говоря, раскаялся, заплакал и взмолился:

Кто в мире не грешил, скажи?
Кто живет безгрешный, скажи?
Я совершаю зло, а ты воздаешь злом, —
Так какая же разница между нами? Скажи!

— Нет, такого случая я что-то не припомню, багдадец, хотя книга моей жизни из какой только бумаги не сшита — белой, золотистой, пурпурной, голубой. Но знаешь, какое ужасное подозрение вкралось в мое сердце, когда я слушал твой рассказ?

— Не знаю, господин. Мой отец клялся — это истинная...

— Я не о том. Ты сам пишешь стихи?

Ибн Джамал поднял голову, разглядывая бирюзовый купол мечети.

— Так я и знал! — Хайям сплюнул на землю и растер плевком. — Клянусь, ты измарал сто тюков бумаги. Хотя где же и быть бумаге, как не у торговца бумагой. И конечно, ты считаешь себя лучше Рудаки?

— Пусть мне отрежут язык, если я хоть шепотом скажу такое. Как я могу даже в мыслях равнять себя с Адамом поэтов, если я только учусь делать первые шаги, и ноги мои разъезжаются, как у новорожденного верблюжонка.

— И кого же ты избрал себе в учителя? Назови их.

— Абу-л-Касим Фирдоуси, Абу-Шукур Балхи, Абу-ль-Ала Маар-

ри, Насир-и-Хусроу и ты, мауляна¹, — позволь мне тебя так называть.

— Я? — Хайям с удивлением посмотрел на торговца. — Но мое имя лишнее в этом созвездии поэтов. Нет, я всего лишь математик, и то... Давай передохнем хоть минуту в одном доме. Это близко.

Они зашли в лавку точильщика ножей, где в задней комнате подавали вино — мутное и непроцеженное, зато без лишних разговоров. Все дело заняло не больше трех минут, и собеседники вновь увидели солнце.

— Перечисляя великих, ты назвал Насир-и-Хусроу. В таком случае ты должен знать его строки, сказанные о пишущих:

Стоишь и за стихом читаешь пышный стих,
А честь твоя, как кровь, стекает на пол с них.

— Я их храню, как сокровище. Этому двустипхию предшествует другое:

Тупице посвящать касыд хмельное зелье —
Что наряжать осла в шелка и ожерелье?²

— Хорошо, торговец бумагой.

— Меня зовут Икрам ибн Джамал.

— Но знать поэтов и самому быть поэтом — разное.

— Я никогда не называл себя высоким именем, мауляна.

— И правильно. Высокое имя лучше высокой крыши. А то развелось слишком много неучей и сопляков, именующих себя Багдади, Мешхеда, Мервази, Самарканди. Вот, кстати, идет один из них — Нишапури. Смотри, как он пыжится и вертит головой, высматривая жертву для своих касыд. Несколько лет назад я встретил его в майхане. Правда, и щеки у него были тогда румянее, и стан стройнее.

Молодой мужчина, о котором говорил Хайям, шел по улице, часто поглаживая шелковистую черную бородку; при каждом движении крупный лал в перстне вспыхивал быстрым огнем, доставляя его владельцу наслаждение. По моде, введенной еще женой Харуна ар-Рашида Зубайдой, его сафьяновые туфли были расшиты хорошо ограниченными разноцветными стеклами — на драгоценные камни пришлось бы истратить состояние. Чалма была скручена изящно и высоко, расшитый золотыми нитями конец спускался длинно, как у ученого.

Щеголь опасно покосился на Хайяма, решая, подойти или пройти мимо, но тщеславие пересилило. Сложив на груди узкие ладони, он поклонился имаму, не удостоив его спутника даже взглядом.

— Мир тебе, светоч познания!

— И тебе мир, незнакомец.

— Мы знакомы, высокочтимый имам, — улыбнулся любитель слов. — Я услаждал твой слух касыдой в одном ученом собрании.

¹ Мауляна — духовный учитель, наставник.

² Перевод И. Сельвинского.

— Да? И что же я сказал тогда?

— Ты был приветлив со мной и сказал, что рифма моей касыды подобна строкам несравненного Насир-и-Хусроу, яркость сравнений — творениям Рудаки, а скорбь любовного томления увлажняет ресницы воспоминаниями о Абу-Теммამе.

— А ты не перепутал? Наверное, я был здорово пьян, если мог выдумать такое! Вижу, ты преуспел за эти годы. Ты выбрал дело по душе? Стал каллиграфом, булочником, баншиком, или на беду свою, евнухом?

— Я не могу жить без поэзии!

— Что ж, случается и такое. Верно, ибн Джамал? Приходит называющий себя поэтом и начинает пронзительно вопить: «Я не могу жить без поэзии!» Она же отвечает: «Но ведь я без тебя могу, зачем принуждаешь меня к сожительству?» Но такой и слышать не хочет, продолжает кричать дурным голосом, как верблюд в пору гона.

Ибн Джамал шел за Хайямом, боясь пропустить хоть одно слово; за ним, отстав на два шага и стараясь казаться равнодушным, шествовал сочинитель рифм в сафьяновых туфлях, но шею его влекло любопытство, как курицу — рассыпанные зерна.

— Случилось мне знать одного юношу в Газне, — с улыбкой продолжал Хайям, — который, вместо того чтобы прилежно учиться в медресе, писал касыды, за что его часто били учителя. Но то ли кожа у него была толще буйволиной, то ли он действительно любил соединять слова в строки, но этот несчастный никому не давал прохода без того, чтобы не всучить дару-тройку касыд. Хотя, если признаться, сочинял он неплохо.

— И что же? — нетерпеливо спросил тот, кто не мог жить без поэзии.

— А, это ты? Прости, я и не знал, что кто-то идет следом за нами. А юноша... Кто видел переболевших оспой, тот узнает их по отметинам на лице. Так и тот юноша переболел поэзией — он вдруг вбил себе в голову, что должен стать поваром. Шейх Абу-ль-Маджид Санаи, которого я считаю лучшим из всей своры пишущих на фарси, пришел к родителям глупца открыть им, что их сын — поэт, и дар его редчайший, от щедрости аллаха. Отец, а он был оружейник, увидев в своем доме богатого господина, пообещал спустить шкуру с сына, если он не станет поэтом, — вот улыбка судьбы. Но юноша стоял на своем: хочу быть поваром, у меня к этому влечение! Сейчас он главный пловщик султана Мухаммада, и думаю, в этом деле ему нет равных.

— Конечно, чего ждать от сына низкого человека! — Нишапурец, подбоченясь, погладил холеную бородку; в перстне ярко вспыхнул лал. Багдадец задумчиво смотрел вдаль.

— Ты тоже так считаешь, ибн Джамал?

— Какое право я имею судить других, если сам ничтожен?

— А я думаю, парень правильно сделал, — вмешался в разговор чайханщик, вышедший из чайханы обсушить пот на толстой груди.

— Мир тебе, Абдулла! Чайханщики — люди, сведущие во всех

делах, и мнение их достойно внимания. Интересно, что ты скажешь о назначении поэта?

— За меня сказал Абу Али: «Поэты — принцы вселенной». По сложности ваше дело сравнимо с нашим. Чай варят в каждом доме, а лучший чайханщик один на весь город, даже если он огромен, как Багдад. Вода, огонь и чай — вот наше богатство. Но мой дед говорил, что семь поколений должны переливать чай из пиалы в чайник и в пиалу из чайника, пока он не обретет совершенную крепость, аромат, вкус и цвет настоя.

— Ты прав, Абдулла, но не во всем. Тем поэт и отличается от тебя, что в своем сердце хранит боль, знания и мудрость семи поколений, а судья ему все остальные поколения, сколько бы их ни пришло. Чай выдыхается и мутнеет между двумя молитвами, а написанное пером несокруσιμο. Слово — послание сердца. Однажды шах Ануширван Справедливый сел на коня, чтобы поохотиться. Проезжая по окраине деревни, он увидел девяностолетнего старика, сажавшего ореховое дерево. Шах удивился, ибо, только становясь двадцатилетним, орех приносит плоды, и сказал: «Эй, старик! Ты сажаешь ореховое дерево?» — «Да, повелитель». Шах спросил: «Сколько же ты думаешь прожить, чтобы узнать вкус орехов?» На что услышал: «Они посадили, а мы съели, мы сажаем, а они съедят». Вот ответ поэта.

В нашем городе есть мастера шестидесяти ремесел, Абдулла, — чайханщики, ткачи, стекольщики, каменотесы, банщики, гончары, оружейники, ювелиры, резчики по дереву, медники и другие. Среди этих ремесел нет ни одного, по трудности сравнимого с работой поэта. Только копатели кяризов. Они роют колодцы в песках — копают землю на двадцать, на пятьдесят, на сто локтей! Пока из глубины не выступит желанная вода, лучше которой нет ничего. Им не хватает воздуха, они стиснуты сырыми стенами колодца, в любой момент готового обрушиться и заживо похоронить мастера. Но они копают, копают, а найдя воду, роют другой колодец. И так десятки колодцев — год за годом. И каждый соединен с другим подземным ходом, собирая тоненькие ручейки в неиссякаемый источник. От этой работы у копателей колодцев желтеют щеки, впадает грудь и горлом идет кровь. Они умирают, а вода, их вода, спасает людей от жажды, от отчаяния, от бессилия. Вот...

Хайям поблел и, сясь что-то сказать, жадно глотал воздух. Ибн Джамал подхватил его на руки, не зная, что делать.

— Сюда, сюда, — засуетился Абдулла, расталкивая зевак, загоротивших вход в чайхану.

Хайяма положили на суфу, подложив под голову подушку, и развязали пояс халата.

— Господин, уже побежали за лекарем.

— Лучше... домой... домой... — Язык с трудом повиновался Хайяму.

Тут же остановили арбу зеленщика, разгрузили корзины с перцем, луком, редькой; имама бережно положили на кошму, подстеленную Абдуллой. Он лежал и слабо улыбался. Небо опрокинулось

над ним, щекоча глаза нестерпимой голубизной. Огромное облако плыло, не отставая от арбы, до самого дома.

Когда больного вносили в узкую дверь и неловко повернули, Хайям крикнул — такая боль пронзила грудь. Нос с благородной горбинкой заострился, лицо побелело от боли. Словно сквозь дым он видел людей, знакомого врача, почувствовал под халатом его пальцы, холодные от льда, накрошенного в бычий пузырь.

— Где болит, Гийас ад-Дин?

— Под ключицей... очень...

— А здесь? — Хаким стукнул согнутым пальцем пониже левого соска.

— Больно...

— Поднимите ему голову.

Придерживая пузырь со льдом, привязанный полотном к голове, больной приподнялся. Врач поднес ему толстую фарфоровую чашку, в которой с треском и густым дымом тлел коричневый шарик. Губам стало тепло.

— Дыши!

С каждым глотком дыма дышать становилось безболезненней и легче.

— Теперь болит?

— Под ключицей нет... там больно.

— Через каждые два часа пей по десять капель из этого пузырька. Запивай горячим козьим молоком.

— Что в нем?

— Сумбул, китайская корица, дикий имбирь, семена укропа — настоянные на виноградном вине.

— Вот видишь, лекарь, на вине. Дай мне попить, пересохло во рту.

— Принесите молока.

— От молока у меня изжога.

— Если будет изжога, проглоти косточку маслины или разжуй пять зернышек овса.

— Ты не врач, а палач... Вместо того, чтобы лечить больного, ты издеваешься над ним. Я болен, но не болезнь угрожает моей жизни, а отказ от вина... Самое удивительное, лекарь: чего бы я ни принимал внутрь при болезни — все вредит мне, кроме вина.

— Гийас ад-Дин, ты сам был врачом, и не мне говорить тебе о вреде пьянства, — достаточно того, что сказал пророк.

— То, что сказал пророк, я знаю лучше тебя. Но неужели ты никогда не задумывался, почему люди тянутся к вину, а не к отварам и мазям, хотя кровь лозы, как ты утверждаешь, вредна, а лекарства полезны? Мы были каплей жидкости, вложенной в чресла, извергнутой наружу пламенем страсти... Поживем и умрем... Время между нашим приходом и уходом надо прожить радостно, — и без того в наши сердца создатель вложил немало скорби. Или ты думаешь, с тобой время поступит иначе, чем с другими? Знаешь ли ты, в чем цель моего поклонения вину? Не поклоняться никому, в том числе и себе. К тому же я пью, но не пьянствую.

— Успокойся, — шепнула Зейнаб, обтирая мокрую грудь Хайяма. — Тебе вредно много говорить.

— Ты права. К чему многословие без поэтического дара? Ступай, лекарь, ты не понял больного, а без этого лечение бесполезно.

— Я приду завтра, а если понадобится спешно, пришли кого-нибудь за мной — я живу у Ворот Канала.

Хайям устало закрыл глаза.

— Зейнаб, и ты осуждаешь меня? Сядь рядом. — Зейнаб поправила сбившееся одеяло, робко села на край суфы. Хайям погладил ее узкую ладонь, прижал к закрытым глазам. — Как я счастлив, что твоя рука закроет их... Ты не согласишься, мое сердце, но я полюбил тебя, когда ты была совсем маленькая. Я заказал твоему отцу тысячу кувшинов, чтобы видеть тебя чаще, и все ждал, как тот старик садовник, посадивший ореховое дерево. И я дождался! А скоро нас будет трое: ты, я и тот, кто родится. Тебе уже нельзя носить воду, — скажи сестре, чтоб прислала женщину.

— А тебе нельзя говорить.

— Ничего, мой сахарный попугай, я и так слишком редко говорю с тобой. Принеси мне шербет, похолоднее.

Зейнаб принесла запотевший кувшин с вишневым шербетом, но Хайям спал. Она нежно разгладила глубокие морщины на темном лбу с белой полоской кожи у волос, — Хайям только на ночь снимал чалму.

«Бедный, он всегда думает о своих противных линиях. Даже в праздники пишет. И совсем немного пьет — больше говорит о вине... Нет, пусть лучше будет мальчик — похожий на него. Нет, лучше мальчик и девочка».

Она думала и гладила лицо Хайяма, и дыхание его становилось глубже, спокойнее. Имам улыбался во сне.

Кто-то громко позвал Зейнаб. Она встала, задев туфлей кувшин, и быстро наклонилась, чтобы удержать его, но боль ударила в поясницу как камнем. Она упала на колени, до крови закусив губу, чтобы не разбудить спящего криком; сжалась в комок, боясь пошевелиться. А в ворота стучали. Испугавшись, что стук разбудит Хайяма, Зейнаб поднялась, держась за суфу, и медленно пошла к воротам. Это был отец.

— Муса видел, как имама повезли домой. Что с ним?

— Врач сказал, что у него трехдневная лихорадка.

— А с тобой что? Не пора звать повитуху?

— Не знаю, отец. Я так боюсь!

— И твоя мать боялась, когда рожала тебя. Не бойся, все будет хорошо. Завтра пошлю за старухой Нарджис, пусть сводит тебя в баню. Ну что ты, глупышка? А где имам?

— Он спит. Врач не велел его будить.

— Зейнаб, с кем ты разговариваешь? — донеслось из дома.

— С отцом.

— Пошли кого-нибудь в майхану, а я сейчас выйду. — Набросив халат, в шерстяной серой шапочке Хайям сам вышел на айван. — Мир тебе, Мурод-Али. Садись сюда, здесь прохладнее. Уф! Теперь,

благодаря родству с тобой, кувшины у нас водятся в избытке, а вина в своем доме я не видел давно. Какое дерево тебе по душе?

— Мы, гончары, любим орех, у него крепкая древесина.

— Тогда расстелем скатерть под орехом.

Зейнаб принесла подушки.

— Как твоё здоровье, имам хаджи? Укрепил ли его лекарь?

— Что сердце, Мурод-Али? Если оно не болит, мы считаем себя здоровыми, хотя на самом деле такой человек неизлечимо болен. Хвала аллаху, сейчас и сердце болит, и стало легче, чем когда меня везли на арбе зеленщика вместо лука и перца. А как здоровье твоих детей?

— Слава аллаху и благословение всем его пророкам, они здоровы. Младший каждый день спрашивает, когда я отведу его в медресе. О нем я не беспокоюсь, а вот Зейнаб...

— И о ней не беспокойся. Она родит девочку, все признаки тому: и горькая слюна, и много пятен на лице, и плод зашевелился после четырех месяцев, а не трех. Ты сам можешь легко проверить: беременная девочкой первый шаг после остановки делает левой ногой. Мне и самому случалось принимать роды, но для Зейнаб я отыскал хорошего врача — он учился у самого Ибн Сины. Думаю, уже недолго ждать, когда ты станешь дедом, я — отцом.

— И ты хочешь девочку?

— Да, девочку.

— В нашем роду первыми всегда рождались мальчики.

— В нашем тоже, но все признаки подтверждают мое желание. Я редко просил аллаха, а сейчас пять раз в день возношу молитвы ему и Абу-ль-Хамалату — «покровителю нош». Надеюсь, они меня услышат.

— Неужели у тебя никогда не было детей, Гийас ад-Дин?

Хайям ничего не ответил. Он смотрел на Зейнаб — она двигалась осторожно, словно внутри нее был сосуд, откуда нельзя расплескать ни капли. Лицо ее подурнело от пятен, белки глаз посинели; когда она поднимала ресницы, в карих зрачках дрожал свет. Не было видно ни ямочек на щиколотках. Но сейчас Хайям любил ее больше, чем тогда, когда она, привстав, тянулась к яблокам: она носила в себе самое сокровенное его жизни — продолжение.

— А вот и вино. Откуда оно?

— Я не спросила, господин.

— А если бы тебе принесли серьги с бирюзой, ты бы сто раз спросила, откуда бирюза — из Нишапура, Табаса, Кара-Мазора или Ходжента? Ведь каждому известно, что ходжентская быстро теряет цвет и желтеет, а из Кара-Мазора — крошится при обработке. А вино важнее бирюзы. Как ты считаешь, Мурод-Али?

— Для Зейнаб важнее бирюза, для тебя — вино, для меня — глина. Будь хоть алмаз, из него не сделаешь кувшин.

— Ах, Мурод-Али, когда ты научишься делать кувшины с вином, я брошу все и пойду к тебе в подмастерья.

— Прежде чем стать подмастерьем, я восемь лет ходил в учениках. Ты знаешь, наше дело из древнейших...

— Не зря же аллаха называли «формовщиком».

— Да, аллах слепил человека из глины, поэтому наш труд угоден богу. Вот, посмотри на это блюдо. — Усто выложил лепешки на скатерть и взял блюдо, расписанное желтым, коричневым, зеленым узором. — Видишь, оно покрыто трещинками, словно паутиной. Ты, наверное, даже не замечал их, но хороший гончар увидит сразу. Он скажет, в каком городе его делали, давно или недавно, где взяли глину, кто мастер, кто был его наставником, кто стал его учеником.

— А ты что скажешь про блюдо?

— Делали его в Шахрисабзе на улице Куллоли, расписывал усто Керим-баба, а обжигал подмастерье.

— Верно, — удивился Хайям. — Я действительно привез его из Шахрисабза, а вот имя мастера мне неизвестно, — помню только, что хромал на левую ногу.

— Это и есть Керим-баба. А хромым его сделали братья одной женщины, которую он любил щипать за зад. Подкараулили его в темноте, избили палками и бросили через стену кладбища. А он упал на камень и сломал ногу.

— Собаки! — воскликнул имам. — Разве зад их сестры лепешка, чтобы уменьшиться от щипков? Такого достойного человека сделали хромым!

— О нем рассказывают и такое...

— Поведай мне, Мурод-Али. — Хайям налил гончару чай, себе вино — из дикого черного винограда.

— Рассказывают, был у него ученик Юсуф. Не помню, семь или восемь лет прошло, пока Керим-баба позволил ему сесть за гончарный круг. Всему научил — формовке, приготовлению красок, начертанию узоров, обжигу. Наконец настал день, когда подмастерье сказал: «Теперь я знаю то же, что и ты. Пора мне ставить на посуде свой знак». Сколько гончар ни уговаривал его остаться еще на год, Юсуф не соглашался. Ты ведь знаешь, молодые всегда торопятся, а тут как раз умер один гончар, юноша взял в жены его дочь, и мастерская досталась ему вместо подарка.

Получалось у него не хуже, чем у Керим-бабы, только блюда после обжига покрывались трещинками. Покупатели их не замечали, но он-то видел! Пробовал разную глину, огонь быстрый и медленный, краску густую и жидкую, а вынет блюдо из печи — опять трещинки. Долго мучился Юсуф, потом взял лучшее блюдо и пошел к мастеру.

«Усто, почему у тебя нет трещин на поливе, а у меня есть?» — «Потому, что ты поспешил назвать себя усто. Помнишь, я звал тебя остаться еще на год, зачем же пришел, когда тебя не звали?» — «Два года буду подмастерьем». — «Нет, — ответил Керим-баба, — до моей смерти. Тогда скажу».

Конечно, другой бы на месте Юсуфа засмеялся и пошел прочь. А он согласился. «Учитель, скажи скорее, в чем причина проклятых трещин, лишивших меня покоя?» — «Прежде чем ставить блюдо в печь, сдуй с него пыль».

Мурод-Али не спеша допил чай. Хайям молчал, разглядывая чашу с вином. Вздыхнул.

— Жаль, Мурод-Али, что я не слышал эту историю раньше и не смог рассказать ее своим ученикам. Может, они не торопились бы так спешно называть себя учеными, ведь в нашем деле сдуть пыль куда важнее, чем в вашем. Впрочем, это относится и к поэтам.

7. ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ, ЛЮДИ ПОД ЛУНОЙ

Хайям сорвал яблоко, обтер ладонью, но с сожалением вспомнил, что два передних зуба шатаются. А сорванное не приставишь... Досадую на необдуманный поступок, вернулся в библиотеку, прижал яблоком трепетавшую бумагу, где незачеркнутой осталась только одна фраза: «Переноса страдания, человек становится свободным».

...Зейнаб спала, прикрыв ладонью глаза. Голубое шелковое одеяло соскользнуло на кошму — Зейнаб спала, свернувшись, как плод в чреве матери, хотя она сама уже мать, и стоит приложить руку к животу, чтобы почувствовать нетерпеливое толкание младенца. Как не похожа она на девочку, думал имам, которая плакала в ту ночь, когда ушел Джинн, ушел Мурод-Али и они остались одни. Потом... Потом было много ночей, и она смеялась, не отпуская его. Чем больше он любил Зейнаб, тем жарче становилось ее частое дыхание, обжигая его до кончиков пальцев. Однажды, обессиленно разжав руки, он открыл глаза и испугался: карие глаза Зейнаб сузились и были злыми от желания.

Густые черные волосы завесили щеку и острый подбородок и шевелились от дыхания. Серебряный браслет на запястье оттиснул на бедре узорчатый след виноградного листа. Грудь тяжелая, как яблоко. Гладкая и совершенная, как яблоко.

Имам почувствовал слабость в ногах и опустил на колени перед суфой. Так же подломились у него колени, когда увидел Камень, вмурованный в стену Каабы. Он упал ниц, боясь встретиться взглядом с Камнем, чувствуя, как сам погружается в черную твердь. Тогда Камень сломил его своей бездушностью и неотвратимой истинностью; миллионы иступленных взглядов не оставили на нем даже царапины. Да, пророк знал силу и власть Камня — где кончалось человеческое, начинался Камень.

А та, что лежала перед ним, свернувшись, как дитя, наполняла его радостью, жизнью и ужасом перед смертью. Тяжелый купол живота, полная грудь, обжигающая ладонь, влажные зубы, белеющие сквозь густые волосы, — вот Кааба его любви, яблоко его веры, его последняя молитва богу.

Ночи в его жизни были радостнее дней — так случилось. Годы работы в Исфаханской обсерватории научили его ночному бдению и отваге мышления. Ночью мир спал и не подсматривал за ним тысячу глаз. А днем досаждали люди, суета, молитвы, глупые советы сестры.

Иногда в обсерватории забрасывали все дела и предавались кейфу. Пили, но продолжали спорить о происхождении и движении

звезд. Смеялись друг над другом, дурачились, зная, что обсерватория — одно из немногих мест во всей державе Великих Сельджуков, где можно говорить громко, не опасаясь длинных ушей доносчиков. Они называли звезды именами любимых и даже тех, чью ласку покупали за несколько дирхемов в развалинах Исфахана, где жили зороастрийцы. Когда же Малик-шах оттиснул на первом листе «Звездных таблиц» золотого льва Большой печати, названия звезд в мире ислама стали такими же незыблемыми, как имена Али и Абу-Бекра.

Хайям с удивлением посмотрел на свою морщинистую ладонь, нежно сжавшую грудь Зейнаб. «Воистину, моя рука умнее головы», — усмехнулся он. С трудом поднялся с онемевших колен, укрыл одеялом обнаженную возлюбленную, вместившую в себя все, что отныне составляло смысл и радость его жизни. А яблоко оставил возле маленькой ковровой подушки.

Деревья в саду высветило лунным светом. Запах цветущих гранатов и жасмина вплетался в нежное дыхание раскрывшихся цветов шиповника. Луна, плывшая в черном небе, казалась срезанной желтой розой в бассейне, до краев наполненном водой. Он вспомнил слова поэта и обрадовался, что они живут в мире:

Роза — дар прекрасный рая, людям посланный на благо,
Станет сердцем благородней тот, кто розу в дом принес.
Продавец, зачем на деньги обменять ты хочешь розы?
Что дороже розы купишь ты на выручку от роз?¹

Но сам он больше любит шиповник. В это время года на кустах редки цветы — удивительные, вечером и на рассвете побеждающие все другие запахи сада; зато созрели круглые зеленые плоды, полные пушистых семян, — отвар из них целителен при многих болезнях, но особенно когда кровоточат десны и шатаются зубы.

Знакомый садовник не раз предлагал ему по старой дружбе, а потому и дешево, саженцы знаменитых ширазских роз, но Хайям остался верен диким лесным цветам. Однажды, перечитывая рубайат Абу-ль-Хасана Кисаи, подаренный ему еще в Самарканде главным судьей Абу Тахиром, которому он посвятил «Трактат о доказательстве задач ал-джебры и ал-мукабалы», он нашел цветок шиповника, вложенный в рукопись. Лепестки истончились и стали хрупкими, но душистое дыхание их оставалось свежим и нежным. Нет, пусть розы цветут в стихах поэтов, сладко перешептываясь с соловьями, а в жизни ему милее шиповник — с детства он запомнил его, потому что веранда дома его отца Ибрахима была обсажена этими кустами. И траву между кустами отец косил сам, никому не уступая радости первым вдохнуть благословенный запах срезанной травы.

И в своем саду Хайям поступал так же, каждую весну путешествуя в детство. Когда в Багдаде великому слепцу Абу-ль-Ала аль-Маарри поднесли пиалу с водой, взятой из запасов каравана, только что пришедшего из Мааррета, поэт осушил ее и сказал: «Это вода моего детства».

¹ Перевод В. Левика.

Он погладил куст шиповника, и рука его стала мокрой от росы. Лепесток, неосторожно задетый рукавом халата, плавно опустился в арык и исчез, унесенный потоком.

В соседнем доме заплакал ребенок. Поплакал и перестал, — наверное, мать дала ему грудь. Скоро и его по ночам будет поднимать крик ребенка.

Когда Хайям возвращался в дом, под туфлей хрустнула сухая ветка. Еще в прошлом году сильным порывом ветра обломало старый орех, с тех пор ветка так и лежала, высушенная ветрами, солнцем, и, некогда гибкая и плодоносящая, легко переломилась под старческой ногой. Хайям поднял ее, вынес из дома нож и стал строгать дерево. Под острым лезвием вилась тонкая стружка, срез дерева в лунном свете переливался зеленью и краснотой, и даже темной синевой — как перья фазана.

Предсмертный крик овцы заставил его вздрогнуть; лезвие сорвалось с твердого сучка и поранило мизинец. Он полизал ранку. Уже не струился свежий аромат жасмина и шиповника, — по саду стлался душный запах теплой крови, хлынувшей из перерезанного горла. Он помнил этот запах с той такой далекой поры, когда его с матерью едва не затоптали в мечети. Обезумевшая толпа вжала их в резную алебастровую колонну. Нечем было дышать, но в помещении все вдавливались люди, стонавшие от ран и нестерпимой давки. Хотя мать укрывала его полой накидки, он видел седую бороду муллы, прямо на глазах красневшую от крови, струившейся с разодранного лба. Видел молодую женщину, сгорбленную, как старуха, — стрела пригвоздила ее ладонь к голени. Одежда ее была разорвана почти до пояса, и тело светилось, как алебастровая колонна. Со двора доносились стоны и хохот, пронзительные крики женщин, звонкий цокот копыт по каменным плитам площади.

Сколько раз с тех пор он видел людей, утиравших кровь! Кровь, пот и слезы. «Ах, об этом сокрушались и до меня», — подумал Хайям, досадуя, что все чаще мысль его, подобно прирученной птице, возвращается в клетку прошлого, а не стремится к неизведанному.

А солнце, еще невидимое за домами и деревьями, уже захлестнуло небо заревом восхода. Звезды стали прозрачными; отведя взор, трудно было найти их вновь.

Задиристо крикнул соседский петух, и сразу заплакал ребенок. Слепые муэдзины начали утомительный путь по крутым ступеням к вершине минарета.

За высоким глиняным дувалом проскрипела арба. Чей-то голос тихо напевал песню о неверной возлюбленной. Не иначе как заика Тимур везет на продажу свои молитвенные коврики. У кого в Нишапуре еще такой противный голос?

— Эй, Тимур, — крикнул Хайям, — разве мало тебе своего дома, что ты еще и мой оскверняешь своим гнусным пением?

Голос умолк.

Хайям открыл дверь и, перешагнув арык, ступил в прохладную пыль.

— М-мир, тебе, г-господин. — Заика Тимур, удобно сидевший на куче ковриков, с трудом согнулся — мешал живот. — Слышал н-новость? Н-ночью умер г-господин хранитель эмирских туфель, п-пусть аллах возьмет его з-за руку и ответит в рай.

— Легко ли он простился с жизнью?

— Об этом, г-господин, надо с-спросить его.

— И это верно. Кому же теперь эмир доверит свои туфли?

— Э-э, б-была бы халва, а рот найдется.

Хайям смотрел вслед вихлявшей арбе, а перед глазами его стоял балаганщик, схватившийся руками за лицо, и надменный хранитель эмирских туфель, гарцевавший на тонконогом белом скакуне. Тогда он даже не обернулся на крик окровавленного человека, а сегодня ночью, может быть, сам вопил от ужаса и боли. А туфли? Что туфли? Парчовое шитье их сто лет не потускнеет, и потные эмирские пятки разве что оставят вмятину в козлиной подкладке да скособочат каблук.

Зажмурившись, он смотрел на разгоравшееся солнце. Оранжевое марево дрожало в прищуренных глазах и вдруг угасло — прохладные ладони прикрыли его глаза. Он прижал их к губам и снова к глазам.

— Господин, уже чай готов. И твои любимые лепешки с медом.

— Помнишь, однажды я тебе сказал, что лучше чая вино...

— А лучше вина женщина, а лучше женщины — истина, — смеясь, скороговоркой закончила Зейнаб.

— Да, так я тогда сказал. А сегодня, гуляя по саду, понял — все это пустое. Все в мире имеет вес и протяженность, объем и время бытия, но нет такой меры вещей — истина. То, что вчера считалось доказанным, ныне опровергнуто. То, что сегодня считают ложным, завтра твой брат будет учить в медресе. И не всегда время — судья понятий. Сколько болтовни я слышал о себе! Хайям — доказательство истины, Хайям — скряга, Хайям — бабник, Хайям — пропойца, Хайям — богохульник, Хайям — святой, Хайям — завистник. А я такой, какой есть.

— А я, господин?

— Ты лучше вина и важнее истины. Давно хочу дать тебе денег, купи золотой браслет с колокольчиками, чтобы я издали слышал — ты идешь.

Но и без браслета с колокольчиками он услышал весть о Зейнаб...

...Хайям шел по коврам, устлавшим улицу Вышивальщиков — кривую, как нож. Шел, шаркая ногами и опустив голову, и в глазах рябило от пестрых цветов и узоров. Сто тысяч узелков связали проворные пальцы женщин, прежде чем грубая основа стала ковром, похожим на весенний сад. А человек куда сложнее и прекрасней, хотя соткать его гораздо проще — достаточно связать две нити. Нет узла сложнее этого, только смерть может его порвать. И она рвет.

Но как же так?

Как же случилось такое, великий и всемиловитый? Не успело

масло выгореть в светильнике, яблоко, сорванное вчера, так же румяно и душисто, а мою возлюбленную отнесли на кладбище Хайра, и мулла прогнусавил над ней суру «Ясин», которую читают над покойником, и в изголовье могилы вылили кувшин воды!

Как же так, всевидящий и всемогущий? Я ждал, когда мне вынесут ребенка, а лекарь вышел с пустыми руками... Пусть я недостоин продлить свою жизнь, — возьми ее, но зачем ты отнял жизнь Зейнаб? Да, я злословил, спорил с тобой, подшучивал, но я верил всем твоим делам. Какими глазами мне теперь смотреть на тебя, если между тобой и мной — Зейнаб, заживо изрезанная ножом? Я-то, старый глупец, писал, что любовь — стон соловья, а это — стон человека, умирающего на твоих руках. Да, господи, все мы твои рабы, глина, из которой ты лепишь нас по своему умыслу. Но ведь не будь нас, что было бы с тобой? Разве не ты сказал устами пророка: «Создали мы человека и знаем, что нашептывает ему душа его, и мы ближе к нему, чем яремная вена»? Где же ты был, всесущий, что не услышал жалобных криков моего ягненка, что кровь ее не забрызгала тебя?

Имам шел по пыльным коврам, и слезы отмечали его путь. Бегали босоногие мальчишки, трусили ишаки с поклажей, шли мужчины и женщины, и все, встретив Хайяма, молча уступали ему путь и смотрели вслед.

Придя домой, старик наполнил пиалу вином рейхани. Поднес к губам и в гневe выплеснул на пол.

«Ты обмануло меня, вино! Сердце мое пусто, как ладонь... Пусть я отныне умру от жажды, но не спасусь от нее вином. Пусть не будет мне радости. За что я проклял, если приношу одни страдания моим любимым? Смешливая Ясмин — первая, кому я открыл сердце... Грудь ее была такая высокая, что тень падала на землю, и я еще смеялся, что по тени от ее груди могу узнать час молитвы. Где она? Когда мы шли к кади, чтобы стать мужем и женой, мастер, украшавший купол мечети, выронил тяжелый изразец; бедная, она даже не вскрикнула... Мой первый учитель Мухаммад-и-Мансур, где он? На каком базаре его продали в рабство, уведя на веревке из Балха? Низам ал-Мульк — моя опора во всех начинаниях, построивший обсерваторию и академию, — где он? Упал лицом на землю, когда в спину вошел исмаилитский нож. А египтянка Кора — смуглая, гибкая, неукротимая в любви? Я дал ей имя ал-Мусика — Музыка; ее горький голос сводил меня с ума. Хотя она была невольницей, ее нарядам завидовали все красавицы Самарканда. Она красила кончики пальцев, и я, как помешанный, твердил: «О, ал-Мусика!» Где ты, струна моей души?.. Я вернулся от судьи Абу Тахира, а рукописи были в крови твоих убийц, а горло твое сдавлено шнурком. О, ал-Мусика, что ты защищала — свою честь, мои рукописи? Я никогда не узнаю.

И вот теперь Зейнаб... Я растил ее нежностью и лаской, я терпеливо ждал, когда она повзрослеет для любви. Если на мне заклатье, то почему падают самые дорогие вокруг меня, а я стою?!

...Тихо скрипело перо, оставляя черный след на бирюзовой самаркандской бумаге. Слеза, сорвавшись с ресниц, размывала горестные слова.

О небосвод! Ты постоянно огорчаешь мое сердце,
Рвешь рубашку моего счастья.
Ветер, дулющий на меня, ты обращаешь в пламя,
Воду, которую я пью, ты во рту превращаешь в пепел.

Он не мог остановить слезы...

Он согласился бы своими руками разжечь костер и швырнуть в него все книги, свои и чужие, подставить спину тысяче плетей, только бы вновь услышать тихий смех Зейнаб, почувствовать ее ладонью пуговчатую куропатку ее сердца, коснуться губами ее губ, сладких, как финики «деглет нур» — «солнечный пальчик». Он снова увидел ее густые черные волосы, перевязанные пурпурной шерстяной лентой, младенчески выпуклый лоб, треугольно открытый под шатром волос, и брови, пушисто сросшиеся на переносице, и всегда непокорный завиток на левой щеке.

Желтая луна дрожала, как отраженная в реке, то скрываясь за огромными медлительными облаками, то золотой монетой выкатываясь сквозь прорехи в них, раскрашивая спящий город нежно-желтым, синим, коричневым. Ночные стражи давно перегородили улицы тяжелыми цепями, чтобы вор или пьяный зороастриец-гуляка не смущали покой горожан. Тихо в благословенном Нишапуре — родине его слез. Только веселые дрозды клюют переспевшие абрикосы, и они с тихим всплеском падают в арык, да сорванные ветром листья шуршат у глиняных дувалов — утром их соберет и сожжет господин увлажнитель улиц.

Мирная тихая жизнь, пахнувшая дымом очага и свежеепеченной лепешкой, идущая, но не уходящая, каждодневная, кропотливая, сегодня такая же, как вчера, завтра такая же, как сегодня. Жизнь, в которой едят, спят, молятся, прядут, вышивают, куют железо, обжигают кирпич, рожают, хоронят, поливают, сажают, пишут касыды, обрезают виноград, рубят головы, сбивают масло, покупают, продают.

Крутится веретено, вращается гончарный круг, продолжается жизнь, то прибавляясь, то убывая. Воистину.

Сколько раз в Исфахане он с остановившимся сердцем провожал взглядом огненный росчерк упавшей звезды, прежде чем так же стремительно и нестерпимо ярко вспыхнуло в нем прозрение: звезды рождаются и умирают. Как люди, как яблоки, как птицы... Как все сущее. Тогда он даже Джинну не осмелился сказать об этом. А может, не мужества не нашел в себе, а слов и доказательств? А теперь, когда угасла последняя радость его жизни, яркая, словно звезда Сухейль, ничто не изменилось, не остановилось в этом мире.

И сейчас он сидел на плоской крыше, но не видел звезд — горе завесило мир серой душной завесой. Сжав седую голову ладонями, старик раскачивался из стороны в сторону, то жалобно всхлипывая, то бормоча.

— В одном месте звуки рубаба, в другом — горестный плач; в одном — беседа мудрых, в другом — пьяная болтовня; в одном месте — юные красавицы, в другом — прокаженные. Так и не знаю я, из чего создан этот мир — из радости или горя?

— Из радости и горя, брат! Или, если угодно аллаху, из горя и радости! — крикнул кто-то из темноты.

Хайям вздрогнул от неожиданности.

— Именем аллаха, кто там?

— Это я, ал-Сугани. Спусти мне лестницу, я принес тебе поесть.

— Поесть? И ты можешь говорить о еде в такую минуту?

Хайям спустил лестницу, и Абдаллах ал-Сугани по прозвищу Джинн, кряхтя, поднялся на крышу, держа перед собой увесистый узел с едой. На нем была длиннополая полосатая аба и неряшливо закрученная чалма с длинным концом. Сняв туфли, он сел рядом, обнял старого друга, и Хайям, как ребенок, прижался к его широкой груди.

— Абдаллах-хан, что мне теперь делать? Лучше бы мою жизнь взял господь, лучше бы мою кровь пролил, мои глаза закрыл!

Впервые за тридцать шесть лет, что они знали друг друга, Хайям назвал ал-Сугани по имени, и тот почувствовал, как комок подступил к горлу.

— Знаю, брат, утешения здесь излишни, и даже сам Абу Али не нашел бы средство, останавливающее кровь души...

— Ты помнишь, как Мурод-Али привел ее в мой дом, когда мы играли в шахматы, и она еще спросила тебя, любишь ли ты плова с рейханом или шафраном? А теперь ее нет!

— Не ново, но страшно, — грустно ответил Джинн. — Ты знаешь, молодость я провел в Герате, который ты считаешь родиной винограда. Да, винограда там и правда вдоволь, по крайней мере, в мои годы каждому хватало. Купишь лепешку, сорвешь самую спелую гроздь, и считай, что сыт. А если купец или чайханщик закажут вывеску, тогда и дирхемы зазвенят в кошельке. Много ли человеку надо, если он молод и здоров? А я тогда на спор разбивал ударом кулака обожженный кирпич и никому не уступал дорогу. Однажды, когда я шел с базара, мне встретилась девушка верхом на вороном коне. Поверишь, я только взглянул на ее пальцы, сжавшие поводья, и увидел ее всю — без накидки, паранджи и шальвар. И я пошел за девушкой и конем. А вечером отдал все, что накопил, одной пронырливой старухе, только бы она передала красавице, что моя жизнь — поводья в ее ладони. Девушку звали Фатима — «Отнятая от груди», ибо она рано лишилась матери, и ее воспитывал дядя, торговавший в Герате изюмом. А еще она приходилась родственницей Абдаллаху Ансари — да будет милость аллаха над ним! — и это о Фатиме он сказал: «Браслет на твоём запястье — обруч на шее моей». И вот эту красавицу я захотел, и она меня захотела. А ты ведь знаешь, в Герате люди не спрашивают: «Кого взял в жены?», а: «Сколько отдал бирюзы и шелка?» А где мне было взять бирюзу и шелк, если я был рад ячменной лепешке? И если бы не доброты одного туркмена, давшего мне двух беговых верблюдов, я так и не увидел бы ее лица.

— Верблюды стоят дорого, Абдаллах-хан.

— Да, так мне ответил и туркмен. Но я был с ним как сын с отцом, рассказал всю правду и попросил совета. «Хорошо, — сказал

он, — бывает, человеку кажется: его жизнь зависит от вещи, а денег у него нет. Но не всегда цена — это деньги. Если ты любишь девушку так, как говоришь, и готов отдать жизнь ради нее, отруби три пальца на левой руке — пусть будет доказательством. Сын мой выберет самых быстрых верблюдов и проведет вас через пески в Ургенч». Он так сказал и вытащил из ножен кинжал...

— И ты отрубил? — крикнул Хайям.

Джинн поднял левую руку с тремя обручками.

— Ах, Джинн! Помнишь, в Исфахане я спросил тебя, где ты изуродовал руку, а ты засмеялся в ответ.

— Я засмеялся, чтобы не заплакать. Но рука зажила, и мы с Фатимой были счастливы. На деньги, вырученные за ее украшения, мы купили дом с огородом, и я смог изучать науки. Через полтора года у нас родился сын — Хуссейн. Мы с женой не уставали любоваться им. Но однажды в пятницу я пришел из мечети, а мой сын умер — играл костяной пуговицей, положил в рот и задохнулся...

Старики молча сидели на крыше. Луна грустно улыбалась им. Над черными башнями Ворот Праздника уже розовело небо. Старое ореховое дерево в саду проснулось и, словно со сна, расправило могучие ветви. От легких дуновений ветра покачивались тонкие побеги душистого горошка, густо переплетенного стебельками; розовые, белые, фиолетовые, пурпурные, изящно загнутые лепестки, соединенные попарно, отсюда, с крыши, были похожи на рой бабочек. Наверное, поэтому бабочки всегда кружатся над душистым горошком. Над головой грозно прожужжал жук — полетел за белыми сладкими ягодами тут. Соловей выпорхнул из куста жасмина, сел на шелковицу, любопытно вертя серенькой головкой. Горло птички мелко вибрировало, она то заливалась переливчатым свистом, то умолкала.

— Вот так, Джинн, уходят наши дни...

— Что ж, Абу-л-Фатх, уходят. Читал я в одной книге неверных: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать...» Остальное не помню.

— Кто бы он ни был — неверная собака или правовеерный — в моем доме он был бы гостем. Такие слова рождаются трудно... Ты лучше других знаешь, что я был лишен возможности заниматься наукой, не оглядываясь по сторонам.

— То же сказал мне Бируни: «Настоящее время не благоприятствует науке».

— Ему ли не знать? Ведь это его султан Махмуд велел трижды в день сбрасывать с крыши дворца на землю, дабы Бируни оставил мысль о вращении Земли и собственным мясом и костями убедился: Земля твердь, и твердь неподвижная. Да, мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей. А большая часть тех, кто сейчас имеет вид ученых, притворяются знающими. Меня называют скупым в сочинениях. Это так. Зато они щедрЫ в глупости и бездоказательности; их ослиный рев заглушил голоса истинных искателей ответов. Разве

мне самому не пришлось поспешить в Мекку, чтобы сохранить глаза, уши и голову? Разве твою мысль не утопили, завязав в мешок? Но не в том самое горькое, Джинн, хотя много приходится претерпевать от властителей, богословов, невежд. Горька сама наука. Я зашел слишком далеко по дороге познания и остался в одиночестве. Увы, мне уже не дожидаться, когда меня поймут, а самое страшное — отречься от своего знания.

— Так, Гийас ад-Дин, и все-таки наши учителя измерили дугу меридиана между Тигром и Евфратом, Бируни определил длину окружности Земли, и сам ты создал календарь, превосходящий совершенством все, что было создано от сотворения мира. А твой ученик Аффан уже сейчас радует тебя и меня.

— Да, он смывленный мальчик. Всего год назад дядя привел его в медресе. Ты должен знать его — это переписчик Керим ибн Маджид.

— Как же мне его не знать, если это я и посоветовал ему отдать племянника в ученики Хайяму. Когда я шел к тебе, Аффан сидел у калитки, не решаясь войти в дом, и читал книгу. Я дал ему лепешку и жареную рыбу...

— Книгу? Какую?

— Мне показалось, это Джабир ибн Хайян. Помнишь, ты велел выложить его слова на дне бассейна во дворе обсерватории, чтоб, отдыхая, мы всегда видели их перед собой?

Хайям закрыл глаза, словно всматриваясь в узорчатое дно под прозрачной солнечной водой, и медленно прочитал: «Я работал руками и головой. Я упорствовал в своих поисках до тех пор, пока не достигал желаемого результата, который затем проверял».

— Я их не раз повторял мальчику, и надеюсь, сокровенное этих слов ему открыто. А почему он сидит у ворот?

Джинн пожал плечами.

— Если хочешь, я позову его.

— Пожалуй. И возьми на суфе халат, набрось на мальчика — прохладно.

А день начинался. На крыше уже стали различимы трещины в твердой глине, пятно от пролитого вина. Соловей вспорхнул и сел рядом, быстро выклеывая засохшие травинки и зерна риса.

Джинн и Аффан прошли по дорожке, обсаженной колючими кустами шиповника. Из дома мальчик вышел в голубом шерстяном халате, волочившемся по земле. Увидев учителя, он низко поклонился, украдкой глядя на Джинна. Тот подтолкнул его к лестнице. Хайям подвинулся на край ковра, освобождая место маленькому гостю.

— Вот не знал, что эмир мне выделил сторожа. Мы с Джинном старые совы, а ты почему не спишь?

— Прости, учитель, что я посмел прийти к тебе.

— Ничего, ночь ко мне снисходительнее дня.

— Дядя уехал в Мешхед за бумагой, а я занимался.

— Это похвально. И чем же?

— Я считал, сколько времени Луна движется от минарета Усмы

до минарета Марсие. Вчера я измерил расстояние между ними — двести восемьдесят шагов. А сегодня высчитал время — три раза пришлось перевернуть песочные часы и еще сосчитать до сорока. Значит, прошло девятьсот сорок секунд.

— И что следует из того?

— Я подумал, учитель, что предмет появляется и исчезает, если движется вблизи округлого тела...

— Сынок, ты сам понял это?! — взволнованно спросил Джинн. Но Хайям больно ушибнул его за бок.

— А как же червяк входит в яблоко с одной стороны и, прогрызая в нем ходы, появляется с другой? Как стрела из лука, поднятого над головой, исчезает из вида и снова падает на землю? Как караван входит в Нишапур через Ворота Помоши, а выходит из Ворота Канала? Ну, Аффан? Не торопись, сынок, подумай. Напомню тебе — истинным доказательством муж науки называет наиболее совершенное исследование посредством наиболее совершенного рассуждения. А то, что ты сказал нам, не доказательство. Ты можешь привести другое?

— Нет, учитель. — Мальчик виновато опустил глаза?

— И я не знаю, — улыбнулся Хайям.

8. УХОД

Двор был заставлен кувшинами и блюдами, а мастер все доставал из печи новые, медля выпустить из огромных ладоней. Щелкнув ногтем по обожженной глине, он прислушивался к звуку и ставил изделие на землю. С тех пор, как его друг — колодезный мастер — нашел в заброшенном раскопе удивительную голубую глину, Мурод-Али работал только с ней. Посуда из нее не билась и звучала гулко. Сырая глина замасливала пальцы и мылилась, как бобовая мука; она снимала боли в желудке и затягивала раны, очищала от горечи хлопковое масло и отбеливала овечью шерсть. Только однажды раньше видел Мурод-Али такую глину — в зеленом городе Шахрисабзе, у великого гончара Керим-бабы, назвавшего ее «землей аллаха». Для мастера эта глина была бесценной, как для гранильщика камней — алмаз.

Последним из печи мастер достал большое блюдо шириной в локоть, поклонявил палец и очистил поливу от горячей пыли, обнажив нежно-желтую, раскаленную глазурь. Пучком травы он бережно обтер блюдо, придиричиво любуясь красотой: на бледно-желтом круге, только по краю очерченном тонкой бирюзовой волной, горделиво распустил черно-зеленый хвост сиреневый павлин.

Поручив сыну работу, гончар омыл руки, переменял одежду и, завернув блюдо в кусок чистого холста, вышел из дома. На базаре он купил широкую корзину, сплетенную из гибких прутьев ивы, наполнил ее лучшим виноградом и, широко шагая, поспешил в квартал переписчиков книг.

После смерти дочери прошло восемь лет, и впервые за это время он шел к Омару Хайяму, услышав от младшего сына, что учитель

болен и уже месяц не встает с постели. Зато каждую среду после первой молитвы гончар шел на кладбище Хайре, где долго стоял на коленях перед могилой дочери.

Отвлечшись от невеселых мыслей, Мурод-Али заметил, что давно уже идет за человеком в черном шерстяном плаще, громко, как слепец, стучащим посохом. Когда человек остановился, рассматривая глиняные стены, мастер увидел лицо, прикрытое капюшоном, узкую черную бороду, крепко сжатые безусые губы. Он и раньше догадался, что идет за суфием, теперь убедился.

К воротам дома они подошли вместе. Над старым дувалом высоко росло огромное ореховое дерево, между яблонями и абрикосами виднелась крыша с расстеленными одеялами. Индюки с отвисшими носами что-то искали в пыли. Суфий и гончар ждали, когда им откроют ворота.

Сестра Хайяма провела мужчин на айван, застеленный белым войлоком. Вышла она с красным лицом, обиженно поджав губы.

— Брат просит вас переступить порог и быть гостями.

Мужчины оставили обувь у порога.

Хайям лежал на суфе, придвинутой к окну. Сейчас, без пышной зеленой чалмы, его бритая голова казалась непомерно большой и тяжелой для иссохшей шеи. Высокий морщинистый лоб навис над сгорбленным носом и впалыми щеками. Короткая борода и усы белели на коричневой коже, как мыльная пена, взбитая брадобреем. Имам приветливо оглядел вошедших и шевельнул рукой, лежавшей на пестром лоскутном одеяле. Мурод-Али низко поклонился; суфий, откинув черный капюшон, почтительно поцеловал худую руку.

— Учитель, я поздно узнал о твоей болезни.

— Не поздно, если я жив, Санаи. Я рад тебе. И тебе, почтенный усто. Прости меня, если можешь.

— В моем горе нет твоей вины — на все воля аллаха. А я принес тебе подарок. — Мурод-Али развернул холст и стал перекладывать гроздь из корзины на блюдо.

— Виноград отдай сестре. Блюдо... — Гончар осторожно опустил на протянутые руки блюдо, сразу прижавшее исхудавшие ладони к одеялу. — Усто, зрение мое ослабло, но пальцы послушны — они не видят ни одной трещинки. Я помню твой рассказ о пользе сдувания пыли. Обещай рассказать его шейху Абу-ль-Маджиду Санаи — он оставит его в назидание людям. А это твоя тамга? Две линии пересекают третью... Если бы мне понадобился знак, я выбрал бы его. Верно, Аффан? Аффан!

— Абу-л-Фатх, в этой комнате нет никого, кроме нас.

— Позови ученика.

Юноша в лиловой шапочке и синем халате, задумавшись, шел по дорожке сада. Трудно было узнать в нем испуганного мальчика, которого привел в медресе переписчик Керим ибн Маджид. Теперь он сам стал преподавателем, сменив больного Хайяма. Он успел побывать в Исфахане, три года изучал алгебру, логику и теорию музыки в багдадской академии Низамийе, его способности заметили в Мерве, при дворе султана Санджара. Сейчас Аффан как раз думал: переез-

жать в Мерв или остаться в Нишапуре? Увидев суфия, юноша остановился.

— Учитель тебя ждет.

— Сынок, это мои друзья — шейх Санаи и усто Мурод-Али. Если бы здесь стояли султан и визирь, радость моя была бы меньше. Посмотри тамгу, оттиснутую на блюде, на что она похожа?

— Здесь три линии... На пятый постулат Евклида!

— Мурод-Али, спасибо за прекрасное блюдо. Без него я мог бы забыть о важном. Аффан, — Хайям погладил руку юноши, — ты делаешь первые шаги в науке, но шагаешь как скороход. Запомни: у этого пути есть начало, конца у него нет. На этой дороге нет ни попутчиков, ни колодцев с водой, ни деревьев с прохладной тенью, защищающей от зноя. Как нет верблюдов и коней, сокращающих путику расстояния. Запомни слова Евклида: «В геометрии нет царской дороги». Нет ее и в алгебре, и в астрономии, и в алхимии. Если тебе страшно, остановись.

— Я не боюсь, учитель, — ответил ученик.

— Страх придет после. Обязательно придет, когда ты остановишься перед пропастью. Даже в рай есть мост — Ас-Сырат. Хотя он тоньше волоса и острее клинка, аллах ведет по нему правоверных. А через незнание нет ни мостов, ни обхода, ни провожатых.

— Не пугай его, Абу-л-Фатх. Своими знаниями ты вымостил столько царских дорог!

— Ты поэт, Санаи, а у поэтов свои дороги: когда путь поэта преграждает море, он становится рыбой; если пропасть — птицей. Все превращения ему доступны, но ученый, продвигаясь вперед, не может оставить за собой даже пяди незнания, не вспаханного доказательством. Ты думаешь, я пугаю мальчика небылицами? Но вот одна из бездн. — Хайям постучал ногтем по тамге, оттиснутой на блюде. — Имя ей — пятый постулат Евклида! Я даже не помню, сколько лет над ним бился, пока не понял — этому нет доказательства.

— Учитель, я тоже думаю о параллельных линиях.

— Сынок, твои слова причиняют мне боль...

— Учитель, ради аллаха милосердного, я не хотел!..

— Я прощаю тебя и прошу, стоя на пороге жизни: не пытайся отыскать ключ к параллельным линиям! Я изучил все пути до конца; я горбился и поседел, одолевая их. Я прошел весь беспросветный мрак этой ночи, и всякий светоч, всякую радость жизни я в ней похоронил... Какой сегодня день?

— Четверг, — поспешно ответил Аффан; в его голубых глазах стояли слезы. — 12 мухаррама 526 года¹.

— Четверг... День Юпитера, он указывает на справедливость визирей и праведность кадиев, факиров и людей веры. Если год начинается с четверга, добра будет много, и умножатся дожди, плоды, деревья и злаки, подешевеют лен, хлопок, мед и виноград,

¹ 4 декабря 1131 года.

и много будет рыбы. Аффан, скажи сестре, чтобы хорошо накормила тебя. И ступай домой — завтра тебя ждут ученики.

— Учитель, я учу их только тому, что узнал от тебя. И сейчас прошу совета: шейх Абу Бекр Мервази зовет меня к престолу султана Санджара. Не знаю, как быть?

— Одни султаны любят драгоценные камни, другие увлекаются соколиной охотой, третьи со всего царства собирают красавиц в гарем, четвертые — ученых мужей. И Джинн, и я испытали это. Ты сам должен решить, где твое место, а я хочу напомнить: наилучший из султанов тот, кто часто общается с людьми знания, и наихудший из ученых тот, кто часто общается с султаном. Я верю, ты не ошибешься в решении.

Имам проводил Аффана ласковым взглядом, прощаясь.

— Скорее принесите уксус! — Санаи взял бессильную руку Хайяма — сердце билось неровно и слабо.

Вбежала сестра. В пилалу с горячим козьим молоком Санаи отсчитал десять капель густого настоя и поднес к губам больного. Обтер уксусом виски, потный лоб. Через минуту имам открыл глаза — медленно, издалека возвращался к ним свет и разум. Он пошевелил губами, собираясь что-то сказать, но сестра тут же напомнила:

— Брат, врач не разрешил тебе говорить.

— Если бы только врач! Всю жизнь я придерживал поведенья языка, мой рот в кровь истерт железными удилами.

— Твоя сестра права, Абу-л-Фатх.

— Она всегда права, Санаи, но уже поздно. Помнишь, я послал тебе рубай:

Всевышний мастер, который создавал людей,
Не знаю, зачем создал их с изъянами и недостатками?
Если хороши эти формы, зачем было их разбивать?
А если не хороши они, чья же вина?

Тогда ты мне ответил, помнишь?

— Помню.

— Скажи.

Санаи прочитал красивым звучным голосом:

Что плоть твоя, Хайям? Шатер, где на ночевку,
Как странствующий шах, дух сделал остановку.
Он завтра на заре свой путь возобновит,
И смерти злой фарраш¹ свернет шатра веревку².

— Вот фарраш и свернул веревку моего шатра. Помню, мой учитель шейх Мансур назвал одного человека трусом, хотя его лицо украшал сабельный шрам. Человек крикнул: «Ты лжешь! Я воин и не раз смотрел в лицо смерти». Шейх Мансур ответил, а я запомнил: «Все мы с первого дня рождения смотрим в лицо смерти. Даже когда спим, мы смотрим ей в лицо».

¹ Фарраш — слуга.

² Перевод О. Румера.

— Разве ты раньше не болел, Хайям? Разве, болея, не выздоравливал? Скоро ты сам улыбнешься своей печали.

— Не надо слов, добрый Санаи. Раньше я болел, а сейчас умираю — в этом вся разница.

Хайям закрыл глаза. Санаи сделал знак гончару, показывая на занавеску. Молча они сидели на айване, пока муэдзин не призвал правоверных к молитве. Оба опустили на колени лицом к Кыбле¹, прося аллаха продлить дни жизни Хайяма.

Частые капли дождя застучали по листьям, в арыке вскипали пузыри, серебряные гвоздики капель прибили к дороге мокрые листья. Сад, иссеченный косыми струями, окутался дымкой испарений и нежным запахом увядания. Мурод-Али вспомнил о блюдах и кувшинах, оставленных во дворе, — сейчас, омытые небесной водой, они расцвели, как тюльпаны в долине, но им нужен теплый ветер, а не сырость. Что ж, дети знают дело не хуже отца, и беспокойство излишне. Трех сыновей и дочь принесли ему жены. Сейчас остались сыновья — Муса, Керим, Мурод-Вафо. Хвала аллаху, будет кому обмыть его тело на досках и отнести на кладбище — рядом с Зейнаб.

А Санаи думал о своем. О Мерве, где за молодым Хайямом толпой ходили младшие ученики медресе. Уже тогда он выбрал дорогу, о которой сегодня говорил ученику, и шел по ней, пока хватило сил, уйдя так далеко, что идущие следом потеряли его из вида и вряд ли догонят через сто лет. Шейх Санаи чувствовал, как его сердце истекает, словно сургуч на огне, и кусал пальцы от горя. Он осторожно прошел в библиотеку, где лежал Хайям. Бережно взяв руку, Санаи прислушался к пульсу — удары сердца отдавались в пальцах, как запоздалые капли дождя, срывавшиеся с веток.

Но Хайям не спал — он лежал, надеясь, что так ему никто не помешает. Слишком мало времени осталось быть наедине с собой. В эти минуты он видел себя шестилетним мальчиком с черной косичкой на бритой голове. Отец с утра ушел в мастерскую, мать готовит обед. Проходя мимо Омара, она обязательно целует сына, а если руки свободны и не в муке или масле, обнимет и прижмет к груди. Но масло в доме бывает редко, по праздникам. Полтора мана² пшеничного хлеба стоят дирхем, и три мана ячменного хлеба стоят дирхем, поэтому мать покупает только ячменный. Отец кроит и шьет с утра до вечера, иногда надолго уходит из дома и возвращается усталый, но обязательно с подарком для Омара — свистулькой или горстью засахаренных орехов. Гости к ним не ходят, зато Омар любит ходить к соседям — его кормят.

Посреди комнаты висит деревянная колыбель, подвешенная к потолку на четырех веревках, в ней недавно поселился младший брат Омара — Юнус. Его поят молоком из деревянного рожка, и он смешно чмокает губами, пуская пузыри. Омар, сложив за спиной руки и привстав на цыпочки, часами смотрит на брата, удивляясь,

¹ Кыбла — сторона, в которой находится Мекка.

² Ман — шесть килограммов.

что он такой маленький и не умеет говорить. Он даже перестал играть на улице — так интересно смотреть на малыша. Но однажды ночью Омар просыпается от крика матери и, затаив дыхание от страха, видит сквозь дырку в одеяле, как мать целует братишку и плачет, а отец молча перерезает ножом веревки колыбели. Приходят соседки и, обнимая мать, тоже плачут. Так страшно! Какая-то старуха ведет Омара за руку в чужой дом и кормит пловом, и жалеет его. Через три дня за ним пришел отец; его черная борода поседела. «Отец, ты испачкал бороду мукой?» — спросил Омар.

Через несколько лет, когда он уже окончил мактаб¹ и начал учиться в медресе, родилась сестра; отец снова подвесил к крюкам люльку, но Омар больше не подходил к ней. Часто он убежал подальше от дома и, сев на корточки под деревом, думал о Юнусе. Иногда ему казалось, что он только во сне видел брата, потому что отец и мать никогда о нем не вспоминали, а он помнил. С детства он привык находить ответы — неизвестность мешала жить, от нее чесалось тело и пропадал сон. Однажды, когда отец уехал в другой город, Омар спросил у матери, чистившей золой медный афтобе: «Мама, а Юнус к нам никогда не придет?» Мать, выронив кувшин, зажала рот грязной ладонью. Утерев слезы, она рассказала сыну, что, когда умер Юнус, у них с отцом не было даже медной фельсы, и они на коленях просили чужих людей, спешивших на кладбище, положить в могилу и Юнуса. Видно, у тех людей было доброе сердце, потому что, сами измученные слезами, они услышали чужое горе. И маленького Юнуса положили в землю и вылили на могилу воду, а мать никогда больше не встречала тех людей, и никто не мог указать ей могилу сына среди чужих могил.

Вот о чем думал Хайям. Он печалился, что, побывав в Мекке и Багдаде, Самарканде и Балхе, Газне и Герате, так и не пришел к единственному брату. «Мы виноваты, брат, но я уже иду к тебе. Я возьму тебя на руки, и мы всегда будем вместе. Ты, конечно, не узнаешь меня, Юнус, ведь мне тогда было шесть лет, а сейчас восемьдесят два, зато я знаю столько интересных сказок, умею делать свистульки из глины и камыша и бумажные лодки».

Хайям услышал тихие шаги — вошла сестра.

— Брат, ты спишь?

— Да, сестра, я сплю.

— Но ты же говоришь со мной!

— Это во сне.

— До шуток ли теперь? Пришел имам Мухаммад ал-Багдади.

— Разве ты ему больше не жена, что называешь его так пышно? Скажи: «Пришел твой свояк», — я пойму. Если он пришел поучать меня, ответь, что я умер. А если навестить больного, пусть войдет.

Имам Мухаммад ал-Багдади искренне заботился о людях, но своими бесконечными наставлениями и советами так надоел им, что, завидев в конце улицы его огромный белый тюрбан и темно-русую бороду, люди запирали ворота, как перед нашествием врага. Мухам-

¹ Мактаб — начальная школа.

мад ал-Багдади не замечал насмешек, потому что желал ближним добра, но эти пожелания терпеливо сносила только его жена, еще в детстве оглохшая на левое ухо.

Почтенный имам вошел с полной корзиной трав, мазей, втираний; в одной банке извивались болотные пиявки, в другой хранились засушенные скорпионы. Тут же лежали печень зайца, жир барсука, медвежья желчь и еще какие-то снадобья, достаточные для умерщвления десяти самых крепких людей.

Свояк с трудом поднял корзину, чтобы Хайям поразился могуществу современной медицины.

— Имам Гийас ад-Дин, я пришел исцелить тебя! Я два дня беседовал с лучшими врачами Нишапура и поспешил тебе на помощь. Да будет тебе известно, что сотворил аллах в человеке сердце, и селезенку, и легкие, и шесть кишок, и печень, и две почки, и две ягодицы, и костный мозг, и кости, и кожу, и пять чувств...

— Дорогой свояк, а еще аллах дал каждому из нас язык. К сожалению, у некоторых людей он длиннее шести кишок и шире двух ягодиц, и от болтунов больше бедствий, чем от чумы.

— Да, да, я, кажется, читал об этом в одной редкостной книге...

— Где же ты взял ее? По-моему, у вас дома только одна книга.

— Книг у нас пять, но ту я читал в Багдаде.

— Там в нише лежит книга, обернутая в красный шелк...

Мухаммад ал-Багдади достал нужную книгу. Это была «Книга исцеления» Ибн Сины, написанная каллиграфом на тонком белом пергаменте, украшенная редким переплетом из сандаловых дощечек. После чтения пальцы долго пахли душистым деревом. Найдя главу о едином и множественном, Хайям, водя пальцем по строкам, прочитал нужное место и заложил страницу золотой зубочисткой.

— Скажи сестре, чтобы послала за Абдаллахом ал-Сугани в квартал кузнецов. И пусть приготовит самый лучший обед для моих гостей. За вином попроси сходить Санаи. Деньги у меня под подушкой. Десять динаров...

— Но ведь ты не пьешь!

— Ступай и сделай, как я сказал.

Хайям остался один. Он ждал боли. Обидно, что боль отнимет у него последние силы, которые так нужны ему сейчас, и он, вместо того чтобы обратиться к аллаху, будет снова кричать и задыхаться. Как глупо, что он так долго откладывал приготовление к смерти! А ведь за жизнь, как за баню, платят при выходе. Чем же заплатить ему? Он оставляет людям знание и крылатые рубаи, разлетевшиеся неведомо куда. А у Мурод-Али останутся трое сыновей — это достойное оправдание перед богом, ибо знание, как бы бесценно оно ни было, похоже на сокровища, спрятанные в тайнике или розданные нуждающимся. А дети — это сад, цветущий и плодоносящий, бесконечное продление жизни. У него был отец Ибрахим, и у Ибрахима был отец, прозванный Мешочной Иглой, и у того был отец и у того... И нет конца корню, уходящему во время, как нет числа ветвям, разросшимся от ствола.

Но разве его книги рождены не им? Разве его рубайят — не его

дети? Разве он не огорчался за них и не радовался им? Не обманывая себя, Хайям: имам ал-Багдади тоже скрипит пером, зачерняя бумагу; никчемный рифмоплет Нишапури строчит касыды, и торговец бумагой изводит тюки бумаги. Нет, ты поплясал, как кукла балаганщика, — и снова пора в сундук, в дорогу. Мир не стал богаче с твоим приходом и не обеднеет, когда ты уйдешь.

А ученики? Санаи, Абу-л-Хотам Исфазари, Низами Арузи, Абдар-Рахман Хазини, ал-Байхаки, Аффан... — их много, просто некогда вспомнить всех. Но сколько ни вспоминай, Хайям, такого, как Джуджани у Ибн Сины, у тебя никогда не было, хотя ты ждал его всю жизнь. Как молитва, совершенная в Мекке, равна ста тысячам молитв, так и Джуджани дороже тысячи учеников. А может, ты был плохим учителем, скупым на доброту и откровение? Все говорят о твоей скупости, и только покойники могли бы свидетельствовать о доброте. Ясмин, Кора, Зейнаб... Золотой браслет с колокольчиками... Пушисто сросшиеся брови, шатер душистых волос над выпуклым детским лбом...

Он протянул руку, глядя этот лоб, но пустота не дала ей опоры, и рука упала. Восемь лет...

Сейчас, как сорванный давным-давно цветок шиповника, ты вдохнул ее нежный запах и поднимаешься за ним все выше — пылинкой, подхваченной солнечным ветром. И мысли твои плывут, как облака, — отрешенно и недостижимо для людей. Ах, если бы не Джинн, ты дунул бы на тончайшую паутинку, еще связывающую тебя с землей, и поднялся навстречу облакам и восточному ветру.

Слабый вздох слетел с бескровных губ, даже не пошевелив седых усов. Так тяжело было открыть глаза, так нестерпимо полыхало закатное небо! Растаял аромат шиповника, запахло жареным луком и вонью алхимиков.

— Абдаллах?

Абдаллах ал-Сугани смотрел на друга, едва шевелившего губами, и молча плакал.

— Ты пришел, брат?

Джинн склонил голову.

— Теперь тебе не надо торговаться с ибн Аббадом. Позови «чистых», я хочу оставить завещание. Пусть войдут Санаи и мой свояк.

Джинн позвал шейха Санаи и имама ал-Багдади.

Когда они вышли из библиотеки, глаза у них припухли и покраснели.

— Жена, Хайям сказал: обедать будем в саду. Расстели скатерть и поставь все, что положено в таких случаях.

Сестра и еще одна женщина, нанятая для страпни, расстелили в саду ковры, принесли подушки, новую скатерть и все, что приготовили, — мясо, плов, зелень, фрукты, соленье и маринованное. Для Хайяма поверх подушек постелили волчьую шубу; Мурад-Али вынес его на руках, как ребенка. Теперь он был в зеленой чалме и тяжелом драгоценном халате, много лет назад подаренном Малик-шахом. Оглядев печальных гостей, Хайям вдруг поднес ко рту сложенные

ладони и закукарекал. Свояк, что-то шептавший на ухо Санаи, махнул рукой, спугивая наглого петуха, а все засмеялись.

— Вот и хорошо. А если вы будете смотреть в землю, я прогоню вас. Плакать будете потом, сейчас не надо. Пусть те, кто меня любит, выпьют вина. Мурод-Али, у тебя сильная рука — налей всем до краев, а мне воды. Выпейте! А я поем вместе с вами, хотя проклятый лекарь разрешил мне только виноград и молоко с медом. Но кто не ест со своим гостем, тот дитя прелюбодеяния.

Ал-Багдади пил, кривясь от отвращения; Мурод-Али цедил вино, как неизбежное лекарство; Джинн и Санаи пили с удовольствием.

— Почтенный имам, — сказал Санаи, — у вас в Багдаде говорят: «Питье без музыки нередко причиняет головную боль». Тебе, кажется, плохо?

— Правильно, Санаи. Усто, прошу тебя, спой нам. Сестра, принеси рубаб.

Мурод-Али попробовал струны, подтянул колки. Могучая, с окаменевшими мозолями ладонь тяжело легла на хрупкую деку.

— Какую песню тебе спеть?

— Самую любимую.

Гончар с силой ударил по струнам. Печальные глаза, до самой глубины просвеченные болью, смотрели вдаль; зазвучал сильный голос — чистый и глубокий, как воды Нишапур-дарьи. Песня стремительно вылетела из дверей и стала слышна многим.

Некоторые дела в этом мире кажутся мне непростительными:

Первое — когда старуха красит сурьмой глаза,

Второе — когда тайны сердца рассказывают другим,

Третье — когда непутевый сын становится болью отцовского

сердца,

Четвертое — когда расстаешься с другом...

Голос сорвался, не в силах петь дальше, только пальцы с черными ногтями безжалостно терзали жилы струн. Тонкая шея Хайяма напряглась; и он продолжил дрожащим голосом:

Пятое — когда красавица лежит в объятиях глупца,

И, наконец, непростительно мне, что я нищий, скиталец.

— Так, усто? Я помню. И прошу тебя: спой еще.

— Я спою песню, которую ты знаешь лучше нас — она твоя.

Те, которые состарились, и те, которые только родились, —

Каждый стремится достичь в этом мире свою цель.

Но никому этот дряхлый мир не остается навечно —

Мы уходим, приходят другие и снова уходят.

Санаи с восхищением смотрел на гончара, не замечая, как пальцы сами постукивают по крутому боку кувшина. Джинн уже в третий раз поднял пиалу, каждый раз осушая до дна. Мухаммад ал-Багдади, впервые узнавший вкус вина, глупо улыбался, и качал огромным турбаном, и даже упал на бок. Он хватал соседей за рукава, призывая к вниманию. Но, видя, что слушают другого, пронзительно закричал:

— И сказал пророк: «Любезны мне из благ вашей жизни три:

женщины, благовоние и прохлада моих глаз — молитва». А я думаю, старое вино лучше старой жены!

— Эх, свояк, ты не понял ни женщин, ни вина. Лучше выпей еще, а мне дай воды.

Имам неверной рукой протянул чашу, но она расплескалась, пока он ее подавал, а остатки пролил сам Хайям — пальцы правой руки онемели и не сжимались. Он хотел выругаться, но прикусил язык, чтобы не гневить бога. Но все-таки высказал свою обиду:

Тщетно тужить — бесполезная затея,
Ибо этот небосвод сеял и жал тысячи подобных нам.
Наполни кубок вином, вложи скорей в мою руку,
Чтобы я выпил с мыслью: случилось все, что должно было случиться.

— Санаи, запомни эту рубай — у Хайяма она последняя. А теперь, никчемные пьяницы, позовите садовника, пусть срежет всю траву в саду.

Садовник не заставил себя ждать. Он прибежал запыхавшийся, в узкой бороде застряли крошки хлеба.

— Джинн, достань из мешочка два динара. Фарид, возьми их и окажи мне милость — срежь эту траву.

Садовник прижал руку к сердцу и глазам, но золотые не взял, даже попятился от них.

— Фарид, это же золото, а не медь!

— Поэтому я и не возьму его, господин. Разве я платил тебе, когда ты говорил со мной? Разве ты требовал динары, когда дарил нам свои рубай?

— Слова твои утешают меня, Фарид. Срежь траву, и я твой должник.

— Но в ней уже нет сока, имам, и нет пользы.

— Я не корова, и у меня выгода в другом. Эта трава еще много лет будет расти, а я сюда не вернусь. Пусть ее запах будет мне наградой.

Садовник засучил рукава халата.

— А вы пойте. Санаи, налей вина! Горе мне с вами, разве так пьют?

Мурод-Али и Джинн пели, Санаи стучал пальцами по дну кувшина, зажав его между коленями, ал-Багдади икал и размахивал руками. А садовник, стоя на коленях, срезал серпом пучки травы, еще мокрой от дождя и скрипящей под острым лезвием.

Хайям, закрыв глаза, прислушался к запахам сада: вот сильный порыв ветра принес издалека аромат жасмина, потом роз, совсем рядом он почувствовал дыню и даже увидел ее — разрезанную на куски, истекающую сладким соком. Пахло еще многим, но не срезанной травой. И только когда умолкли струны рубаб и голоса, еле слышно повеяло зеленым соком, стекающим по лезвию серпа. И это дуновение, не слышное другим, перенесло его на сказочном ковresse-самолете в детство, где он, босоногий и черноглазый, карабкается на ослика. Кажется, он никогда не заберется на подушку, перетянутую подпругой, но сильная ладонь отца легонько подталкивает его, и вот он уже сидит, широко растопырив острые колени. А далеко

внизу, как под горой, визжа, бегут мальчишки. Ослик трусит по дороге; Омар взлетает и падает на подушке, и сердечко то взлетает к самому горлу, то холодком покалывает пятки. А вокруг так солнечно и радостно, что страх уходит, и он кричит срывающимся голосом: «Хоп! Хоп!» И, крепко зажмурив глаза, летит мимо розовых лепестков цветущего миндаля, мимо тяжелых ветвей яблонь, свесившихся над глиняными дувалами, и все равно все видит — только в оранжевом зыбком мареве. Отец шекочет его колючей черной бородой, возносит сильными руками выше ослепительного полумесяца мечети. Смеется: «Смотри, жена, какой богатырь вырос! Настоящий Рустем!» И счастливая мать бежит к ним, протягивая апельсин, сияющий, как солнце.

Сейчас, просеивая сквозь пальцы свою жизнь. Хайям бережно высматривал драгоценные крупинки счастья. Их набралось всего щепоть, но каждая из них была бесценна. Все было в его жизни: страх и отвага, слава и забвение, прозрения и утраты, подлость и великодушье. Но перед любимым судьей — земным или небесным — он без трепета положит свои дела на чашу весов, хотя годы, как печь литейщика, сплавили их неразделимой, чем олово, свинец и медь — в бронзу. Пока были силы, он шел, и одному богу известно, каким невероятно трудным оказался его путь; оглядываясь назад, он сам не верил, что преодолел пустыни неведомого, поднялся на ледяные вершины открытий. Там, в самом начале дороги, у порога странствий, к коленям матери прижался босоногий мальчик, удивляющийся всему, любящий сладости и горячие ячменные лепешки с медом. А на другом конце — седой старик, любопытный, как дитя, любящий землю и небо, вино и цветы. Вдыхай, вдыхай, Омар, их запахи и красоту! Садовник Фарид стоит на коленях, кланяясь траве, и отблеск острого железа высвечивает на его загорелом лице капли пота.

Сестра увела пьяного мужа. Под ореховым деревом остались Хайям, Абдаллах ал-Сугани, Мурод-Али и Санаи. Пожелтевший лист яблони опустился на рубаб, чуть слышно тронув струну.

— Омар, уже прохладно. Ты не замерз?

— Мне хорошо, Джинн. Прежде чем прокричат азан, обещаю тебе, что через сорок дней после моего ухода ты войдешь в мой дом и станешь хозяином. Торговец бумагой заплатил мне за год вперед, а спрятанное золото тебе покажет Мурод-Али. Я хочу, чтоб ты занимался своей зловонной наукой, не беспокоясь о еде и крыше. Безумие есть свой хлеб за чужим столом.

— Нет, Омар. Я буду приходить к тебе в гости, как прежде.

— Абдаллах, и ты меня хочешь обмануть? Ах, старик, вранью, как и любому ремеслу, надо учиться с детства. Если ты именем аллаха не поклянешься жить здесь, я подожгу дом. Санаи, принеси свистильник!

— Абу-л-Фатх, успокойся! Воля твоя для нас закон, и мы ее исполним. Правда, Джинн? — Санаи посмотрел на Джинна. Тот опустил голову.

— Как быстро кончился день! Только что было утро, а солнце

уже спешит покинуть небосвод. И ничего нельзя удержать в руке, даже пылинку! Мурод-Али, я все хочу спросить тебя... Еще с того дня, когда ты привел в дом вторую жену...

— Третью, господин. Вторая стала матерью моего младшего.

— Пусть третью. И, наверное, были в твоей жизни другие женщины? Скажи, усто, какую из них ты любил больше всех?

Гончар потрогал струны, прислушался.

— Каждому времени своя женщина.

— Вы слышали, непутевые? — Джинн и Санаи улыбнулись. — Каждое из этих слов — в двадцать киратов¹! Санаи, дай мне глоток вина, я должен попроситься с вином. Как хорошо! Это вино из белого винограда, выдержанное не меньше восьмидесяти дней. — Хайям облизнул языком губы.

«Аллах акбар! Идите на молитву! Идите к спасению! Аллах акбар! Ля иллях илля ллах!» Пронзительные крики муэдзинов спугнули тишину. С вершины минарета Джума-мечети, огражденной кованой решеткой, был виден весь город внутри стобашенной стены: площади, кривые и прямые улицы, сады, огороды, бахчи, водохранилища и арыки, купола базаров, глиняные крыши домов, дворцы эмира, караван-сарай. Отсюда, с высоты минарета, домик Хайяма с окном, открытым на восток, казался игровой костью, закатившейся на ковер.

Муэдзины повторили азан.

— Братья, ступайте в дом. Я помолюсь один.

Ласковым взглядом Хайям проводил друзей, уходивших в темноте к раскрытой двери, в которую ему уже никогда не войти.

Опираясь непослушными руками о подушку, он встал на дрожащие ноги и, волоча за угол истертый молитвенный коврик, пошел к арыку.

Произнеся имя аллаха, Хайям омыл проточной водой руки, прежде чем опустить их в сосуд; прополоскал рот, втянул воду носом. Совершив омовение, имам сказал:

— Свидетельствую, что нет бога, кроме аллаха единого, не имеющего товарищей, и что Мухаммад — его раб и посланник. Боже мой, причисли меня к кающимся, причисли меня к очищающимся. Слава тебе, боже мой! Хвалю тебе свидетельствую, что нет господа, кроме тебя, прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой.

Преодолевая жжение в сердце, не дававшее вздохнуть, старик упал на колени, прочитал первую суру «Фатиху» и склонился до земли, коснувшись губами горькой травы.

— О господи! Я много скитался по склонам и долам, но от моих скитаний дела не улучшались. Я доволен тем, что жизнь моя со всеми превратностями хотя и не всегда шла хорошо, но все же иногда проходила приятно. Ты знаешь, господи, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня! Мое знание тебя — это мой путь к тебе...

¹ Кират — мера веса, равная 0,2 грамма. Выражение «в двадцать киратов» означало высшее качество чего-либо.

Когда Джинни, Санаи и Мурод-Али вышли после молитвы в сад, Хайям лежал на траве. Голос его умолк. Сердце остановилось.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧЕНИКА

Не помню, кто и когда прозвал меня Тухлой Рыбой; все отворачивались от меня, словно я с макушки до пят был осквернен нечистотами. Даже самые мягкосердечные не говорили мне: «Мальчик, возьми лепешку», но бросали ее в пыль.

Я не знал ни отца, ни матери, ни рода своего, ни родины. Старик Якуб рассказал мне, что его брат нашел меня на дороге, у одинокого дерева, но где это дерево, куда вела дорога, он не сказал. Но Якуба я разыскал много лет спустя, а брат его к тому времени умер.

Годовалым младенцем меня отвезли в Балх и там, на улице Работорговцев, продали угольщику. В его доме я носил воду, подбирал овечий навоз, чистил илистое дно арыка, увлажнял землю в саду, тер зерно. Его работникам доставались объедки, а мне то, что оставалось от объедков, — кости. Работники бросали их и хохотали: «Эй, у тебя должны быть крепкие зубы, ведь ты сын собаки». Но я знал, что моя мать была человеком и человеком был отец.

Вскоре угольщик разорился, его дом, скотину и меня продали за долги. Так я оказался у мастера, варившего бумагу. С утра до вечера я носил дрова и мешал тяжелой лопатой в котлах. От духоты и пара, а может, от недоедания у меня по всему телу пошли нарывы; они лопались, и от меня действительно смердило. Тогда меня за два тюка шерсти отдали шерстобиту. И тут было не легче. Девочки и старухи били шерсть, расчесывали острыми чесалами, а я, стоя на коленях, катал ее локтями, не разгибаясь. Если какая-нибудь старуха не давала мне из жалости горячего молока, я всю ночь не мог заснуть от кашля. Мои руки от запястий до локтей огрубели, как кожа буйвола. Наверное, и сейчас я бы катал проклятую шерсть, отупев как животное, но меня увидел переписчик Керим ибн Маджид — да будет милость аллаха над ним и всем его родом! — и выкупил за шесть нишапурских динаров. Он первый отнесся ко мне, как человек к человеку, заменил мне родителей, и я вечный должник его на этом и на том свете: отец и мать дали мне жизнь, ибн Маджид — свободу.

Когда я научился с его помощью читать и писать, он привел меня в медресе, где я первый раз увидел имама Хайяма. Я знаю, об учителе даже сейчас продолжают говорить разное, я же видел от него только хорошее. Говорили, что он равнодушен к ученикам... Да, но только к тем, кто сам был равнодушен к знаниям. Я не помню, чтобы он нас бил или кричал, как это в обычае у других преподавателей. «Кто возвышает голос, тот не верит в силу молитвы», — часто повторял учитель.

Он научил меня переносу вычитаемых членов уравнения в другую его часть, где они становятся прибавляемыми, а также сокращению равных слагаемых в разных частях равенства; научил исчислять объемы тел и расстояния. Я прилежно изучил его труды:



«Проблемы арифметики», «Алгебраический трактат», «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида».

Когда я вернулся из Багдада, учитель уже был болен и вручил мне заботу о медресе. Никогда не забуду тот день: я вошел, задержав дыхание от страха, и мальчики, приветствуя меня, опустились на колени... А я даже не видел, где место наставника; вспомнил всю свою жизнь, все побои, ругательства и унижения. Не помню, что я в тот день говорил детям... Обучая других, я с еще большим упорством и тщанием учился сам, и каждое слово имама укрепляло мои познания.

Одного не могу себе простить: что в тот день — в четверг, 12 мухаррама — я ушел из дома учителя. Тогда он просил меня оставить мысль о параллельных линиях, потому что сам напрасно потратил годы на доказательство пятого постулата Евклида. До сих пор не пойму, что случилось! Словно злой дух в меня вселился — я впервые узнал, что мысль учителя не всесильна и может отступать. А я был молод и чувствовал силу; мне казалось, Хайям боится, что я отыщу ключ к доказательству. И в тот же день, забрав все деньги, которые у меня были, я вышел из Нишапура с караваном, идущим в Мерв, — меня звали ко двору султана Санджара. Еще в пути я узнал о смерти учителя, но что-то помешало мне вернуться в Нишапур...

Помню, как в Мерв пришел Низами Арузи Самарканди, и обо мне сказали, что я ученик Хайяма. Мы долго гуляли с ним в Павлиньем саду, и Самарканди спрашивал о моих занятиях — а я в то время день и ночь бился над проклятыми параллельными, но безуспешно. Потом он стал читать рубаи и после каждого четверостишия спрашивал мое мнение, и еще — знаю ли я, чьи это строки. Я пожал плечами — мысли мои были о другом.

— Их написал учитель.

— Разве он пил вино? — удивился я. — Я никогда не видел его пьющим, а также никогда не слышал, чтобы он говорил о поэзии, — мне всегда казалось, он считает ее делом недостойным и относится к поэтам с пренебрежением.

Самарканди так пристально посмотрел на меня, что я смутился.

— Аффан, мы недостойны своего учителя. Мы только брали от него, но ничего не дали взамен.

— Но что мы, никчемные, могли прибавить к его мудрости?

— Ему нужны были не знания — знаний его хватит на всех, — он испытывал нужду в понимании... В году 506¹ в Балхе, на улице Работорговцев — тебе ли не знать ее? — в доме эмира Абу Са'да Джарре остановились имам хаджи Омар Хайям и имам хаджи Музаффар Исфазари, а я присоединился к услужению им. Во время пиршества я услышал, как учитель сказал: «Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну северный ветер будет осыпать меня цветами». Меня эти слова удивили, хотя я знал, что такой человек не будет говорить без основания. Но я и подумать не мог, что учитель

¹ 1112 год.

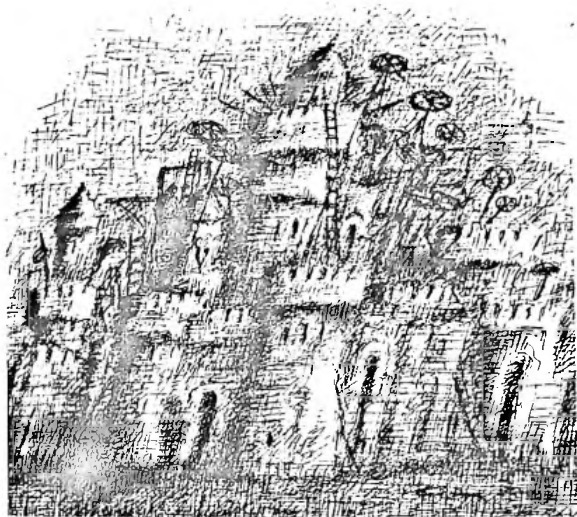
через пространство времени видит так же отчетливо, как мы — через дорогу. Он надеялся на понимание, Аффан. Но надеялся напрасно...

На следующий день, после первой молитвы, мы с Арузи на двух конях выехали из Мерва. Возле рабата Кей-Кубада мы обнялись, как братья, оставшиеся без отца, и повернули коней: он направо — в сторону Самарканда, я налево — в Нишапур.

Когда я въехал в Ворота Канала, прошло уже четыре года с тех пор, как учитель закрыл свое лицо покрывалом земли, и низкий мир осиротел без него. В пятницу я пошел поклониться его праху и взял с собой одного человека, чтобы он указал мне его могилу. Он привел меня на кладбище Хайра. Я повернулся налево и у подножия стены, огораживающей сад, увидел его могилу. Грушевые и абрикосовые деревья свесились из этого сада и, распростерши над могилой цветущие ветки, всю могилу его скрыли цветами. И мне пришли на память те слова, что я слышал от Низами Арузи Самарканди, и я разрыдался, ибо на всей поверхности земли я не увидел бы для него более подходящего места.

1974—1978





БАЛЛАДА СУДЬБЫ

Знай, Франсуа, когда б имела силу,
Я б и тебя на части искрошила.
Когда б не бог и не его закон,
Я б в этом мире только зло творила!
Так не ропщи же на Судьбу, Вийон¹.

Франсуа Вийон

ГЛАВА I

Острый нос, красный от холода, и серые волосы, пушистые вокруг тонзуры, довершали сходство тюремного капеллана с дятлом; он был маленький и проворный, черная сутана путалась в быстрых ногах, а маленькие руки ловко извлекли из сумы толстую восковую свечу, белую захватанную накидку, коробочку с миром. Все это священник разложил на табуретке, принесенной Этьеном Гарнье,

¹ Перевод Ф. Мендельсона.

пока Франсуа, опустившись на колени, читал покаянную молитву «Конфитеор».

— Поверь, сын мой, только у бога достанет времени, чтобы выслушать тебя.

— Я верю, отец мой, ибо я трубил людям в уши, как в Роландов рог, но они проходили мимо. Я кричал от радости и боли...

— Боль пройдет, не думай о ней.

— Пройдет, держите карман шире! Сразу видно, что вам не пришлось бывать в пыточной, а повисели бы над жаровней с углями, не заливались бы соловьем. Посмотрите на мои руки, — Франсуа воздел руки, заклепанные в оковы, — костлявые, с распухшими суставами, — потрогайте мои шатающиеся зубы. За что меня терзают? Я в жизни никого не убивал, хотя, по правде говоря, встречались мерзавцы куда хуже, чем я, а мне дробят пальцы, выламывают плечи, клеймят, как скота, раскаленным железом...

— С тех, кто обошелся с тобой несправедливо, господь взыщет.

— Взыщет, когда черви источат мое тело. По дороге от Понт де-Со к Анжеру я видел дуб, на котором висело больше людей, чем желудей, — их приказал вздернуть барон Бертран дю Паладин за то, что в одной деревне сдох его любимый гончий пес. О, страна повешенных и колесованных!

— Тяжела рука господа за прегрешения людские.

Капеллан вздохнул. Потрескивала свеча, отбрасывая на сырую стену камеры громадную тень узника, — качались языки вздохмаченных волос, клочья разорванной бумаги, черная цепь.

— Покайся, прежде чем мне придется прочитать над тобой «Да успокоится», сними железа со своей души.

— Я скверно жил, святой отец, чего уж там... И помыслы мои грязней сточной канавы на улице Мобер. Я крал, обирал живых и мертвецов, я грабил ризницы, а золото продавал в притонах. Я сквернословил, и язык мой, как бешеный пес, набрасывался на людей, кусая их за ляжки.

Священник, сморщив острый нос, перебирал четки с подвешенными образками.

— А уж поблудил на славу — в «Свинье», в «Сосновой шишке», в «Бисетре»... да назовите любой кабак, меня там долго не забудут.

— Каялся ли, согрешив?

— Еще бы! Проклинал свою жизнь, язык свой мерзкий, вот эти грязные лапы, любившие тискать девок и срезать чужие кошельки, глотку свою, которая с утра гнала меня к винной бочке. Все пороки я перепробовал — только не клеветал и не сожительствовал с собственной сестрой: один я у матушки.

— Исповедовался, сын мой?

— У епископа Тибо д'Оссины, дьявол сдери с него шкуру!

— Грех так говорить.

— О, все мои грехи ничто в сравнении с его грехищами, но он мягко спит, жирно ест и сладко пьет, а я гнию на цепи, изъеденный клопами.

— Не оскверняй уста хулой на князя церкви, позаботься лучше

о себе. — Капеллан потер озябшие руки. — Поторопись, ты не один в этом доме скорби.

— Догадываюсь. И горько раскаиваюсь в своей беспутной жизни.

Капеллан вложил в рот узника причастие, подал кружку с водой — заключенным вина не полагалось. Помазал миром лоб, уста, ладонь — то, что помышляло о грехах, что сквернословило, что творило непотребное.

— Покайся, сын мой, и войдешь в царство божие...

— Да войдет ли оно в меня... — Франсуа поцеловал поднесенное распятие. Священник положил руку на склоненную голову.

— Ныне отпускаю грехи твои, раб божий Франсуа Вийон. Семь даров святого духа ниспослал господь человекам: страх божий, благочестие, знание, силу, просветление, разум и мудрость. Укрепись в благочестии, помни о страхе, остальное тебе дано. Несчастный, разве горит свеча без фитиля? Так и душа озаряется верой.

— Святой отец, об одном прошу: когда эти душегубы вздернут меня, сходите к моей матери — пусть она меня простит.

— Обещаю, сын мой. — Капеллан задул свечу, от фитиля заструился дымок. — Пусть и твою жизнь так задует господь. Отпускаю тебе грехи твои во имя отца, и сына, и святого духа. Сторож, отвори!

Щелкнул замок, загремел засов.

— Куда вас проводить, господин капеллан?

— Теперь в женское отделение.

— Много же у вас дел в Николин день.

— И в остальные дни тоже. Посвети-ка мне.

— Осторожнее, тут камень выпал из ступени.

— Спасибо, сын мой. И покрепче стереги преступника, кажется мне, во всем Шатле нет никого опаснее Вийона.

— Да что вы, господин капеллан, мыслимо ли отсюда убежать? Разве что он в муху оборотится. — Гарнье захохотал, но капля горячей смолы упала ему на руку, и он вскрикнул от боли.

— Жалко, что не язык твой скверный припекло! В муху? Ее одним пальцем раздавишь, а он в слова оборотится, фьють — и лови попробуй! В мерзость смердящую, которая цепляется как репей и жалит словно шершни. Заклужи свое сердце от его слов, если не хочешь гореть в преисподней.

Этьен Гарнье поежился от страха, словно верховод всех зол ужедохнул в затылок ледяным дыханьем.

— Если он скажет что-нибудь такое, я вам передам.

— И ухо почаше прикладывая к глазку: не слышится ли по ночам жабье кваканье или сатанинский хохот.

— Все сделаю.

— А теперь ступай.

Весь обратный путь сторож гремел ключами, отпугивая страх. Он был добрый малый и жалел тех, кого ташили из пыточной окровавленными, смердящими паленым мясом, а после влекли на эшафот. Прошло всего четыре месяца, как Гарнье перевели из Нельской башни в Шатле, и сердце его еще не успело ожесточиться.

Дойдя до шестой камеры, он приложил ухо к двери — тихо откинул навеску глазка — темно. Есть ли там кто? А вдруг обернулся мухой и сгинул? Нет, кажется, зашевелилось в углу, застонало. Уф, лучше бы нести ему караул в Нельской башне, играть с товарищами в кости, чем за лишнее эку дрожать от страха и кричать по ночам.

ГЛАВА 2

— Этьен, сынок, ты когда-нибудь видел пунцовую розу?

Слова, будто летучие мыши, закружились под низким каменным сводом. Сторож, наверное, ушел на кухню за хлебом и водой. «Да, обед и ужин похожи здесь как две капли воды, — усмехнулся Франсуа. — Как две капли воды и две крошки хлеба. В Консьержери дают еще горсть бобов, зато приковывают цепь к кольцу, вмурованному в стену. В Бург ля Рен разрешают зажигать светильник, но там нет жителя от крыс. Но хуже всего в подземелье епископа Тибо д'Оссины, чтоб его черти сварили в ночном горшке, полном дерьма!»

Сколько он уже здесь? С ноября, а сейчас декабрь. Ветви каштана укрыл снег; когда сильный ветер, снег падает в зарешеченное узкое окно, и Франсуа, бережно собрав искрящиеся снежинки, долго держит на исхудавшей ладони, глядя, как медленно тает снег, как капли скатываются по впадинам черных морщин; из прозрачных становятся бурными от тюремного пота и запекшейся крови.

Он не убивал. Он никогда никого не убивал, и даже Филиппа Шермуа лишь ранил. Его же убивали все. В его тощем теле, разрывающемся от кашля, не осталось ни одной косточки, не переломанной палачами, ни одной жилки, не кричащей от боли. А на этот раз помощник прево Пьер де ля Дзор решил прикончить школяра Вийона, и, кажется, ему это удастся, ведь не зря он спустил на него свору самых лютых следователей Парижа — Жана де Байли, Пьера Бобиньона и пса среди псов Жана Мотзона, который еще девять лет назад вел дело об ограблении Наваррского коллежа. Эти трое, заплатив им хорошенько, прибьют гвоздями самого Иисуса Христа.

Зазвонили к обеду. Он узнал Марию — самый гулкий колокол Нотр-Дам, в морозном воздухе звон катился стеклянными шарами. Сердце Франсуа отозвалось ударами на звон, каменные плиты под босыми ступнями раскалились, как железный лист, на котором на ярмарке в Орлеане пляшут куры, перебирая обожженными лапками.

Задрожало сердце, и слезы хлынули из глаз, словно удары колокола стенобитным тараном проломили грудь, сокрушая стену вокруг сердца, — ширились известковые швы между глыбами, со скрежетом вырывались скрепы, и все дрожало, тяжело рушась, и душа металась на свирепом декабрьском ветру, как лист каштана. Франсуа обхватил толстые прутья решетки и затряс, но его малые силы даже дрожью не отозвались в черном кованом железе. И если бы сейчас сказал отец небесный: «Сотворю тебя снежинкой, жить которой до первого тепла, — согласен ли? Сотворю червем дождевым, цветком терновника — согласен ли?», ответил бы: «Боже всемогущий и

светоносный, яви свою силу и спаси! Как возжелаешь — червем, снегом, цветком, навозом, голохвостой крысой — только бы жить, только не умирать!»

Смолк последний удар колокола. Не было сил восстать с окаменевших колен. Припав губами к грязному камню, Франсуа шептал: «Богородица, дева, смилуйся!..» Сколько себя помнил, всегда пресветлое имя девы утишало боль, ибо нет для нее чужой боли. Слезы высохли, словно она стерла их с впалых щек узника. В тиши камеры он услышал тихий голос матери — тихо, но внятно, словно она рядом стоит на коленях, но слов не разбирал, только слышал — как в детстве, когда, присев на краешек кровати, она рассказывала сказку, и он, засыпая, уже не разбирал слов, а лишь что-то родное, любящее, ласковое, что укутывало мягче и теплей перины. Горячее оранжевое сияние заслоняло мир — и он засыпал. Лучшую свою балладу он посвятил богородице — увидев на дороге из Ренна маленькую часовню и старую женщину, убиравшую полевыми цветами потрескавшиеся ноги девы, стоящей в нише. И разве сам он, Франсуа, не похож на жонглера, о котором ему в детстве рассказывал Жан ле Диск — ученик дяди Гийома? В красно-синих штанах, с колокольчиками, нашитыми на пояс, жонглер забавлял богородицу прыжками и тем, что ходил на руках. Нет, он не похож.

Загремел засов, закрипела дверь. Сторож Этьен Гарнье поставил у порога оловянную кружку и кусок хлеба.

— Этьен, сынок, я бы не отказался и от баранины, жаренной на углях.

— Господин де ля Дзор ничего не говорил насчет баранины.

— А насчет тушеной капусты со свиной?

— Не слышал.

— Постой, Этьен, помнишь, я обещал рассказать тебе о славном рыцаре Ланселоте?

Сторож почесал подбородок ключами, соображая, когда это он просил мэтра Вийона рассказать про Ланселота и нет ли тут какого дьявольского наущения, о котором предостерегал капеллан. Поскреб под мышкой, не убирая правую руку с рукояти кинжала, висевшего на широком ремennom поясе, — капеллан, господин следовательно де ля Дзор и господин аудитор Жан де Рюэль велели не спускать глаз с убийцы.

— Ну, так слушай, сынок. Однажды утром поднялся Ланселот, лишь только птицы запели. Подошел он к зарешеченному окну и присел, чтобы полюбоваться свежей зеленью, и так долго сидел он там, что лучи солнца осветили сад. И тогда посмотрел Ланселот на розовый куст и заметил на нем только что распустившуюся розу, что была в сто раз прекраснее всех других. И тут вспомнил он о своей ладме, о королеве, что во время турнира у Камелота была прекраснее всех остальных дам. «И раз я не могу теперь ее увидеть, — воскликнул он, — то хоть бы мне заполучить эту розу, что так мне ее напоминает». И с этими словами он просунул руку сквозь решетку окна, чтобы сорвать розу, но это ему никак не удавалось — слишком

далеко рос розовый куст; тогда он перестал протягивать руки, посмотрел на оконную решетку и понял, что она очень прочна...

Франсуа подошел к решетке.

— И понял рыцарь Ланселот, что она очень прочна.

— Пора бы и вам это понять, мэтр Вийон.

— Увы, ты прав, мой недремлющий Аргус. Конечно, неучтиво с моей стороны не предложить тебе сесть, но согласись, Этьен, этот каменный мешок построили с отменным прилежанием, но обставили скудно.

— Так это же тюрьма, а не кабак.

— О, как ты прав, сынок!

— Это так же верно, как то, что после обедни вас велено привести на допрос, так что пейте воду и ешьте хлеб.

— Что касается воды, то ее Пьер де ля Дзор предоставил мне в избытке, а вот хлеб сьем.

Дверь захлопнулась. Вийон прошептал предобеденную молитву. Сидеть на каменном полу было холодно, его начало знобить. Он снова подошел к решетке. Протолкнул сквозь прутья хлебные крошки, — может, прилетит воробей, им в зимнюю пору тоже приходится туго. Подул на озябшие пальцы, но облачко пара, вырвавшееся из губ, не согрело; наоборот, словно последнее тепло выдохнулось из окоченевшего тела. О господи, когда кончится мука?

Ранние декабрьские сумерки укрыли каштан. Если бы не снег на ветвях, даже дерево не различить на фоне тусклого железного неба. В сотнях кабаков, харчевен, трактиров жарко пылают очаги, от мокрых кафтанов и плащей подымается пар, смешиваясь с варевом котлов, гремят лавки, придвигаемые к столам, из пузатых бочек в кувшины, пенясь, бьет вино, пахнет чесноком, укропом, жареной бараниной. В харчевне тетки Машеку в громадном чугуне варится луковый суп, в «Синей горе» собрались шлюхи, в «Укромном местечке» — школяры, удравшие с занятий, в «Осле», что напротив Больших боен, ножи режут красную бычью печень и вареную требуху.

Уже не раз Франсуа удивлялся, что в двух шагах от смерти мысль чаще обращается к жизни, словно человек и вправду идет задом наперед.

Гарнье откинул шеколду и распахнул дверь. За ним стояли двое, не различимые в темноте; когда один поднял факел, Франсуа узнал стражников — Бенуа и Жана Лу, бывшего мусорщика и золотаря.

— Глазам своим не верю! Ты ли это, папаша Лу?

— Я самый, малыш Франсуа. Подпояшь свое отрепье, господин де ля Дзор не любит ждать.

— Да и у меня есть кое-какие дела, а я засиделся в этом клоповнике.

— Ничего, не долго тебе ждать, на Монфоконе для тебя уже готовят жабо из пеньки и сосновый камзол. А ты как думал? Убить порядочного человека и насвистывать шеглом? Нет, приятель, на этот раз ты крепко прогадал.

— Хватит болтать, — прикрикнул Бенуа.

Они поднимались по крутой каменной лестнице с истертыми ступенями: впереди Жан Лу освещал дорогу, за ним трясущийся от страха Франсуа и последним, шаркая башмаками, Бенуа. Поднявшись на второй этаж, где размещалась тюремная охрана, они прошли по сводчатому переходу в башню и по железной винтовой лестнице спустились в подzemелье — самое теплое помещение во всем Шатле, потому что здесь в очаге день и ночь пылали поленья, чтобы в достатке были угли и огонь. Скрипели блоки, ввинченные в балки. Жан Маз, по прозвищу Дубовый Нос, ворошил тяжелыми щипцами золотистые угли; его красный плащ с откинутым капюшоном ярко выделялся среди темных одежд прокурора, следователя и писца. Маз было жарко, черные с проседью волосы прилипли к потному лбу. Трешали факелы, на длинном столе в дубовой плахе крестом горели пять салных свечей.

— Подсудимый, подойдите ближе. Вас уже уведомили, в чем состоит ваше преступление, а именно в злонамеренном и дерзком убийстве мэтра Ферребу Мустье, папского нотариуса. На предыдущих допросах, а именно... Господин Корню, напомниме числа.

Писец Жан Корню провел пальцем по длинному листу.

— Ноября двадцать девятого и тридцатого, декабря третьего, четвертого, десятого.

— ...Вы отрицали участие в преступлении, хотя ваши сообщники Гютен, Пишар и Робен Дожи, проявив благоразумие и должное смирение, признали себя виновными. Подсудимый, вы намерены упорствовать и вводить следствие в заблуждение?

— Я не виновен, господин помощник прево.

— Запишите, господин Корню, а вы, господин сержант, начинайте.

Подручные палача подвели Вийона к низкой широкой скамье; сквозь лохмотья он почувствовал спиной сырость дерева и задрожал. Железные скобы с винтами туго охватили его грудь, бедра, шиколотки. Жан Маз кинжалом разжал зубы Франсуа, вставил воронку, ноздри залепил восковыми шариками. И стены, и потолок заслонил громадный кувшин с треснувшей коричневой поливой, горлышко медленно склонилось к воронке, и хлынула струя горькой соленой воды. Франсуа судорожно глотал, но струя лилась, растекаясь расплавленным оловом под черепом.

Худое тело сотрясала рвота, вода фонтаном выбрасывалась из воронки, обрызгивая сонное лицо Жана Маза, но воды он припас достаточно — целую бочку.

ГЛАВА 3

Приснились, привиделось или было?..

Мышонек смотрел, присев на задние лапки. Серая шерстка дрожала, но грязный мокрый человек на полу дрожал еще сильнее. Человек был несчастен, потому что часто плакал, и добр, потому что иногда кормил мышонка крошками и позволял греться на теплой ладони.

— Ну, нагляделся на меня, Туссэн? Плохо мне, еще одна такая попойка у Дубового Носа — и моя бедная старушка лишится сына, а Франция — школяра Франсуа Вийона. Теперь-то я понимаю, почему бешенные так боятся воды.

Мышонок беспокойно потер лапки, черные бусинки глаз смотрели печально. Цепляясь слабыми руками за камни Франсуа пытался сесть, но каждое усилие обжигало пальцы, они были в крови, — должно быть, разбил о железную лестницу, когда его волокли из пыточной, или стражник наступил подкованным башмаком.

— Но я не виноват, дружок, мне не в чем признаваться де ля Дзору, ведь я этого проклятого Ферребу и в глаза не видел. И что им за охота засолить меня, ведь я не сало — кости и немного шкуры не толще твоей, а ведь когда-то было и мясо, и даже знатные дамы не считали зазорным торговаться: почему фунт? Запомни, Туссэн: в мужчине больше всего ценят не филей или грудинку. Ты извини, что я так тихо говорю, но громче не могу. Я завидую тебе, малыш, хотя жилье ты выбрал не совсем удачно, мог бы снять каморку у Жака Кера или господина прево — там и сыр, и копченые колбасы, и крылышко пулярки, и фрукты в сахаре, я уж не говорю про вино.

Франсуа протянул руку, но мышонок юркнул в норку. Стеная, Вийон сел. И руки, и редкая бородка, и губы, и даже рваная рубаха были солеными; от одного вкуса соли к горлу подкатывала тошнота. Но вот в углу снова послышался шорох, блеснули глазки — крошечные, как льняное семя. Из норки вылез Туссэн; обычно он стремительно пробежал и замирал, а сейчас, прижав острую мордочку к полу, шатался словно пьяный. Добравшись до правой ноги человека, остановился. Франсуа нагнулся получше разглядеть мышонка и увидел огрызок корки, которую Туссэн с писком подталкивал лапками и мордочкой к протянутой ладони: это тебе, возьми!

— Спасибо, малыш, я никогда не забуду твоей доброты.

Он размочил корку в кружке, но даже мягкую не мог жевать — ныли десны, содранные воронкой, два передних зуба выпали на ладонь. Неужели малыш Туссэн единственный, в ком осталась жалость к Франсуа Вийону?

Долго сидел Франсуа, думая о несправедливости и милосердии, сменяющих друг друга словно день и ночь. И кто знает, чьей волей послано ему в горькую минуту утешение — святой Девы или святого Христофора, во имя которого его терзают палачи? Тот жонглер, солба которого отерла пот рука Богородицы, — разве он не брат ему?

Так размышлял узник шестой камеры тюрьмы Шатле, пока сквозь дверь не донеслись звуки лютни. Франсуа прислушался и узнал тяжелую руку Этьена Гарнье, терзавшую струны, — сторож пытался играть модный танец «Па де Брабант». Музыка была невыносима, лютня то ныла, то визжала. Мало того, Гарнье еще и пел.

— Этьен, сынок, оставь лютню в покое.

Но разве за окованной дверью услышать шепот? Франсуа подполз и постучал кружкой.

— Что это вы стучите? Просто диву даюсь на вас, мэтр

Вийон, — волокли вас сюда, как освежеванную свинью, а теперь вы уже буяните, и даже здесь нет от вас покоя. Мне-то казалось, в камере не слышно лютню.

— В том-то и беда, что лютни не слышно, зато твой пакостный голос выкручивает мне уши.

— Господин сержант Маз играет еще хуже.

— Так он помощник палача, а не лютнист. Покажи, как ты держишь гриф? Ну, так и знал — как алебарду! Дай-ка я поучу тебя, Этьен.

— Не велено вас выпускать из камеры.

— Тогда сам влезай сюда. Видишь, у тебя сполз лад. Ну-ка, перевяжи его потуже, на втором ладу все звуки фальшивые. Да не так! Ах, мои бедные пальцы, я даже узел завязать не могу. Узлы затягивай в разные стороны. Да пониже, тебе говорят! И «шантарель»¹ спущена. — Зажав колок указательным и безымянным пальцами, Франсуа ослабил его, поплевал на винт и, застонав от боли, туго натянул струну. Отер пот со лба. — В следующий раз натри колки чесноком, тогда струны не ослабнут. Ну, сынок, что тебе сыграть? Бранль, эстампье, туридон? Может, данс-ройяль², который любит отплясывать наш государь? А лучше послушай-ка прелестную балладу, это тебе пойдет на пользу. Нет, еще не время... Хотя кто знает, когда я снова возьму в руки лютню? Может быть, в раю. Как ты думаешь, Этьен?

Распухшие пальцы перебирали струны, привычно прижимая к жилкам ладов.

— Думаю, дело ваше плохо, я вчера слышал, как Базанье сказал господину следователю: прокурор считает, мы и так слишком долго возмисся с Вийоном.

— Ах, господин Жан де Байли считает, что долго?

— Ну, так сказал Базанье.

— А что еще ты слышал, сынок?

— Что следствие по вашему делу закончено.

— Хотел бы я знать, какой камзол на этой новости.

— Клянусь кровью господней, я больше ничего не слышал. — Гарнье перекрестился. — Вы обещали мне сыграть балладу.

— Да, балладу. Музыка готова, а слова еще не подобрал. Ну, ну, не хмурься, сынок, утром пойдешь домой, завалишься под бочок к женушке, а мне стыть на ледяном полу и ждать смерти. Честно тебе скажу, незавидная участь, но слово свое я сдержу, хотя бы мне пришлось запеть на эшафоте, только ты уж с лютней будь наготове и позаботься, чтоб ее хорошенько настроили, — там настраивать будет некогда.

— И что вы за человек, мэтр Вийон, никак в толк не возьму. Что вы за гусь?

— Я бы и сам не прочь узнать, да только у кого?

На табурете было так тепло после сырого пола, что Вийон почув-

¹ «Шантарель» («певунья» — фр.) — первая струна лютни.

² Бранль, эстампье, туридон, данс-ройяль — названия танцев.

становал, как гриф лютни мягко выскальзывает из пальцев, голова становится пушистой, как цыпленок.

— Мэтр Вийон, мэтр Вийон... Господи, да что же это такое? Гарнье, взяв спящего Фрасуа на руки, внес в камеру.

ГЛАВА 4

Снег на ветвях каштана стал синий. И звезда на черном небе горела ровным синим светом. На крепостной стене от башни к башне ходили часовые, кляня стужу и сержантов, и тех, кто сейчас храпел в караульном помещении. Ветер гремел вывесками, замерзали в сугробах перепившие гуляки — утром их заберет похоронная команда и сложит штабелем в нишах церкви Невинно убиенных младенцев, и хорошо, если сторож, которому мать или сестра сунут денье, отыщет несчастного Жана или Пьера, чтобы предать земле, как и подобает христианину, а не то будет тот лежать, пока не истлеет одежда, не сгниет на костях мясо и сами кости не рассыплются под тяжестью новых мертвецов.

Париж спал. Все триста тысяч парижан. Одинаково храпели и те, кто днем разодед в беличью мантию с пушистым кунным воротником, и те, кто носит овчину. Ветер сдувал снег с розовой, серой и красной черепицы крутых крыш, гнал по горбатым улдам, мощенным громадными булыжниками, снежные вихри, скрипели цепи мостов, и сквозь стволы старых вязов и платанов розоведа Сена, как прекрасная женщина, раскинувшая белые руки, — Париж был ее ложем.

Парижане спали — на широченных кроватях красного дерева под бархатными балдахинами на витых позолоченных столбах, на тюфяках, набитых сеном, на матрасах из шерсти и бумаги, а кто прямо на земляном полу; укрывшись перинами, набитыми ватой и пухом, суконными одеялами, отороченными лисьим, волчьим или заячьим мехом, а кто и просто плащом. Но все чесались во сне, жестоко искусанные насекомыми. Спали монахи, купцы, школяры, солдаты, продажные девки, кабатчики, мастеровые, мясники, поэты, скорняки, и в секретном отделении тюрьмы Шатле спали даже приговоренные к смерти.

Слышно было, как на площади стучали топорами плотники, сколачивая помост и виселицу. Десятник, еще днем набрав безработных с Гревской площади, поторапливал рабочих. В сторонке развели костер из щепы и отпиленных комлей, бегали поочередно греться и хлебнуть крепкого дрянного вина из бутылки. Работа была спешная, и десятник обещал каждому по три денье серебром. Кованые гвозди легко вгонялись в промерзлые доски, визжали пилы; бревна, даже не ошкуривая, обтесывали по туго натянутому шнуру — все равно стоять им недолго.

Стражник на стене Шатле видел костер, и оттого, что где-то горел огонь, ему стало еще холоднее. Наконец по винтовой лестнице внутри башни послышались тяжелые шаги разводящего и смены, и он, схватив алебарду, прислоненную к кирпичному зубцу, громко

крикнул пароль: «Святая Жанна» — и услышал отзыв: «Святой Бенедикт». К удивлению его, рядом со стражником стоял не сержант, а капитан Тюска. Едва не опалил факелом лицо испуганного стражника.

ГЛАВА 5

— Ну вот, Гарнье, кажется, моя лютня отзвенела, и я вовремя составил завешание. Если бы ты видел, как торжественно его огласили! Но честно скажу, я бы пожил еще немного.

— Ах, мэтр Вийон, все там будем. Когда мой лед вернулся из Иерусалима, он сказал: «В святой земле смерть ничуть не лучше, чем в Париже». А вы-то хоть умрете здесь.

— Правильнее сказать «подохну».

— Ну, это все одно. Свеча не успеет догореть, а вы уже будете в царствии небесном. Плохо ли на всем готовом — и харчи, и постель, и клопов нет.

— Тебе, сынок, лучше сменить кинжал на четки, хороший кюре из тебя получается. Когда одного моего дружка вели на виселицу, священник тоже пообещал ему вечное блаженство и обнадежил, что мой приятель будет ужинать с ангелами, если перед смертью очистится от грехов. А мой дружок ему ответил: «Если так, благой отец, поужинай ты вместо меня, а я помолюсь за твою душу». Жаль, Этьен, что ты человек неотесанный, иначе ты, конечно, знал бы, что случилось с графским сыном Окассеном и пленной сарацинкой Николетт. Бог даст, я расскажу тебе их историю, но одно место приведу сейчас, по памяти, там как раз говорится насчет рая и ада.

— О, расскажите, прошу вас.

— «В рай попадут лишь те люди, о которых я сейчас расскажу. Туда идут престарелые священники, немощные, старые калеки, что по целым дням и ночам толпятся у алтарей и старых склепов, туда идут те, кто ходит в лохмотьях, поношенных плащах, те, кто бос, наг и оборван, кто умирает от голода, жажды, от холода и нищеты. Все они идут в рай, но мне нечего с ними делать. Мне же хочется отправиться в ад, ибо в ад идут отменные ученые, добрые рыцари, погибшие на турнирах, туда идут славные воины и свободные люди; с ними мне и хотелось бы пойти. Туда же идут прекрасные благородные дамы, что имеют по два или по три возлюбленных, не считая их мужей; туда идет золото и серебро, дорогие разноцветные меха, идут игрецы на арфе, жонглеры и короли нашего мира».

Конечно, Этьен, если судить по моей худобе и лохмотьям, мне прямехонько топать в рай, но перед господом нашим мы все наги и босы, и худобу или дородность апостол Петр не на безмене мясника взвешивает, а на весах с золотой и железной чашами. Так что, по всему виду, идти мне вслед за рыцарем Окассеном, за моими друзьями-жонглерами, за дамами, у которых по три возлюбленных, а я знавал и таких, которые меняли кавалеров чаще, чем гребни в волосах.

Конечно, в раю неплохо, одно только скверно — вино там слиш-



ком дорого, хотя какая-нибудь бурда и там найдется. Не было гонца из парламента?

— С утра не было. Да вы не убивайтесь так.

— А как же мне убиваться, сынок? Ты ведь знаешь, что в Книгу Судеб простому смертному не дано заглянуть, дабы узнать день своей кончины, я же мусолю палец и перелистываю Книгу не впервые. Но, видно, пьяный немец ее набирал, что столько в ней ошибок. Так говоришь, не было вестей из парламента?

— Да говорю же, нет.

— Мог бы и соврать. Наверное, ни от кого мир не видал столько зла, как от правдолюбцев. Монахи — те хоть врут, да складно.

— Ну, уж по части соврать вы и францисканцам нос утрете. Капеллан говорит, что у вас язык ехидны — раздвоенный и с него яд каплет.

Франсуа показал язык.

— Ну как, раздвоенный?

Гарнье потрогал язык, обтер пальцы о штаны.

— Так-то вроде нет, а там кто его знает.

— Ну, Фоме до тебя далеко, он хоть в рану персты вложил, а тебе мало и пятерней в рот залезть.

— Так кому же верить, мэтр Вийон? Вот вы обещали мне спеть балладу, а не спели. Что ж, до богородицыного обрезания ждать? А капеллан врать не станет.

— Ладно, неси лютню, хотя есть дела поважнее.

Гарнье запер замок и пошел за лютней. Нес, стараясь не попасться на глаза лейтенанту Массе, которого вся внутренняя стража боялась.

А узник шестой камеры сидел на полу, обхватив острые колени, и думал: дошло его прошение о помиловании до парламента или не дошло? Вчера приходил дядя Гийом, но и он толком ничего не знал, хотя знакомый писец из канцелярии сказал ему, что какая-то бумага из Шатле получена, но в Шатле сидят и графы, и бароны — уж за них-то есть кому замолвить слово.

После того как мэтр Гийом де Вийон продал виноградник и заложил домишко, он стал совсем больным — ему трудно стоять, и левая рука мелко дрожит. Он уже ходатайствовал за племянника перед женой прево, и перед королевским хирургом Женильяком, и перед ректором Сорбонны, но не встретил в их сердцах сочувствия к непутевому Франсуа. Осталось уповать на милость бывшего ученика, кардинала Жана ле Дюка, но кардинал пребывал в Авиньоне, где даже в декабре трава зеленая, а небо нежно-голубое. И судьба Франсуа сейчас была в седельной сумке папского гонца, взявшегося доставить письмо кардиналу, — он уже мчался, прищипорив гасконского скакуна, по снежной дороге — гонец в желто-черном кафтане с серебряным крестом, вышитым на груди.

«Смешно, — подумал Франсуа, — в седельной сумке папского гонца судьба того, кто облыжно обвинен в убийстве папского нотариуса».

— Мэтр Вийон, я принес лютню.

— А вино?

— Насчет вина вы ничего не говорили.

— Так сейчас говорю, раз ты сам не догадался. — Гарнье со вздохом достал из-за пазухи фляжку. — Ну вы, анжуйцы, и сквалыги; небось собственное дерьмо и то складываете в сундуки — авось сгодится.

— Так и от дерьма польза.

— Вот и я про то же. Принеси табурет.

Открыв фляжку, Франсуа запрокинул голову и взвыл от боли, ткнувшись рассеченным затылком о стену, — показалось, на тонзурю плеснули кипятком. Он встал посреди комнаты и осушил всю фляжку. Боль в голове утихла.

Паршивец Гарнье, конечно, опять разладил лютню, пальцы бы отрубить таким музыкантам! Франсуа нежно погладил округлый кузов, подтянул колки. Ах, как нежно пели струны под тонкими воровскими пальцами Ренье де Монтиньи, с которым Франсуа последний раз увиделся шесть лет назад, встретив его с раздувшимся брюхом, вывалившимся языком, — Ренье висел на обледелой веревке. А три года спустя на дороге, ведущей в Мэн, увидел Колэна Кайо, сына замочного мастера из квартала Сен-Бенуа, — они вместе грабили Наваррский коллеж и ризницу в Боконе. Это Колэн дал шлюхе из «Кельнской монахини» два денье, чтоб та легла под Франсуа; он учил его воровскому жаргону и обращению с отмычкой. Они, друзья его юности, висели, как яблоки на ветке, и вот теперь настало время потесниться им на перекладине, чтоб и ему нашлось местечко.

Он перебирал струны, и звуки туридона кружились снежинками в тесной вонючей камере.

— Нет, вы обещали спеть другое.

— Ты прав, сынок, грех обманывать. Принеси мне бумагу и свинцовую палочку, да побыстрее, потому что не только тебе я обещал, но и Парижскому суду.

Вспомнив о суде, Франсуа побледнел, ужаснувшись собственному легкомыслию; схватившись за голову, он раскачивался и стонал. Запыхавшийся сторож принес бумагу. Встав на колени перед табуреткой, Вийон поцеловал свинцовую палочку, но, вместо того чтобы старательно вывести заглавную букву с завитушками, рука его сама собой нарисовала виселицу и повешенного с круглой головой, тонкими ручками и ножками, обутыми в туфли с длинными острыми носами. Рядом — второго человека, с головой кудрявой, бородатого, сжимающего в кулаке кольцо с ключами, похожего на святого Петра. Потом нарисовал ветвистое дерево, а между столбов виселицы пролегла дорога, над которой светило солнце. Потом косо заструился дождь; он шел все сильнее, пока совсем не зачеркнул виселицу, дерево, солнце, дорогу. И вдруг действительно пошел дождь — на лист упала одна капля, другая... И, словно спасаясь от дождя, разбежались по листу серые буквы...

Потомки наши, братия людская,
Не дай вам Бог нас чужаками счесть;
Господь скорее впустит в куши рай

Того, в ком жалость к нам, беднякам, есть,
Нас пять повешенных, а может, шесть,
А плоть, немало знавшая услад,
Давно обожрана и стала смрад.
Костями стали — станем прах и гнилость.
Кто усмехнется, будет сам не рад.
Молите Бога, чтоб нам все простилось¹.

— Этьен, сынок, хочешь заработать целую горсть «беляшек»? Молчи, по глазам вижу, что не прочь. Отнеси эту бумагу мэтру Ги Табари на улицу Кло-Броню. Ты его знаешь — он сзади похож на свинью, да и спереди тоже — и скажи, что я велел насыпать тебе полную пригоршню монет.

— А если не насыплет?

— Тогда отдай так, а господь с него взыщет.

Зазвенел колокол.

— Ох, да ведь уже время третьей стражи, а я не разнес по камерам ужин, и все из-за вас! Дайте табурет.

— Послушай, сынок, а все-таки я ловко сделал, что апеллировал к парламенту, не каждый зверь сумел бы так выкрутиться, спасая свою шкуру.

Гарнье расстегнул камзол, спрятал бумагу и запер дверь. Потом снова загремел засовом — забыл лютную. Наконец стало тихо. Тихо и темно.

ГЛАВА 6

...Два конных сержанта и восемь латников охраняли узкую сводчатую дверь зала суда. Вийона, закованного в железа, провели в зал — громадной высоты, с голубым куполом, расписанным золотыми звездами. В витражи окон лился чистый зимний свет, дробясь на пурпурные, зеленые, желтые лучи, дрожавшие на гладких плитах пола, украшенных золотыми лилиями. Над резными створками дверей возвышались исполинские рыцари в стальных панцирях, каждый из них держал шестопер и сине-золотой штандарт. На балконе для публики, нависшем над креслами членов суда, толпились дамы и кавалеры. В многоцветном великолепии бархатных платьев, мехов, шелковых и атласных корсажей Вийон узнал Катерину де Воссель, дядю Гийома де Вийона и еще множество тех, кого знал.

Снег, налипший на босые ноги, растаял, и ступни оставляли на плитах мокрые следы. Два самых широких простенка справа и слева от королевского судьи были затянуты гобеленами, затканными вздыбившимися крылатыми конями. Над головой судьи висело распятие; казалось, Иисус, склонивший голову к правому плечу, внимательно следил за тем, что происходит в зале. Справа от судьи сидели члены суда в черных мантиях с горностаевыми воротниками; ряд ниже занимали следователи, еще ниже, прямо на полу, к топотрам склонились писцы с перьями наготове.

¹ Перевод А. Парина.

В зале было шумно; трещали факелы, шуршали платья, переговаривались члены суда, что-то кричал подсудимый, стоявший на коленях посреди зала.

— Именем короля! Оглашается приговор нечестивцам и врагам святой веры: бывшему кожевнику Жеану Берардо, бывшему лицензиату Эгле де Ло, бывшему хозяину свечной мастерской Ютену Симону, обвиняемым в том, что вышепоименованные преступники отказались крестить своих детей. Учитывая особую дерзость и злонамеренность преступников, суд города Парижа, самым добросовестным образом рассмотрев дознание и следствие, приговаривает: Жеана Берардо — к содранию кожи, Эгле де Ло — к сожжению на костре, Ютена Симона — к отрубанию правой руки, левой руки, правой ноги, левой ноги и усечению головы.

Стража подняла несчастных и повлекла к дверям; Франсуа не успел рассмотреть лица, только одно — с упрямо сжатыми губами, безумно горящими глазами, и еще он почувствовал вонь испражнений.

Прокурор наклонился к судье, что-то шепча на ухо, должно быть, предлагая сделать перерыв, чтобы окурить помещение вереском. Тот покачал головой.

— Стража, подведите обвиняемого. Франсуа Вийон, урожденный Монкорбье, именуемый также Франсуа де Лож и прозванный, кроме того, Мишелем Мутонем, вы обвиняетесь в том, что вместе с Робеном Дожи, Гютенем дю Мустье и Пишаром совершили злонамеренное нападение на папского нотариуса мэтра Ферребу Мустье, который вследствие жестоких ран скончался в госпитале святой Цецилии. Ваши сообщники показали на допросе, что именно вы подстрекали их к убийству нотариуса. Учитывая их чистосердечное признание, ходатайство ректора Сорбонны и общины святого Бенедикта, суд посчитал возможным ограничиться отрубанием правой руки каждого преступника. Угодно ли вам ознакомиться с показаниями свидетелей? Мэтр Корню, запишите: «Не угодно». Вы же, как стало известно почтенному суду, не первый раз бросаете вызов правосудию. Присутствующий здесь следователь Жан Мотэн вел дело о дерзком ограблении Наваррского коллежа. Мы также располагаем сведениями о покушении на жизнь священника Филиппа Шермуа, о вашем соучастии в воровской шайке «Ля Кокиль», об оскорблении госпожи де Воссель, а также краже четырнадцати экю у девицы Лиенарды Каши, о студенческих беспорядках, вызванных хищением «Тумбы дьявола». Признаете ли вы свое участие в перечисленных преступлениях?

— Признаю, ваша милость, но мэтра Ферребу Мустье я не убивал.

— Суд и не ждал от вас чистосердечного признания. Но, мало того, вы позволили себе высмеять некоторых из присутствующих здесь в пакостных стихах, известных в городе под названием «Заветы». — На галерке оживились. — Мэтр Корню, зачитайте список, приобщенный к делу. Да, да, можете начать с себя. Что вы там бормочете себе под нос? Читайте громко и внятно!

Затем почтенный Жан Корню,
А может быть, Итье Маршан —
Обоим равно я ценю —
Получит тот, кто меньше пьян...

Покрасневший писец скосил глаза на сидевшего рядом Валз Робэра
и громко прочитал:

Затем дарю Валз Робэру,
Писцу Парижского суда,
Глупцу, ретивому не в меру,
Мои штаны, невесть когда
Заложенные, — не беда!
Пусть выкупит из «Трюмильер»
И перешьет их, коль нужда,
Своей Жаннете де Мильер!..

Жаннета де Мильер, любовница Валз Робэра, завертелась на
скамейке, обитой зеленым сукном, как на раскаленной сковородке,
а справа и слева бесстыже заглядывали ей в лицо, показывали паль-
цами.

Затем дарю без сожаленья
Мотэну Жану, ссй свинье...

— Господин судья, я настоятельно прошу прекратить чтение
оскорбительных стишков, не имеющих отношения к делу обвиняе-
мого.

...В темнице годы заточенья,
А пытки — Пьеру Базанье...

Рядом с Матэном теперь стоял и королевский нотариус Ба-
занье — оба красные от гнева, размахивающие руками. А голос
мэтра Корню безжалостно продолжал выдергивать, как крючком,
новую поживу для толпы, теснившейся в зале и на галерке. Уже, рас-
stalkивая стражу, к выходу спешил Фурнье — прокурор прихода
святого Бенедикта, но слова с грохотом катились ему вслед, и он
беспомощно закрыл голову руками.

Дабы мой прокурор Фурнье
Во время зимних холодов
Не замерзал в своем рванье,
Мое отдать ему готов...

Выбравшись на улицу, Фурнье еще слышал хохот и ненавистные
слова. Утерев пот рукавом мантии, он остановился на каменной
ступени и украдкой вернулся в зал — послушать, что же проклятый
школяр написал об остальных.

Затем сержантов городских,
Которых забывать не след,
Вознагражу, хотя б двоих:
Дени Ринье и Жан Валлет
Получат славный амулет —
Петлю витую из мочала...
Затем, для пущего веселья,
Палач Маз, Дубовый Нос,
Любовное получит зелье,

Чтоб он к жене своей прирос
И целовал ее в засос,
Ни неба, ни земли не чуя,
И доводил до горьких слез
Своим... Но тут уж промолчу я...

— Папаша Маз, поделись своим зельем. — Сержант Ришье протянул руку.

— Дубовый Нос к жене прирос! — крикнули с галерки.

— Не верьте школяру Вийону, он оклеветал доброго дядюшку Маз, иначе бы его жена не задираала юбки перед каждым.

В зале стоял такой шум, что мэтр Корню отложил бумагу, растерянно глядя на прокурора. Тот подозвал начальника стражи капитана Ру и велел утихомирить публику.

Для судей старый их сарай
Я после смерти перестрою,
Чтоб был не суд, а просто рай,
И всем по креслу дам с дырою
Из уваженья к геморрою,
А чтоб покрыть расходы все,
Пусть будет оштрафован вдвое
Шлюшонка лейтенант Массэ!

Лейтенант Массэ д'Орлеан — смуглый красавец в плаще с белым крестом — выхватил кинжал и бросился к Вийону, но стрелки капитана Ру схватили его за плащ, за руки, и завязалась потасовка, ибо городские стражники давно задирали судейских, и здесь, во Дворце правосудия, судейские наконец-то оказались в большинстве. Трещали камзолы и плащи, в щепы разлетались табуреты, дубинки гремели по шлемам, и, если бы не свирепые угрозы прокурора де ля Дэора, ворвавшегося в гущу свалки, пролилось бы много крови. Лейтенант Массэ, стиснув зубы от боли, обвязывал платком рассеченную ладонь. «Эй, стража, дорогу шлюшонке Массэ!» — и вслед ему захохотали, заулюлюкали, засвистели. Никогда в жизни Массэ д'Орлеан не испытывал такого унижения. Да еще Корню, потеряв место, где кончил читать, под громовой хохот снова начал как раз с этой строки:

Шлюшонка лейтенант Массэ!
Повытчику де Вакери —
Мы тезки с ним, да не дружки —
Дарю обновку от Анри:
Тугой ошейник из пеньки...!

Франсуа смотрел на лица капитанов и сержантов, писцов, следователей, прокуроров, судей, повытчиков, аудиторов — багровые и бледные от ненависти к нему, когда стихи хлестали их, хохочущих до слез — когда речь шла о других, на беснующуюся толпу, грозящую топотом обвалить галерею, на справедливый королевский суд, на тех, с кого Вийон и без подручных палача живьем содрал кожу, кого сжег на костре острот, колесовал разящей сталью смеха.

¹ Перевод Ф. Мендельсона.

Казалось, хохотали даже рыцари, закованные в блещущие доспехи, и ржали крылатые кони, сотрясая щит королевского герба. Напрасно помощник прево господин Пьер де ля Дзор звенел серебряным колокольчиком, напрасно господин прокурор Жан де Байли приказывал сержантам утихомирить публику, и напрасно сами сержанты, гремя шпорами, штурмом овладели двумя лестницами, ведущими к галерее, и вытолкали кого-то взашей, — никогда еще так не смеялись в Парижском суде, как 5 января 1463 года. И даже когда хохот смолк, то там, то здесь вспыхивали огоньки смешков, и сами члены суда, достав носовые платки, делали вид, что сморкаются или чихают. И никогда еще, пожалуй, стихи Вийона не звучали перед столь многочисленной изысканной публикой.

А сам Франсуа, не видя никого, слышал скрипучий голос Корню — и холодел от страха: неужели это его рука, его душа, его слова? Это не слова, а горсть горошин, гремящих в ночном горшке! Жалаящие? Да. Но, подобно пчеле, тут же умирающие, оставив жала в шкуре обидчиков. А рифма, господи! «Де Вакери — Анри»! Действительно, стишки. И быть повешенным за них?! Клянусь «Романом о Розе», такого бездарного стихоплета довольно выпороть, как нашкодившего школяра.

Слезы стыда и обиды вскипели на глазах. Клянусь, прошептал Франсуа, если господь явит милосердие и вытащит меня из петли, я напишу прекрасную балладу, отточенную как клинок, за которую действительно не стыдно быть удушенным!

— ...Учитывая все это, — сорванным голосом просипел де ля Дзор, — суд города Парижа признает подсудимого Франциска Вийона, родившегося в Овере близ Понтуаза, тридцати двух лет, лиценциата и магистра, виновным в злонамеренном убийстве папского нотариуса мэтра Ферребу Мустье. Мэтр Корню, огласите приговор.

Писец Корню, утерев рукавом рясы смеющиеся глаза под мохнатыми бровями, взял со стола свиток, запечатанный красной печатью соттиском святого Христофора; в тишине послышался хруст сургуча и звон развернутого пергамента. Смех мешал Корню придать голосу надлежащую суровость, он хихикал, но, встретив суровый взгляд прокурора, сразу стал серьезным.

— ...Приговорить Франциска Вийона быть повешенным и удушенным на виселице города Парижа! Исполнить без промедления.

— Стража, увести преступника!

— Но я не убивал! Клянусь всеми святыми, я не убивал! Я невиновен, господин судья, клянусь, я напишу балладу, восхваляющую Парижский суд. Это ошибка, я не убивал!

Франсуа извивался, как Гиньоль над ширмой балаганщика, а железные перчатки латников пытались поймать его верткие руки, пока один из стражников, взбешенный извивающимся человечком, не опустил стальной кулак на его затылок.

Брошенные с балкона розы зацепились шипами за рукав изодранного грязного камзола, но непрочны и на лестнице упали. Впрочем,

тот, кому добрая рука предназначала букет, все равно не видел шевеления — его окровавленная голова бессильно склонилась к правому плечу, как у распятого Иисуса Христа, тридцать трех лет, не лиценциата и не бакалавра.

ГЛАВА 7

— Я здесь, Франсуа.

— Благодарю, господи, что услышал мою молитву, и за все грехи прошу у тебя прощения. Ты — единственный, у кого хватило времени выслушать мои стенания, единственный, кто не пожалел для меня ни тела своего, ни крови своей. Взгляни на меня — что сделали со мной палки, тюрьмы, оковы, дыбы, веревки, ошейники, цепи! Святой Христофор перенес тебя, когда ты был младенцем, через реку на своей спине, меня же во имя святого Христофора реку заставляют выпить. Горько, господи, принять мне муку, разве разбойник я, чтобы распяли меня?

— Я ли не был рядом с разбойниками на кресте?

— Но ты воскрес через три дня, меня же расклюют вороны, изложут могильные черви. Посмотри, как прекрасен яблоневый сад, когда ветви клонятся под тяжестью спелых плодов, покрасневших с боков и кипящих соком. Но приходит хозяин сада, трясет ствол сильными руками, бьет палкой по ветвям — и застучали плоды по земле, пролились золотым дождем. Уже и бочки полны сидра, и даже свиньи отворачивают рыла от корыта с яблоками — сыты, ему же все мало. Вот уже на самой вершине, дрожащей от ветра, осталось одно, укрытое зеленой листвой, и горит, как свеча, ему же все мало, и он берет жердь еще длиннее. Когда и последнее упадет, ударившись о землю, как отличить яблоню от каштана и дуба, груши и вишни?

— По листьям и коре, Франсуа.

— Не по плодам разве, не по детям ее? Прошу, оставь меня там, где я родился.

— Разве на кресте я родился, не в яслях? Разве ты яблоком на яблоне родился, а не человеком на земле? Что ж не подумал ты о яблоке, когда дочиста обобрал меня у улицы Ломбардцев, приставив нож к его горлу? На вашем воровском языке суд зовется «колесом», вот оно и катится, ломая ваши кости.

— Но тот меняла сам был вор.

— Передо мною все вы — воры, ибо разве кто из вас сказал: довольно мне? Нет, вам все мало, если что у другого есть, а у одного нет, так это вам обида горше желчи. И хоть гору золота вам дай, возопите: хотим две горы! Что же не вспомнил ты о яблоке, когда в прошлом году стащил четырнадцать экю из сундука гулящей девки? Ремесло ее вы называли блудом и презираете, а оно горько и тяжело, — так же торгует она телом, как я, только, вкусив моего тела, креститесь и творите молитву, ее же — плюется гнилой слюной, словно ехидны. А золото из ризницы в Боконе не ты ли взял? Город Иерихон разрушил Иисус Навин; на все богатства наложил заклятье, чтоб сокровища отошли к сокровищнице господи, но Ахан украл из

заклятого одежду, серебро и золото, за что бог наказал всех израильтян. Всех! Ты же украл из дома моего.

— Но я был голоден.

— Ржаной хлеб стоит один су. Почему же не взял на один хлеб, если был голоден, а груды золота? Знаю, по ярмаркам и постоянным дворам продавал ты свои баллады по два су за штуку, а разве они дважды дороже хлеба, что назначил ты такую цену?

— Прости, господи, но об этом лучше судить мне, в нашем деле тебе не разобраться. Это мое поле, мне его пахать; на этом поле я и плуг, и вол, и пахарь. Сосуд, в который собрана твоя кровь, называется чашей; кровь же, пролитую мной, соберут, когда настанет время, между двумя досками, обтянутыми сукном или телячьей кожей, и станут называть не чаша, но книга. Так разве дорого я брал за свою кровь, за вечную душу свою, спрашивая с торгующихся по два су, тогда как карп стоит семь? И разве за то меня судят, что обмеривал или обвешивал ради барыша? Ты ведь знаешь, что я не убивал, почему же не отсохла рука у писца Корню, почему не прирос язык к гортани у помощника прево де ля Дзора? А завтра повлекут меня на телеге на унылое поле за воротами Сен-Дени, и палач, алый как заря, на лошади, укрытой до копыт багряной попоной, заслонит мне жизнь...

— Скорблю о твоей душе.

— К мертвым и я добр, господи, а ты живых помилуй! Протяни мне руку, чтобы я восстал, и клянусь тебе...

— Не клянись.

— Но я хочу жить! Разве это грех — жить?

— Жить? А что такое жить? Красть, пить вино, распутничать, клаясь лживой клятвой? Как жена Лота оглянулась на дом свой, оглянься на жизнь свою — и остолбенеешь. Дом твоей жизни горит, скрепы вырваны, кровля из балок трещит, рушатся стены, и нет дома — головешки и зола. Зачем же просишь новый дом, если не берег старый? Теперь скулишь, как пес.

— Ничего не прошу, о милосердный, только черствую корку жизни.

— А это и есть дороже всего. Страшны твои увертки, Франсуа! Знаешь, кто зарабатывает хлеб, пятась назад? Канатчики. Видел ты их на Хлебной пристани и в порту: пятась назад и плетут, пятась и плетут. Тебя же ноги несут вперед, а голова обращена назад. Вот ты говоришь о поле, которое вспахал... Что же ты сделал со своим полем? Засеял его чертополохом, а не хлебом. Слова твои из глины, а время — проливные дожди; прошли — и где твои слова? Размыло, унесло прочь с грязной водой.

— Прости, что прекословлю, господи, но ты не прав. Да, сам я создан из глины и глиной стану, но глина моих слов, обожженная огнем времени, станет тверже камня. Уж в этом деле я знаю толк больше многих! И странно мне, что ты, принявший муку ради слова...

— Не слова, Франсуа, а Слова.

— А оно и становится Словом, наполненное живой кровью.

Скорчившись, лежит в утробе — еще никто, не выкидыш и не дитя. Когда же начинает рвать чресла матери, и мать кричит от боли, рожая плод в крови и последе, и смертный пот течет по ее лицу, тогда рождается Слово. Бывает, что роженица умирает после родов, как было и с тобой, благой и милосердный. Так умереть и я согласен, но за чужую руку, пырнувшую ножом мэтра Ферребу?! Будь же защитой мне, а не прокурором.

— Я не прокурор, нет на мне черной мантии с горностаевой опушкой — такое же рубище, как у тебя. И не свидетель я, показывающий на тебя. Эх, Франсуа, не знаешь ты меры ни в отчаянье, ни в надежде... Что ж, человек, живи. Доверь свою жизнь божьему промыслу и помни: черенок плода твоего, прилепившегося к ветви, тоньше паутины: довольно ветру дохнуть, пролиться дождю или ударить граду — и упадешь мимо моей ладони. Оборонись молитвой, как твоя кроткая мать; помни о ней — по колено в ее слезах бредешь, потому и одежды твои солоны, и губы горьки, как вода морская, и волосы белы, как соль.

Господь положил легкую руку на глаза Франсуа, и стало светло, золотистые искорки закружились, соединяясь в белые листья, как распутившиеся лилии, и Франсуа увидел желтое светоносное яблоко; оно росло, уже не умещааясь во взоре, наполняя все окрест красной и розовой желтизной. Свет обнял сердце Франсуа, как крохотное семечко.

— Господи, как легка рука твоя...

ГЛАВА 8

Хотя от парламента до Шатле было не больше четверти часа ходьбы, повытчик Жиро успел продрогнуть под сырым снегом и клял спешку, вынудившую его выйти из канцелярии на безлюдную улицу. Он ненавидел Вийона, и уж, будьте спокойны, он, его супруга и трое детей сразу после утренней молитвы поспешили бы к воротам Сен-Дени, чтоб не пропустить сладчайшей минуты, когда фигляр Вийон задрыгает ногами. И вот теперь не кто иной, как он, мэтр Антуан Жиро, спешит, мокрый и продрогший, вручить коменданту Шатле указ о помиловании. Есть от чего сойти с ума! Да можно ли после этого верить в правосудие, если живодеры и убийцы выпархивают из тюрем, как шеглы, надувшие птицелова? Да как жить после этого?

Ругаясь, как тамплиер, Жиро дошел до площади и уже вдохнул побольше воздуха, чтоб без передышки добежать до арки ворот, но вдруг остановился и круто свернул в переулок, в кабак под вывеской «Дыра Жаннетты». Усевшись поближе к очагу, велел болтливой служанке принести кружку амбуасского пива и стал пить маленькими глотками. Он-то знал, каково сейчас приговоренному к казни, как ужасна каждая минута ожидания, и, чем меньше в кружке оставалось пива, тем медленнее Жиро пил, обсасывая черные усы. О, если б мог он швырнуть ненавистное письмо в очаг, он не пожалел бы десять экю за такое удовольствие. Нет, даже двенадцать. Баллады

и рондо этого фигляра, будь он проклят, знает весь Париж, а он, кто сочиняет куда изысканней и благозвучней и переписывает набело красивым почерком, изукрашивая буквы синим и киноварью, должен дарить стихи вельможам и их женам. И хоть бы раз услышать, как кто-нибудь на рынке или в кабаке, да хоть в отхожем месте, прочитал строчку из его баллад! А тут весь город только и ждет, когда пройдоха Вийон скроит из лоскутов свои пестрые стишки. Да что вы в них нашли, дурачье безмозглое?! Мало вам грязи на улицах? Зачерпывайте полными горстями, жрите: ведь он тычет вас носом в дерьмо, а вы восторженно хлопаете. Слепцы! Где уж вам разглядеть красоту истинной поэзии, в которой расцветают розы и фиалки, самоцветами сверкают брызги фонтанов, блещут поножами и оплечьями доспехов отважные рыцари, нежно поют прекрасные дамы с лицами белее лилий. Ведь об этом он и написал в своем лэ о нежной Гийометте.

Жиро велел служанке принести еще кружку. И, удовлетворенный тем, что его поэзия бесспорно лучше, поглубже натянул шляпу, от которой валил пар. Он просидел в таверне не меньше получаса, потягивая пиво. Время шло незаметно — но не для того, кто кричал, слышав даже шорох мыши.

Достав указ из бархатного кошель с оловянными застежками, подвешенного к поясу, Жиро передал его коменданту Шатле и получил расписку. Постоял, ожидая, что скажет господин де Лонэ. Тот громко, по складам прочитал бумагу, но странным образом ничего не сказал. Дважды дернул шнур колокольчика, а когда вбежал алебарщик, приказал: «Капитана Тюска ко мне, живо!»

Выйдя из кабинета де Лонэ, Жиро увидел, как, звеня шпорами, прошел, развевая плаш, капитан Тюска. Второпях он неплотно прикрыл дверь, и Жиро все слышал.

— Взять кузнеца, расклепать заключенного в шестой камере. Если были вещи в момент ареста, вернуть все до последней нитки. И доставить ко мне! И еще, капитан: не дай бог, чтоб мэтр Вийон упал с лестницы и нечаянно сломал себе шею, как иногда случается в нашей тюрьме по причине недостаточного освещения. Ведите его под руку, как свою любовницу, а то, я слышал, вы обижены на Вийона.

— Но, сударь, задета честь дворянина!

— Тюска, я не ослышался? Вы, кажется, изволите мне объяснять, что такое честь дворянина? Когда нянька утирала вам сопли, я уже командовал ротой лучников при Корвуазье. Да, я старый солдат и ни черта не смыслю в поэзии, но помяните мое слово: ваши потомки будут гордиться тем, что честь капитана Тюска задел безродный бродяга и вор. И не пыжьтесь, как индюк! Даже вам, лучшему арбалетчику графства, держу пари, не удастся попасть с одного лье в корову, а этот рифмоплет без промаха всадит слово в комарино задницу.

— Да вы редкостный знаток поэзии, господин комендант.

— Еще раз повторяю, что я смыслю в ней как хорек в румянах, а что касается меткости Вийона, то я лишь передал слова, которые вчера его величество король французов Людовик XI изволил сказать

господину прево д'Эстутвиллю, подписывая эту бумагу. — Комендант потряс свернутым пергаментом перед лицом Тюска, так что сургучная печать больно шелкнула его по носу. — И хватит, черт возьми, подкручивать усы! Выполняйте приказ!

Тюска, скрипя зубами, промчался мимо ошеломленного Жиро, стоявшего рядом с дверью. «Господи, неужели даже король читает этого подлого Вийона?! Видно, сам дьявол, ухватив его перо копытом, корябает бумагу, иначе как он так ловко всех околдовал и заморочил?»

Пока Жиро сокрушался, забыв даже поднять капюшон плаща, капитан Тюска, отвесив затрешину Гарнье, замешкавшемуся с ключами, велел кузнецу расковать Вийона. Кузнец пробойником и молотом расклепал кандалы и ушел. Франсуа растер обитые запястья, взгляделся в тонкое смуглое лицо под шляпой.

— Вы ли это, господин капитан? Здесь, в такое время?

— Да, я, любезнейший, и поверьте, я с громадным удовольствием насадил бы вас, как каплуна, на свой клинок.

— Зачем же отбивать хлеб у Дубового Носа, простите — у сержанта Маз? До сих пор он недурно справлялся с обязанностями палача, и вы напрасно торопитесь на его место. Если же я вас оскорбил, я готов дать сатисфакцию.

— Как! Мне, дворянину де Тюска, драться на дуэли с беспородным псом!

— Ах, простите, я и забыл, что псов породистых узнают по обрезанным ушам. — Вийон потрогал свое ухо. — Увы, ухо как ухо.

— Клянусь мощами святого Георгия, если мы с вами еще встретимся в Париже, вы даже икнуть не успеете, как напрямик отправитесь в ад.

— А я клянусь вам «Романом о Розе» — моей любимой книгой, что разведу под вашей задницей такой костер, который вам не погасить, мочитесь вы кряду хоть сто лет.

— Ах, негодай!

— Господин капитан, господин капитан, умоляю вас, я отвечаю за жизнь заключенного.

— Кричи громче, Гарнье, ведь у господина капитана породистые уши.

Тюска почувствовал такую обиду, что в носу у него зашекотало.

— Ну, мерзавец, ты мне заплатишь за все! Бери свои лохмотья и вон из камеры.

— С удовольствием. Уверяю вас, я не собираюсь здесь задерживаться. — Вийон встал на колени в углу камеры и шепотом позвал: «Туссэн, Туссэн». Из норки показался мышонок, обнюхал палец, вскарабкался на ладонь. Вийон погладил дрожащего Туссэна. — Ну, я готов, господа.

— Это еще что такое? — взревел капитан.

— Мой приятель, он так же невиновен, хотя нас обоих держат под замком. Не дрожи, Туссэн, отныне мы с тобой свободны.

— Гарнье, мэтр Вийон был доставлен в камеру вместе с этой тварью?

- Упаси вас бог, господин капитан!
- Значит, это казенное имущество?
- Да какое же это имущество?
- Тюска смахнул мышонка на пол и раздавил каблуком.
- Что вы там бормочете, мэтр Вийон? О, у вас даже слезы выступили на глазах. Говорите громче, я не расслышал.
- Еще услышите!

ГЛАВА 9

Комендант де Лонэ встал, протянул пергамент Вийону.

— Что же вы не читаете?

— Я прочитал.

— Как прочитали? А почему же я не слышал? Вы даже губ не разжимали.

— Для этого не обязательно шевелить губами.

— Да ну! Я что-то слышал такое, но вижу впервые. А ну-ка прочитайте вот это и скажите, про что здесь говорится. — Комендант подал томик в тисненном переплете из желтой телячьей кожи и показал пальцем.

— Здесь? Ага, сейчас... «Ах, Гильом, милый мой дружок, сколько раз клали вы ваши прекрасные руки, такие белые, на этот красивый живот и на бедра и ласкали мое тело там, где вам хотелось...»

— Достаточно. — Комендант смущенно кашлянул. — Правда, тысячу чертей в ведьмину глотку! Значит, вы прочли бумагу и знаете, что парламент, внимательно рассмотрев ваше обжалование, отменил казнь, но, принимая во внимание вашу дурную жизнь, заменил казнь десятилетним изгнанием из Парижа и графства Парижского. Это означает, мэтр Вийон, что завтра после третьей стражи вы должны покинуть город через любые из двенадцати ворот. И советую вам в ближайшие десять лет не возвращаться.

— Господин комендант, могу ли я просить суд о трехдневной отсрочке — я хотел бы проститься с матушкой и собрать все необходимое в дорогу. Кроме того, я не выполнил обещание, данное суду.

— Какое же?

— Я обещал написать балладу, восхваляющую справедливый суд.

— Мне нравится ваша решимость сдержать слово. Я предоставлю вам бумагу, чернила и перо и в придачу бутылку морийона; как только высохнут чернила, стражник рысью доставит прошение в суд. Но при одном условии: вы оставите мне копию баллады. Писать можете здесь. — Комендант позвонил в колокольчик, велел стражнику принести то, что перечислил. — Надеюсь, мое присутствие не будет вам в тягость?

— О, господин комендант!

Франсуа сел спиной к очагу, с наслаждением вытянул ноги и попробовал густое темное вино. Он сидел неподвижно, не опуская

кружку, вбирая сутулой спиной жар буковых поленьев, сиявших золотыми слитками на решетке очага. Сквозь стекла сочился тусклый свет, трещал фитиль жирника, за дверью топала стража, стучали алебарды, а господин комендант де Лонэ улыбался красным простодушным лицом с белыми рубцами шрамов. Длинные русые волосы лежали на широких плечах, курчавились в вырезе сюрко под расстегнутым камзолом.

Франсуа погладил щеку черным пером. Вдруг, словно чья-то рука протянулась вырвать лист, он крепко прижал его к столу и стремительно написал: «Баллада-восхваление Парижского суда с просьбой предоставить Вийону три дня отсрочки на сборы перед изгнанием». Засмеялся: в который уже раз смерть отступила, лишь погрозила пальцем. Но не время думать о смерти! Господин де Лонэ уже зевает, прикрыв рот рыцарским романом. О странный человек! Едва ли кому из рыцарей доставалось больше ударов копьём и мечом, но о своих ранах он вспоминает с улыбкой, зато проливает слезы, читая о битве, в которой сражались Оливье и Роланд или Майнет и Браймент. И все пять чувств его, подобно пальцам, сжимающим сердце, отзываются на каждый удар меча гиганта Морхольта по щиту Тристана. Проснитесь же и вы, мои пять чувств: рот, омытый хмельным вином; глаза, вновь видящие свет без страха; уши, еще слышащие удары молота, сбивающего с рук оковы; кожа, ловавшая жар буковых поленьев... Пять чувств моих, проснитесь: чуткость кожи, и уши, и глаза, и нос, и рот...

Одним духом он дописал балладу, переписал копию и, присев на корточки перед камином, ждал, пока комендант де Лонэ, так и не постигший искусства читать молча, громко прочитает стихи.

— Черт подери, и как вам это удастся?

— Читать?

— Да нет, писать! Легче командовать трехтысячной армией, чем этими двадцатью буквами.

— Двадцатью пятью, господин комендант.

— Я и говорю, полуротой. Кстати, дорогой Вийон, одна дама — как вы понимаете, я не могу назвать ее имя — просила передать вам три эку.

— Я тронут до глубины сердца. Передайте благородной госпоже, что Франсуа Вийон никогда не забудет ее мужественного... простите, нежного сердца. Но увы, мне некуда положить эти чудесные монетки.

— Возьмите мой кошелек. — Сафьяновые ворсинки шекотали ладонь Франсуа, а золото приятно тяжелило. — Не сочтите вопрос неуместным: куда вы намерены держать путь?

— Я и сам не знаю.

— Но если вам случится быть в Марбуэ, мой старый друг Гюго де Кайерак синьор Марбуэ — вот отчаянная голова! — примет вас радушно. Я напишу на бумаге свое имя и привет — этого довольно, чтоб вы нашли там кров и пищу.

Франсуа поклонился.

— Прощайте, господин де Лонэ.

— О прощении не беспокойтесь, оно будет доставлено без промедления, но если к вечеру не будет разрешена отсрочка, завтра извольте покинуть город.

ГЛАВА 10

Франсуа обсох и согрелся, но вспотел, и спина теперь нестерпимо зудела. Два месяца он не мылся и, кто знает, когда еще, если не сегодня, сможет смыть грязь и пот.

Надвинув капюшон плаща ниже бровей, чтобы знакомые не досаждали расспросами, Франсуа поспешил на улицу Лагарп. Вот и дом с вывеской; из трубы идет дым — все как прежде. И почтенный хозяин Октав сидит за счетной доской, подчитывая барыши.

— Папаша Октав, найдется у тебя лохань для школяра Вийона? Хозяин проворно сгреб монеты в ящик.

— А, это вы. Я-то думал, что вас уже обмыли кладбищенские старухи, но, кажется, вы живы.

— Живой, папаша Октав, живет той девки, которая хохочет в мыльной.

— О, это настоящий бесенок, а ручки у нее нежные, как шелк.

— Тогда распорядись насчет вина и музыки и приготовь хороший кусок мяса, а то в Шатле не больно разжиреешь. И скажи новенькой, пусть польет мне воду.

— Ее зовут Виолетта.

Вийон сбросил на скамью лохмотья и вошел в низкую темную комнату, где стояли бадья и кувшин; запах мочи и пота щипал глаза, ноги разъезжались на скользком полу.

— Эй, Виолетта!

— Я здесь, господин.

— Ну-ка, полей мне на загривок. — Он застонал от блаженства, когда горячая вода обдала плечи и шею, скреб ногтями кожу, чесал в голове. — Подлей еще, красавица. Старый хрыч не соврал, ладошки у тебя нежнее шелка, дай-ка я тебя пощупаю, моя курочка. — В темноте он поймал смеющуюся Виолетту, стал нетерпеливо гладить живот, маленькие груди, укрытые мокрыми волосами, — твердые, как лесные орешки.

Выйдя из мыльной, он долго сидел в дубовой бадье, пока кожа его не стала розовой и скрипящей. Лежа на лавке, он с наслаждением почувствовал, как острый нож цирюльника коснулся щек; тот брил с таким умением, что на лице клиента не проступило ни капельки пота. Седые вьющиеся волосы падали с лезвия, ветерок нежно обдувал подбородок.

Потом пришла Виолетта; натерев тело Франсуа подогретым оливковым маслом, она долго разминала худые бока, узкую грудь, переворачивала его то на спину, то на живот, быстро касаясь острой грудью. Наконец прошли в зал, где на возвышении стояли три бочки, в каждой на низких скамеечках, по грудь в теплой воде, сидели мужчина и женщина, а на бочках лежала широкая доска, за-

стеленная скатертью, с вином и кушаньями. Еще дальше виднелись три крошечные комнатки с кроватями.

Франсуа и Виолетта залезли в среднюю бочку; слева от них сидел старик с редкой рыжей бородой — как он уместился в бочке, казалось чудом, потому что вместе с ним сидела толстуха, при каждом движении которой вода выплескивалась через край в бочку Франсуа. Справа, прямо в сутане и шляпе, восседал старый приятель лиценциат Мерсье, его даму Вийон тоже узнал — она торговала вафлями на улице Веррери.

— Эге, Мерсье, что ж ты не взял с собой «Грамматику»? Спрягал бы глаголы, а девчушка стряпала бы вафли.

— Франсуа, ну кто тебя за язык тянет, я же не лезу носом в твою бочку.

— Ладно, не ворчи. Что нового на факультете?

— Какие у нас новости! Король учредил стипендию для покупки розг. *Qui bene amat, bene castigat!* А тебя разве не повесили сегодня утром?

— Конечно, повесили, поэтому я с тобой и говорю. И если ты думаешь, что сидишь сейчас в бане папаши Октава, то ушипни себя за нос, ибо материальная субстанция не может одновременно находиться в двух разных местах, тем более в таких прямо противоположных, как Париж и ад, где ты сейчас и находишься. И этот крючконосый паук, бесстыдно лапающий толстуху, смотри — у него из пасти уже валят клубы серы.

Старик, грызший куриное крылышко, поперхнулся. Вийону пришлось хорошенько стукнуть его по спине, потому что он уже посирил и пускал носом пузыри.

— Виолетта, подлей мне вина, увы, только оно не причиняет боль моим зубам. Мерсье, передай моей даме горчицу. Ба, а вот и музыка!

Вошел игрец на арфе в двухцветных панталонах — зеленое с лиловым; бархатный берет лихо заломлен, синяя шерстяная котта обтянула крепкую грудь, камзол туго, в мелкие сборки, подпоясан алым бархатным поясом. Длинные рукава свисают ниже колен. Кожаные туфли с острыми носами длиной в локоть. За арфистом вбежала кудрявая собачонка, встала на задние лапы и закружилась. Музыкант поклонился и тронул струны. Нежный дискант вплетался в музыку серебряной прядью. Вийон сидел спиной к арфисту и смотрел на миленькое личико Виолетты: белее снега на ветвях того каштана, который он видел сквозь решетку еще сегодня утром.

— Сколько тебе лет, дитя мое?

— Пятнадцать, мессир.

— А мне два раза по пятнадцать.

— А почему вы такой старый?

Лиценциат Мерсье поманил пальцами свою девку и что-то зашептал ей в розовое ушко.

— Что ж, Виолетта, может, я и пропустил кое-какие свои годы, может, они выпали на дорогу сквозь прореху в кармане и до сих пор

¹ Кто сильно любит, тот сильно наказывает (лат.).

валяются между Пуату и Орлеаном, но зато я никогда не буду старше, чем сегодня. Скажи мне, чего тебе хочется больше всего на свете?

— Пусть меня полюбит рыцарь.

— Да это можно обделать, не выходя из бани. А вот мой приятель Мерсье — посмотри хорошенько на его рожу — мечтает стать доктором, видишь, он даже в бочке готовится к диспуту. А этот старикашка, которому еще двадцать лет назад надо было подавиться до смерти, не прочь выцаралать у казны подряд на поставку гнилого сукна или тухлой солонины.

— Сударь, я требую, чтоб вы вели себя достойно. Что же касается тухлятины, то здесь, — старец потянул носом, — смердит только от вас.

— Не спорю, малина слаще всего возле отхожих мест. Но если я вас обидел, готов извиниться. — Франсуа встал в бочке и, повернувшись спиной к Мерсье, отвесил поклон. — Примите мое уверение в глубочайшем почтении. Ну, а теперь, когда все довольны, я пускаю бутылку вкруговую. Пейте, господа. Всем сердцем, всем сердцем приветствую вас! Господин арфист, сыграйте публике что-нибудь из сочинений школяра Вийона, мы все вас очень просим.

Музыкант спел рондо про Жанзна л'Авеню, которому автор действительно советовал сходиться в баню, что тот и сделал к изумлению своих родственников.

— Ну, Виолетта, пора и нам в кроватку. — Франсуа вылез из бочки, едва не опрокинув столешницу, и повел девушку. — А вы, господа музыкант, сыграйте данс-ройаль, собаке же приказываю никого не пускать за эту портьеру. Пароль «Свобода!».

ГЛАВА 11

Был уже полдень, а он не раздобыл ни денег, ни теплой одежды, ни даже листа бумаги. На мосту Менял ему вылили помои на голову, на улице Бурдонэ, где торговали воском, мастикой и свечами, Франсуа обошел все конторы писцов, но «вороньи перья», словно сговорившись, подняли такой крик, что он скрылся в ближайшем переулке и бежал до самой площади Сен-Бенуа. И вот теперь, прижав ладонь к стучащему сердцу, стоял в толпе зевая перед церковью Сен-Бенуа, глядя, как большая стрелка башенных часов догоняет малую; когда они слились в одну золотую линию, цимбалы звучно отбили время, перед фигуркой богоматери склонились волхвы, медный петух, кукарекая, загремел железными крыльями.

Улица Сен-Жак ему хорошо знакома, ведь это сюда они пришли из таверны «Синяя гора», горланя песни и задевая женщин, спешивших в церковь, — Гютен дю Мустье, Робэн Дожи, проклятый Пишар и он. Франсуа плохо помнил, из-за чего началась драка с писцами и кто всадил нож в брюхо мэтра Ферребу — Гютен, Робэн или Пишар. Услышал только крик, а когда обернулся — папский нотариус, зажав руками живот, корчился на мостовой. Хорошо, что было поздно, иначе он мог столкнуться носом к носу с дядей Гийомом, славная была бы встреча!

Вот дядин домик прилепился к церковной стене. Здесь Франсуа тоже пожил вдоволь, намял кости на земляном полу. Выпив утром кружку молока, спешил, еще сонный, в школу на улице Фуар: летом к шести утра, зимой к семи, и до вечера зубрил ненавистную науку. В классе было душно, воняло прелой соломой, сальными огарками, грязью. И гнусный голос Жана Гонфлана буравом ввинчивался в уши; как и Орбилий — учитель Горация, Жан Гонфлан тоже был «щедрым на удары», особенно когда замечал, как ученики играют в пальцы: школяр, повернувшись спиной к соседу, должен был угадать, сколько пальцев поднял другой.

Франсуа захохотал, вспомнив, как сын меховщика Мартин спросил Гонфлана, когда тот объяснял значение слов «vîg» (муж): «Мессир, а почему, когда сходятся муж с женою, чтобы зачать ребенка, жена ложится навзничь, а муж ничком?» Вот была потеха! «О господи, если бы я учился в дни моей безрассудной юности и посвятил себя добрым чувствам — я получил бы дом и мягкую постель. Но что говорить! Я бежал от школы, как лукавый мальчишка: когда я вспоминаю ее — сердце мое обливается кровью!»

Вийон подмигнул прачке, несшей корзину с бельем, и заторопился к дяде Гийому. Постучав молотком в дверь, стал перед зарешеченным оконцем, чтобы подслеповатый дядя узнал гостя.

— Это я, откройте!

Старый капеллан долго возился с замком.

— Закрывай плотнее дверь, Франсуа, мне что-то нездоровится — заложило грудь.

— Пейте липовый цвет с горячим вином. А на ночь ешьте мед.

— Хорошо, хорошо. Осторожней, лестница совсем сгнила.

Спотыкаясь о сундуки, они поднялись в комнату. Все здесь было как прежде: камин, стол на козлах, сосуд для святой воды с веткой самшита, резной посудный поставец, толстые книги в переплетах свиной и телячьей кожи, кровать под пологом, в углу на ларе умывальная чашка.

Священник подбросил в камин соломы, чтоб стало теплее, и наконец обнял племянника. Он был выше Франсуа и шире в плечах, но годы, годы!.. Плечи и спина согнулись, руки дрожали.

— Ты, наверное, голоден? Есть вареная капуста, хлеб, кусок сыра.

— Вы небось и сами не ели?

— Нет, нет, ты не беспокойся, в моем возрасте пора думать о другом. Ты ведь знаешь: ангелы питаются единожды в день, люди дважды, а звери трижды. Если б на этом и кончилось различие между ними, я бы уже давно стал ангелом, которые, как тебе известно, делаются на девять чинов: серафимы, херувимы, престолы, господства...

— ...Силы, власти, начала, архангелы и ангелы. Знаю, дядя! Учитель Гонфлан, перечисляя каждый ангельский чин, колотил нас при этом палкой по головам, чтоб мы крепче запоминали. Скорее я забуду собственное имя, чем его дрянную науку.

Капеллан пожевал губами.

— Я после простуды стал плохо слышать, левое ухо так опухло.

— Нет, это я стал тихо говорить — в Шатле в меня влили столько воды, что до сих пор булькает в голове.

— Да, да, бедный Жан Гонфлан — он был хороший учитель, хотя и несколько суров.

— Чтоб он провалился в преисподнюю! Дядя, я завтра уйду из города. — Франсуа старался говорить громко, но голос срывался на шепот или визг. — Не можете ли вы мне ссудить несколько экю?

— Ну что ты, Франсуа, ты ешь один. Садись-ка поудобней. Когда ты был маленький, я подкладывал на табурет «Житие святого Иеронима», тебе очень нравился этот переплет вишневого сукна, а теперь ты совсем большой. Вот хлеб, сыр.

— Да не хочу я есть. О господи, где мне взять иерихонскую трубу! — Он склонился к уху капеллана и, касаясь губами седых волосков, сказал: — Я завтра уйду из Парижа, и вы меня не увидите десять лет. Десять, — вы слышите меня? Я пришел к вам попрощаться, поблагодарить за все, что вы для меня сделали. Простите меня — я часто вас огорчал.

Дядя замахал рукой:

— Ну что ты говоришь! Видит бог, я не сержусь и буду молиться за тебя, покуда хватит сил.

— Нет ли у вас несколько экю взаймы?

— Ах да, конечно...

Священник потер ладонью морщинистый лоб, соображая, есть ли в доме деньги. Правда, он даже не мог вспомнить, какие монеты сейчас в ходу — экю с агнцем божьим, короной или полумесяцем, лиры с орлами и крестами, турецкие денье или парижские? Он давно уже не покупал ни рыбы, ни мяса, довольствуясь тем, что принесут прихожане, а хворост и свечи ему давали по указанию настоятеля. Время почти остановилось для него. Зимой было холодно, летом — тепло, весной в церковном саду на горе святой Женевьевы белым цветом осыпало вишни, цвела душица — гроздь маленьких розовых цветков высыпали вокруг коричневых околоцветьев — капеллан их особенно любил, душица напоминала о чем-то, что случилось или хотело случиться очень давно, и каждую весну он собирался вспомнить это, но забывал. А осенью вишни обрывали мальчишки, каждого из которых, как и их родителей, он крестил и нарекал Жанами, Мартинами, Франсуа. Времена года делились на месяцы, месяцы на сутки, сутки на заутреню, первый, третий, шестой, девятый час и вечерню. Да, дни его были полны молитвой и, если бы не племянник, покоем, но одно имя Франсуа сотрясало маленький дом, и тогда священник опускал капюшон плаща, стыдясь смотреть в лицо честным людям. А теперь он пришел за деньгами, но где их взять?

Гийом Вийон обшарил полки поставца, заглянул в сундуки, даже приподнял крышку котла с остатками капусты. Правда, в ларе нашлись два серебряных ножа: один с черенком слоновой кости — им священник раньше вкушал пасхальную трапезу, второй — с черной эбеновой рукояткой — для пятничных постов.

— Возьми их, Франсуа, мне они не нужны, видишь, даже запы-

лились. И распятие возьми, — старик трясущими руками снял со стены распятие, поцеловал серебряный крест и бережно положил на стол.

Франсуа завернул серебро в тряпку.

— Вы очень добры, дядя. Но мне еще нужна бумага.

— А? Бери, бери, мальчик. — Капеллан подвинул узел с серебром. Франсуа пальцем начертил на столе: «Бумага». — Ах, что ты их не своровал? Конечно, но надо позвать нотариуса. Я сейчас...

— Да сидите вы! Мне нужна бумага, чтобы писать. Писать, вы понимаете?

— О, что ж ты сразу не сказал? У меня есть прекрасная бумага, такой уже нынче не варят. Вот посмотри. — Встав на колени, капеллан достал из-под кровати сундучок, открыл горбатую крышку и достал действительно великолепную бумагу, нарезанную в восьмую долю листа. Вот, ты только потрогай, мягкая, как сафьян, и перо пасется на ней, как на лужайке. Верно, Франсуа? Правда, я тут успел кое-что написать, ты не обращай внимания.

Франсуа прочитал на первом листе: «О пределах добра. Спор Цицерона римского и блаженного Лактанция, известного как Цицерон христианский».

— Лучше бы они отыскиали истоки добра, чем спотыкаться, блуждая в поисках его пределов. А вот сказано недурно: «Бессмертный человек — это прекрасный гимн богу».

— Да, это замечательно, сразу узнаешь Лактанция. Видишь, я даже между строк оставил место, а кроме того, ты можешь писать на полях, я же тебе говорил — это замечательная бумага, я покупал ее еще в войну. Только прошу тебя, мальчик, пиши на ней пристойные слова.

— Дядя, каждое слово, которое я выведу пером на этих листах, будет с нимбом. Я напишу такой гимн богу, что ваш блаженный Лактанций вместе с Цицероном отгрызут себе пальцы от зависти! Вот послушайте-ка!..

— Ты меня совсем сбил с толку, Франсуа, ведь Лактанций не мог писать на французском.

— О пресвятая дева! Да если бы и мог, не написал. Ну, мне пора. Благословите, дядя, мы теперь не скоро увидимся.

Старик прижал его к груди.

— Вручи свою судьбу господу богу, ведь ты еще так молод.

Франсуа поцеловал дрожащую ладонь капеллана, схватил узел и сбежал по лестнице. Уже прошел портал со статуей мадонны в нише, не забыв, как в детстве, преклонить колени, когда слышал слабый крик: «Франсуа!» Холодный ветер трепал узкую сутану дяди Гийома, взъерошил густые седые волосы.

— Обязательно пиши с наклоном!

Толпа школяров, выбежавшая из школы на обеденную перемену, захохотала.

— Франсуа, не забывай ставить точку над «i»!

— У буквы «t» переключина наверху!

— А у «g» петля внизу!



— Ну, переключина с петлей ему хорошо знакомы. Верно, Франсуа?

И хохотали, толкая друг друга под бока, всполошив весь квартал, так что выбежали из дверей, высунулись из окон. Но он не мог злиться на этих сорванцов, потому что сам был одним из них — школяром, сбежавшим от зубрежки и учителей, от ненавистных «Донат», «Парабол» и «Греческого языка». Он сгреб за шиворот двух школяров и прижал к себе.

— Вот я вам покажу, как смеяться над господином магистром семи свободных искусств. Эй ты, Капустное Ухо, неси розги, а ты, Октав — Подол Здрава, три сотни раз перепиши по латыни: «Я — безмозглый осел». Ага, вас как ветром сдуло, чернильные носы!

Капеллан с улыбкой смотрел на веселую возню и качал головой. «Господи, он же совсем мальчик».

ГЛАВА 12

По мосту Нотр-Дам Франсуа добрался до Ситэ, прошел на набережную Ювелиров. Тут, пожалуй, жило французам меньше, чем в любом другом месте Парижа: банкиры — ломбардцы, гранильщики камней — из Амстердама и Харлема, пражские мастера серебряных дел, позолотчики из Нюрнберга — о, тут слышалась речь всей Европы. Евреи с желтыми кружками на плащах не жались робко к стенам, как на Еврейском острове, а, прищутив выпуклые глаза, пробовали кислотой флорины, пистолы, цехины. «Эти облапошат почище молодцов с большой дороги», — подумал Франсуа.

Он прошел всю набережную, прицениваясь к распятым и серебряной посуде, пока заметил крошечную мастерскую, где два подмастерья лили расплавленное брызжущее серебро в формочки для застежек, а рыжебородый немец в кожаном фартуке, с длинными белесыми волосами, перевязанными кожаным ремешком, одним ударом чекана выбивал на них виноградную гроздь или птицу на ветке. Мальчик доводил застежки до блеска, натирая полировальной пастой, намазанной на замшу. Франсуа не мог отвести глаз от изложниц, в которых таяли обломки ножей, куски разбитых подсвечников, граненые гвозди с круглыми шляпками, — весь этот серебряный лом оседал, плавился и вскипал на рдяных углях. Мастер положил на верстак чекан, снял фартук и что-то крикнул мальчику. Тот выбежал и через минуту принес две кружки пива. Одну немец подал Вийону.

— Вижу, у вас дело ко мне.

— Приятно смотреть, как работает мастер.

— А мне приятно встретить человека, знающего толк в нашем ремесле. Мой прадед выковал циферблат с двенадцатью апостолами для часов на Страсбургской ратуше, дед ковал наручьи и оплечья боевых доспехов императора Фридриха, а серебряные кубки, из которых пьет его величество король Людовик XI, чеканил мой отец. А чем могу быть полезен я, мастер Иоганн Грюнбах?

— Я бы хотел продать несколько серебряных вещичек.

— Надо внимательно посмотреть. — Мастер смахнул с верстака пылинки.

Франсуа развернул тряпку. Ножи Грюнбах отодвинул сразу, но распятие поскреб крепким ногтем, выстукал маленьким молоточком, прислушиваясь к звону. Мальчик принес безмен — распятие весило больше двух фунтов.

— Я покупаю эту вещь за двадцать три экю.

— Мне нужно тридцать.

— Вот вам двадцать пять, мне пора работать.

— Тридцать, и возьмите ножи.

Мастер молча повязал фартук, взял чекан.

— Ну, хотя бы двадцать восемь, мне очень нужны деньги.

Иоганн Грюнбах кивнул, согнувшись, пролез в узкую дверь позади верстака, которую Франсуа раньше не заметил, и вернулся с красным суконным мешочком. Франсуа пересчитал желтые кругляши, клейменные крестами. Вернул мешочек.

— Нет, нет, это подарок, его шила моя жена Лотта.

— Прощайте, мастер, храни вас бог.

Постояв на мосту, Вийон поднялся на улицу Сен-Дени. Перед ним кривлялась улица Мишель ле Конт, подмигивая окнами кабаков и борделей. Каждый из этих кабаков он мог найти с завязанными глазами — «Свинью», «Монахиню, подковывающую гуся», «Образ святого Николая», «Чашу», «Мула»; те часы, когда хозяева вытаскивали железный брус, продетый в скобы дверей, заменяли ему заутреню. Каждый гуляка в этих подвалах был ему приятелем, каждая шлюха — подружкой.

Но вывески «Толстуха Марго» не было. Он прошел всю улицу до моста Сен-Дени и обратно, ежась на ветру и постукивая сабо, но проклятый притон как сквозь землю провалился, хотя дом стоял на месте — с теми же перекладинами на фасаде, оштукатуренном глиной, смешанной с соломой, набухшей от зимней сырости. И так же кренились телеги, попав в громадную выбоину, залитую грязной водой, не просыхающую даже летом. А вывеска висела другая — «Скромница Марии». Франсуа колупнул ногтем краску — она еще не успела покоробиться от сырости, значит, эту «скромницу» намалевали недавно. Вошел через низкий порог в зал, сел за стол подальше от дверей и придвинул светильник, согревая озябшие руки. Да и внутри кабака все было по-другому — простенки завешаны скатертями, а раньше здесь висели косы, грабли и цепи, черные от сажи.

— Эй, скромница, принеси-ка мне вина, бобы с подливой, сыр. Сутану высуши над огнем, да смотри не закопти дымом.

Один из игроков в кости, сидевших за длинным столом, внимательно посмотрел на Вийона.

— Слышу знакомый голос. Да неужели это наш красавчик Франсуа пожаловал к Толстухе? Что, не узнаешь?

Франсуа посмотрел на монаха в кожаной рясе, подвязанной узловатой веревкой.

— Я с францисканцами дружбу не водил.

— Да это же я, Филипп Бронсельи, ночной горшок тебе под нос!

— Бронсельи! Чего ты вырядился, как на Праздник дураков?

— Нужда нарядила. Жены у меня сроду не было, и слава богу, и хлеб не каждый день. Так что, считай, два из трех обетов я и так блюду — целомудрие и бедность. Ну, а послушание тоже не хомут — холку не натрет. Эй, бросайте без меня! Видишь, завел себе приятелей, — Филипп кивнул на игроков. Франсуа и сам разглядел августинца в льняной рясе, картезианца — в кожаной, босого кармелита — в полосатой.

Служанка принесла вино, похлебку, сыр, ломоть хлеба с кусочком вареной баранины не больше игральной кости.

— Тащи свой стакан, Филипп, сегодня я угошаю. Ну, «сырный брат», прогнусавай побыстрей предобеденную молитву, и выпьем за нашу молодость.

— Да, славные денечки были.

— А куда запропастилась Толстуха Марго? Ходят какие-то шлюхи, молчат. Не кабак, а кладбище.

— Да нет, хозяйка здесь бабенка ничего, это ты напрасно, хотя до Марго ей, конечно, далеко. А ты разве не знаешь — она ведь опрокинула котел с похлебкой и сварилась, уже три года... Святая женщина! А уж по тебе так вздыхала... Завидит кого-нибудь из наших и все спрашивает: да где сейчас мэтр Вийон, да кто его, бедняжку, накормит и обогреет, да и винца хорошего ему, бедному, негде выпить...

— Это уж точно, винцом меня в Шатле не баловали.

Хлопала дверь, вздрагивало пламя светильника. В кабаке все громче стучали стаканы, все громче раздавались голоса.

— А вон и Анри Камюз — брат Никола Камюза, с которым ты сидел в закромах епископа Тибо д'Оссиньи.

— Ну, братца-то я знаю. Зови и этого сюда, из меня теперь плохой герольд.

— Анри, иди сюда, мэтр Вийон угощает.

Следом за Камюзом подошел Одноглазый Перро — глаз ему выбили во время потасовки школяров и горожан за «Тумбу Дьявола»¹; и старый вор Жиро, и кто-то еще, и каждый хлопал Франсуа по плечу, и уже тащили лавки, приставляли второй стол. Зазвенели струны лютни — и пропойцы дружно грянули «Толстуху Марго»:

Пусть буря бушует, здесь много вина,
Я — вор, проститутка — она,
Мы стоим друг друга и выпьем до дна
Веселье свое натошак.
Мы тонем в пороке, и рай нам закрыт,
Так черта ли в совести, нужен ли стыд?²
Хорош и родимый кабак!

¹ «Pet au Diable» — каменная глыба, служившая межевым знаком; из-за нее не раз вспыхивали кровавые распри между школярами Латинского квартала и горожанами Парижа. Название глыбы можно условно перевести как «Тумба Дьявола» (оригинал значительно грубее).

² Перевод Вс. Рождественского.

Хозяйка остановилась, грозно уперев руки в бедра, но кармелит так выразительно помахал оловянной кружкой, что она поспешила обратиться на кухню.

— Эй, Мари, тащи бочонок лучшего вина, не то откупорим тебя.

— Ее вино давно перебродило в уксус.

— Живей, Мари, школяр Вийон угощает товарищей.

Да были ли они, годы его скитаний и страданий? Или, хлопнув низкой дверью, стряхивая с плаща дождь и снег, вошли в кабак его годы, растерянные на парижских мостовых, на грязных пьяных улицах, на мостах, сгорбившихся над Сеной, в которую он, повиснув на ограде, так часто блевал, беспокоя звезды, отраженные в воде. Словно ему снова восемнадцать, и он черноволос, насмешлив, гибкий, как ивовая ветка, и соловьиный голос заливается похабной песней. Здесь, в этом кабаке, пятнадцать лет назад он первый раз назвал себя Вийоном.

Выбили дно бочки, потянулись кружками к вину, расплескивая на плащи, рясы, рубахи. Тарелку с бобами смахнули на пол, августинец, перегнувшись через стол, взял хлеб с мясом.

— Перро, дружище, садись рядом.

Перро столкнул с лавки упирившегося школяра, сел, жарко дыша чесноком, обнял Франсуа громадной ручищей, которая в битве за «Тумбу Дьявола» свернула не одну сержантскую скулу. Вот была славная потасовка, куда там кентаврам и лапифам! Сам помощник префекта парижской полиции Жан Тюркан бежал позорно, с поля боя, повернув коня. Тридцать тысяч школяров против всей полиции Парижа; весь город кипел, как котел с похлебкой.

— Чем промышляешь, Перро?

— Торгую углем.

— Грязная работа.

— Ничего, уголь сажу не замарают, зато зимой в моей каморке жарче, чем в королевском дворце. А ополоснусь в корыте, и сам сатана не отличит меня от ангела. Да и тесть — не скупердяй, подкидывает дочке на шелковые ленты.

— Небось суконщик или свечник?

— Да ты его знаешь лучше, чем я, ставлю второй глаз против пустой кружки! Дубовый Нос, вот он кто! — Перро захохотал. — Так что, если захочешь, чтоб твою шкуру сняли, не порвав, а нежненько, как с выдры, замолвлю за тебя словечко перед папашей Маз. А то, я слышал, дижонский синдик Жан Рабюстель похваляется сварить тебя живым в котле.

— Коли нужда будет, я тебе скажу, а пока, раз дома у тебя тепло, достань мне теплый плащ и перчатки.

— Значит, все-таки уходишь?

— Увы, дружище!

Прощай, красотка, уйду.
Прощай, красотка, уйду.
Есть королевская команда,
Что нам идти до Нанта.

Эй, лютнист, хлебни вина, хоть ты и скверно играешь, не лучше сторожа Гарнье. Так достанешь плащ?

— Где тебя найти?

— На перекрестке улиц Пуппе и Лагарп, возле францисканского монастыря, буду у матушки.

— О матери не беспокойся, пока жив старина Перро, ей не придется дуть на руки. Филипп, налей нам с Франсуа. — Бронсельи окунул в бочку обе кружки разом и даже рукавами рясы зачерпнул изрядно. — Ты бы еще задницу туда макнул! Нет, уж лучше десять сводников по соседству, чем один монах, пьют они как водосточные трубы.

— Не знаешь, где похоронили Марго?

— Толстуху? На кладбище Сен-Жан.

— При ней здесь другие порядки были — сидели на пустых бочках, а эта потаскуха поставила лавки, пол настелила — земля ей плоха. А Марго любила устилать ее травой с ромашками, ах, чтоб душа ее шла сейчас босыми ножками по райскому саду. Ты помнишь, когда я здесь впервые прочитал свою первую балладу? Ты же тогда был! Ренье де Монтиньи, Ги Табари, Пти Жан, Бронсельи, Гильом Шарьо. Да, чуть не забыл, еще сержант Жан Шамплэн, сто колов ему в глотку!

— Да что ты мне их называешь! Уж эту шайку я знаю, а у Шамплэна язычок, пожалуй, еще поострее твоего. То-то ему теперь весело в аду!

— Так я же тогда стал клириком Веселой Науки и впервые назвал себя Вийоном. Неужели не помнишь, Перро?

— Не морочь мне голову, Франсуа! Ты и в утробе матери уже был Вийоном. Эй, петухи, уgomонитесь! — Могучим кулаком Перро быстро привел в чувство драчунов, схватившихся с доминиканцем, картезианцем и кармелитом так, что затрещали рясы и камзолы, а кое у кого носы оказались разбитыми в кровь. Подняв бочку, угольник через край вылил подонки в кружку Франсуа. Славное вино сент-они!

ГЛАВА 13

Стемнело. Повсюду затворяли ставни, чтоб праздные гуляки не глазели в чужие дома. Зажгли светильники и свечи. Стража с фонарями обходила кварталы, сходясь с другими патрулями у Шатле, Нельской башни и кладбища Невинных — только здесь улицы были освещены, а все остальные погрузились в темноту, и не один прохожий звал наутро в дом цирюльника или лекаря, чтоб вправить вывихнутую ногу. Лаяли собаки, на ночь спущенные с цепи, кричал дочиста обобраный прохожий, оставшийся на улице в чем мать родила, и только погребальщики в черных капюшонах с прорезями для глаз, уныло гремя окованными колесами черного фургона, запряженного двумя клячами, без страха объезжали улицы, цепляя железными крючьями зарезанных и околевших. Хлеб стоил один су, мешок угля — одно денье, а жизнь человеческая не стоила ни гроша;

Чума, холера, холод, голод входили в дом без стука, вытряхивая грешные тела с такой сноровкой, что души сыпались, как груши из мешка. Редко кто в славном городе Париже доживал до пятидесяти лет, на семидесятилетних приходили смотреть целыми семьями, словно то не человек был, а чудесный боярышник на кладбище Невинных, который зацвел однажды в феврале, — счастливики, успевшие сорвать его цветы, исцелились от парши, испанской чесотки и косоглазия. А уж про Великого Коззра, бывшего когда-то королем всех нищих, бродяг и воров Парижа, говорили, будто он помнит, как на Еврейском острове сожгли Великого Магистра ордена тамплиеров Жана де Молэ. Коззр лечил больных травами, но мог наговором превратить человека в свинью или собаку. В детстве мать пугала Франсуа, как и всех парижских детей пугали, страшным старцем, и Франсуа боялся его больше пьяного отца, больше волков.

Мать ждала его на крыльце. Он не сразу разглядел ее, а лишь поднявшись на ступеньки. Она перебирала четки.

— Сынок, приходил угольщик, принес плащ на меху и вязаные перчатки. Такой обходительный.

Так сколько же времени он шел от «Толстухи Марго», что Перро успел сбежать домой, принести плащ и убраться? Конечно, его пошатывало, но шел он, кажется, не останавливаясь. Нет, разок остановился, чтоб посмеяться вволю. Какой-то кавалер, приставив лестницу к балкону, тащил своей возлюбленной вазу с целым кустом балламина; три музыканта играли, а кавалер, задыхаясь под тяжестью вазы, еще и пел. Франсуа незаметно привязал к лестнице веревку и, размотав локтей на двадцать, дернул изо всей силы. Услышал грохот расколовшейся вазы, крики музыкантов и страшные проклятья кавалера. Вот, пожалуй, и все. Да еще запустил булыжником в окно следователя де ля Дзора, едва унеся ноги от ночного дозора.

— Где ж ты пропадал, сынок? Все добрые люди уже спят.

— В Париже, матушка. Ваш сын покинет город завтра утром и пойдет куда глаза глядят. Соберите мне белье.

— Днем еще собрала, помолилась святому Франсуа, чтоб охранял тебя в пути. Пойдем в дом, озябла я.

Убогая комната, освещенная пламенем очага; оконце затянуто промасленной бумагой; пол, шуршащий сеном, на полу тюфяк, застеленный суконным одеялом, — здесь он проведет последнюю ночь перед изгнанием.

— Матушка, а свечи купили? Мне сегодня понадобится много свечей.

— А деньги ты мне дал? Спасибо, выпросила огарков у свечника, да одну дал в долг звонарь. Ты осторожней их жги, а то спалишь дом. Дай уж умереть мне в своем углу. — Вдохнув, мать поцеловала распятое, взбила тощий матрас; уже лежа, сняла с себя льняную рубашку, положила под подушку. — Ложился бы и ты, сынок, не смущай душу. Эх, да разве ты послушаешься мать. Вино в кувшине стоит, подле сундука, да поменьше пей.

— Еще на утро оставлю.

— Ты оставишь, как же! Ох, Приснодева-Заступница, прости нам прегрешения наши, не отступишь от моего неразумного сына.

Франсуа запалил лучиной свечу, достал бумагу, взятую у дяди Гийома, и долго сидел неподвижно, не отводя глаз от пламени свечи. Вспомнились школяры, налетевшие стаей грачей возле церкви Сен-Бенуа — с посиневшими от холода носами, с руками в цыпках. Кем они станут через пятнадцать лет? Премудрыми докторами, розово-щеками аббатами, писцами, нотариусами или бродягами, ворами? Из кого выйдет толк, а в ком останется бестолочь? Мало кому из них пригодится латынь — куда полезней крепкие кулаки да быстрые ноги. Будут среди них и ректоры, будут и бродяги, умники и тупоумные, счастливые и несчастные, — одним словом, люди, страшящиеся ада и взывающие к раю, но больше всего любящие землю, булыжную парижскую мостовую, — это для них как река для рыб, как небо для птиц.

Франсуа смотрел на огарок с застывшими натеками и черный фитиль с раскаленным острием, на изменчивое пламя, колеблемое сквозняком. Пальцы дергали седые вихры; волос, поднесенный к огню, свился колечком и вспыхнул.

Тень от огня пробежала по листам, исписанным рукой дяди Гийома — твердым почерком с наклоном, с ровными интервалами между словами, — обломки латыни, не нужной никому, как серебряный лом, годный лишь на переплавку, чтоб потом отчеканить из него прекрасное, звонкое и нетускнеющее: «*Pulcher hymnus Dei homo immortalis*»¹.

Но как бы ни была звучна латынь, язык Парижа всех острей. И на этом языке Франсуа сейчас стремительно и кругло писал между строк свои слова — жгучие, как стручки перца, горькие, как отвар полыни, крепенькие, как очищенная репа, соленые, как соляной камень. В чем, в чем, а в словах он знал толк, ему не надо было их пробовать на зуб, травить кислотой, как менялам с Ломбардской улицы.

Мать заворочалась на постели, вздохнула.

— Все пишешь, сынок? Уже к заутрене скоро зазвонят, а ты еще не ложился.

— Матушка, не вы ли говорили: «Хоть помирай, а полоску сей». Вот я и сею свое поле. О, этот плут, — он поднял перо, — пахнет превосходно! Видите, я даже не притронулся к вину, кувшин там и стоит, где вы его оставили.

— Уж как же, ты мимо рта не пронесешь, — мать улыбнулась.

— Только за ваше драгоценное здоровье, матушка. О, знатное вино и красное, как кровь. Последний стакан в родительском доме. Когда-то еще удастся здесь выпить?

Он подбросил хворост в очаг, смочил пальцы в вине и брызнул на огонь. От вина и огня стало жарко, пот выступил на лбу. Шуршали исписанные страницы, по бумаге скрипело перо — его борозда, которой не было конца. Как жгут натруженные ладони рукояти плута!

¹ «Бессмертный человек — это прекрасный гимн богу» (Лактанций).

Не зря же те, кто за много веков до него возделывали пашню, одним глаголом «callere» обозначили и «быть искусным», и «иметь мозолистые руки». Он все шел и шел, ступая босыми ногами в отваленную землю, рассыпавшуюся черными комьями, пальцы шекотали перепревшие корни травы, нещадно палило солнце, пот шипал глаза, и снова он почувствовал вкус соли на насмешливых губах. Голова клонилась все ниже, и не было сил открыть усталые глаза — далеко ли еще?

На колокольне францисканского монастыря звонарь, перекрестившись, разобрал веревки, зазвонил к заутрене. Мать тихо оделась. Она бережно собрала листы, упавшие на пол, погладила загадочные буквы, которые Франсуа любит больше всего на свете. Иногда ей до боли в сердце хотелось узнать, что в них скрыто, и она жалела, что не учена грамоте. Однажды она сказала об этом сыну, а он поцеловал ее и засмеялся. «Матушка, вы даже не знаете, как ваша неученость помогает мне. Когда я думаю, что вы сидите, пригорюнившись, одна и достаете из сундука мои «Заветы» и кладете на них свою руку, поверьте, в этот миг, где бы я ни находился — во дворце Жана Орлеанского или в тюремном подземелье, в деревенском трактире или на дороге, я чувствую: вы гладите мои вихры».

...Франсуа спал, уронив седую голову на руки, и хрипло дышал. «Надо напоить его горячим козьим молоком», — подумала старушка.

— Ах, мальчик мой...

А ее мальчик видел страшный сон.

...Господи, какая боль!

Судья в полосатой рясе кармелитов снял волос с кончика пера, макнул в чернильницу.

— Обвиняемый, что вам известно об ограблении церкви в Боконе, выразившемся в дерзком хищении золотых сосудов, потиров, риз и облачений? Говорите только правду.

Но он не мог говорить ни правду, ни ложь — только кричать. Визжала веревка, перекинутая через блок. Казалось, рвутся сухожилия; кисти рук горели, пальцы вздулись и сейчас лопнут, как колбасы, переваренные в кипятке. Перед глазами шатались закопченные стены пыточной, дубовый стол, румяное лицо Этьена Плезанса, почти скрытое капюшоном.

— Обвиняемый, что вам известно о преступнике Колэне Кайо по прозвищу Крючок?

— Ва...ша...ми... — Кровь хлынула из рта.

Палач отпустил веревку, и босые ступни ударились о пол, пронзив тело еще одной болью. Кровь затекала в черные канавки между плитами, переполняла их и медленно растекалась по серому камню.

Его поволокли по винтовой лестнице, раздирая рясу об острые края ступеней. Бросили на прелую солому. Во рту было солоно от крови; засыхая, она стягивала лицо. Франсуа подполз к кувшину — пить, пить! Но по каменным плитам снова загрохотали шаги, загремел ключ в замке, заскрипели ржавые петли.

— Эй, выходи! А ты оглох, что ли?

Держась друг за друга, узники поднимались по лестнице, освещенной факелами стражи. Глаза, привыкшие к темноте, ослепил снег. Босые ноги скользили на замерзших комьях грязи.

Их построили во дворе, дрожащих на ветру. У стены стояла громадная виселица, на столбах замерзли густые натеки смолы. Пять веревок свисали с поперечины, и каждая оканчивалась петлей.

— Пошевеливайтесь, мерзавцы, монсеньор д'Оссины повелел спровадить вас в ад еще до обедни, чтобы успеть помолиться за ваши грязные души. Слушайте! Духовный суд города Мэн признал Франсуа Вийона повинным в тяжких преступлениях против Христовой церкви, короля Франции и почтенных горожан Парижа, Орлеана, Бур-ля-Рена, Мэна и приговорил злодея к позорной казни.

— Я не виновен! Клянусь пречистой девой, я не виновен! Господа, сжальтесь, я...

Два стражника потащили упирающегося Франсуа к палачу, раздвинувшему черными перчатками петлю. По толстой веревке ползла божья коровка — откуда она здесь зимой? Милосердный профос дунул, и она, раскрыв крапчатую красную спинку, выпустила прозрачные крылышки и улетела. Петля больно славил горло, отнявшиеся ноги кто-то неумолимо подвигал к дыре, прорубленной в настиле эшафота. Преступник рухнул в черную прорубь — оглушительно хрустнула шея; голова с вздыбившимися волосами отрывалась от тела и взорвалась, как бочка с порохом.

— Мама! Мамочка!

Франсуа открыл глаза: мать гладила его взмокшие седые волосы, шрам, рассекший губу.

— Мама! — Он хрипел, словно петля еще не отпускала горло, душила.

— На, испей святой водицы. — Мать приподняла голову сына, поднесла к пересохшим губам кружку. Зубы стучат, холодно, вода стекает по груди. — Поешь, я поджарила тебе окуня.

— Вы сами поешьте, я не хочу.

— Приходил мэтр Гийом, спрашивал о твоём здоровье.

— Не волнуйтесь, матушка, все хорошо.

— Нет, Франсуа, у тебя никогда хорошо не будет, болит мое сердце. Так и будешь скитаться — без жены, без детей, без угла. А дороже своего угла, мой мальчик, ничего нет: хоть голодный, хоть больной, а в своей конуре лежишь. Ах, мне не век жить, скоро господь призовет к себе, а домик наш тебе останется — больше у меня ничего нет. И станут люди просить: «Пусти пожить — за три экю, за пять экю!», будут тебя лстивыми словами, как вином, хмелить, на коленях просить, горькими слезами плакать. А ты плачь и не пускай их в дом.

Франсуа оглядел комнату, в которой родился и прожил детство: деревянная кровать, оконце, едва пропускающее свет, голые стены, земляной пол, очаг с закопченным котлом на цепи, низкий потолок с темными балками. На столе в оловянном подсвечнике горит свеча.

Ему было шесть или семь лет, когда он с соседскими мальчишками играл возле францисканского монастыря и вдруг услышал волчий

вой — в ту зиму волки заходили даже на Гревскую площадь; горожане возвращались после мессы, держа в руках факелы и дреколье. Он стрелой кинулся в дом, уткнулся в колени матери и дрожал. Дедушка Орас, вырезавший толкушку для теста, усадил его на колени, прижал к груди.

— Ну, Франсуа, видел волка?

— Да, он как бросится на меня, а я побежал! А он не придет к нам?

— Да ведь у нас ни мяса нет, ни рыбы, разве что нас проглотит, как хит несчастного Иону.

А вечером Франсуа впервые увидел солдата. Он играл у огня с клубком пряжи, когда в дверь, согнувшись, чтобы не задеть притолоку каской, вошел солдат в панцире из буйволово́й кожи, с мечом на широком поясе. Поставил в угол алебарду, подмигнул мальчику.

— Эй, хозяйка, нет ли чего поесть храброму солдату короля?

— И рады бы, господин солдат, да сами голодаем, — ответил дед. — Что ж ты, сынок, так воевал, что даже гуся в плен не взял? Говорят, у бургундцев они с наших коров.

— Ага, а пустобрехи вроде тебя из них сметану доят. Яйца вот несут от Жантильи, если не протухли. — Солдат развязал котомку, выложил на стол дюжину крупных гусиных яиц с присохшими к скорлупе перьями и пометом. — Хозяйка, испеки хоть их, раз поросенка пожалела.

Мать подбросила хворост в огонь, подвесила над очагом чугунок. Когда яйца сварились, деревянной ложкой переложила их в зоту, смотрела, как темнеет скорлупа, становится нежно-коричневой. Испекла, щепкой выкатила яйца в подол юбки, но не все — Франсуа видел, что два дальних она припорошила золой. Солдат посмотрел на нее, почесал бороду. А мать заплакала.

— Не плачь, хозяйка. Прощайте, храни вас бог.

...Франсуа погладил руку матери.

— Матушка, а помните, к нам солдат приходил?

— Какой солдат?

— Вы еще ему гусиные яйца пекли.

— Да разве всех упомнишь, Франсуа? Один уйдет, другой придет. Богородица пресвятая, каких только не было! И наши, и бургундцы, и гасконцы, и анжуйцы, и проклятые англичане, а то и вовсе не воймешь, какой земли и веры. Один подушку тащит, другой миску, третий из тебя последнее денье вытряхнет. Помню, один даже сковороду с жареной капустой утащил. Ох, мальчик мой, лучше не вспоминать. Каждое утро брала тебя на руку, в другой кувшин держу как Сене за водой. Наберу в проруби воды и карабкаюсь наверх, а берег возле Мельничного моста крутой, бывало, поскользнусь и выроню кувшин — только бы ты не убили. И снова к проруби. Тебе пятый год уже шел, а весил ты как двухлетний — легонький, в чем только душа держалась. Так ведь и у меня сил не было. Ташусь, а снег лицо сечет, волки воют. Да разве тебе это понять? Ребенком я тебя грудью кормила, потом дядя Гийом к себе взял, — господи,

ниспошли ему долгую жизнь за сердце его золотое! А ты хоть один су в дом принес? Нет, ты все только из дома, все по кабакам пропил, с гулящими девками прогулял! А мать твоя, сынок, вдоволь походила с холщовой сумой, на паперти настоялась, под чужими окнами колокольчиком назвенелась. Приду домой, а бабушка твой Орас спрашивает: «Ну, что там люди добрые подали?» Слепой уже был, а глаза синие-синие, как васильки. Разложим с ним куски, я ем, а сама втихомолку слезы лью, чтоб он не услышал. А он все равно услышит, отымет ото рта кусок и говорит: «Не плачь? Разве мы по своей воле Христа ради просим? Ты перетерпи, вот и Франсуа растет, кормильцем твоим станет. Подрастет, расскажи ему, как хлеб слезами поливала. И сама не забывай». А разве я забыла? — Мать заплакала. — Я ведь всю жизнь, как поднесу кусок ко рту, деда Ораса вспоминаю — да успокоится его душа в святом мире. И как он меня жалел. Отец-то твой не больно ласков был, только и знал нажраться, как свинья, посуду ломать да кричать: «Я из Понтуаза! Я из Понтуаза!» Словно у них в Понтуазе святым духом сыты. А тебя все-таки жалел, возьмет на руки, баюкает. Дядя Гийом тогда в Сорбонне учился, придет после уроков, пугает тебя: «Вот сейчас Коэзр придет, в рогожу завернет!» А отец ему выговаривает: «Что ты, школяр, на ребенка кричишь, разве он виноват, что есть хочет?» Нажует мякиш и в рот тебе сует, а ты чмокаешь. Довольный! А он все приговаривает: «Если уж смерть от нашего Франсуа отступилась, долго жить будет». А сам умер...

Франсуа отер слезы матери.

— Все будет хорошо, успокойте свое доброе сердце.

— Нет, мальчик мой, помани мое слово, много горя ты перетерпишь, и нигде тебе покоя не будет — ни во дворе, ни в поле. А тюрьма что? В Шатле и Консьержери тоже люди сидят — не звери.

— Матушка, не говорите так. Я буду богатым, вот увидите!

— Молчи, Франсуа, не гневи господа бога. Навидалась я богатей — стирала белье и у прево, и у епископа, и у менял с Ломбардской улицы. Вот уж господа, мочатся и то в серебряный горшок. Правду люди говорят: «Ты знатным дал, господь, немало: живут в достатке и в тиши, им жаловаться не пристало — все есть, живи да не греши!»

— Да какие люди, какие люди! Это я сказал, а они как сороки по Парижу разнесли.

— Ты?! — Мать поджала губы и покачала головой. — Ах, мой хвастунишка, мэтр Гийом говорил мне, что твои похабные песни распевают в кабаках. Что ж, ты думаешь, раз я не знаю ни грамоты, ни счета, так уж и не понимаю, кто поэт, кто пустобрех. Вот король Рено — поэт, принц Жан Орлеанский, еще кто-то... Складно слова складывать только и могут короли да принцы.

Франсуа схватился за голову, застонал.

— Да поймите вы, темная женщина, принцем может стать каждый, у кого папаша король, а не пропойца вроде моего. Напаяли корону, вот и король! Но разве эти сиятельные бараны знают, какое это счастье, когда слова вдруг хлынут, словно ливень, и ты ловишь

их губами и чувствуешь их вкус на языке! Они захлестывают меня, я в них плыву, как рыба в реке, но мне нужны только самые лучшие слова, звонкие, как кувшины из розовой анжуйской глины, пылающие, как солнце Прованса, свежие, как устрицы Олерона. А они умоляют, они подмигивают мне, как продажные девки «Ах, Франсуа, возьми нас! Приласкай нас, Франсуа!» — Он рывком сел на постель, закинул за голову костлявые руки, стертые на запястьях. — А я, я...

— Тише, мальчик мой, вдруг кто-нибудь услышит. — Мать прижала к рассеченной губе сына шершавую ладонь прачки, истертую до крови речным песком и золой, всегда холодную от студеной воды прорубей, с распухшими суставами, которые так ломит перед непогодой. — Тише, мой глупенький Франсуа.

— Пустите меня, пусть слышат! Пусть! Клянусь вам, матушка, ваш сын — лучший поэт Франции!

— Хорошо, сынок, я верю тебе. А теперь усни.

Она осторожно подложила ему под голову подушку, укутала плечи одеялом, бросила в огонь последнюю вязанку хвороста, чтобы ему было тепло и покойно. Повесила на цепь горшок — горох варится долго, и она успеет помолиться. Прорехи в плаще залатаны, а перчатки почти новые; в короб уложено белье, иголка с ниткой, сыр, косичка чеснока и хлеб. Ох, не забыть бы еще сушеную малину и липовый цвет, чтобы лечить простуду.

Крепкие кулаки ударили в филенку двери, возвещая, что настал день 9 января 1463 года — последний их трех, записанных решением суда на сборы.

Франсуа откинул крюк, впуская лейтенанта Массэ д'Орлеана и толпившихся за его спиной стражников. В комнате стало тесно.

— Мэтр Вийон, известно ли вам предписание?

— Да, лейтенант Массэ.

— Прошу следовать за мной.

— Что ж, я готов.

Франсуа набросил теплый плащ, потуже подвязал пояс и вскинул короб за спину.

— Ну, матушка, пора в дорогу.

— Но как же, господи, ведь он родился в этом доме? А теперь вы гоните его. Неужели вы отнимете сына от материнской груди: ведь он родился здесь, здесь висела его колыбель. — Она воздела руки к кольцу, ввинченному в потемневшую балку. — Куда вы его ведете, жестокие люди?

Солдаты молчали, стараясь не смотреть на старую женщину, а лейтенант Массэ улыбался.

— Не плачьте, матушка, я вернусь. Оставайтесь здесь, на дворе холодно.

— О Франсуа, мальчик мой! — Она целовала его лицо, руки, плащ, не в силах отпустить сына.

— Эй, держите старуху, а вы волоките его из дома!

Уже открыли ставни лавок, катили тележки уличные торговцы, монахи продавали образки святых, ветер гремел вывесками харче-

вен, у фонтана стояли женщины с кувшинами, с рынков несли мясо, рыбу, овощи; стражникам приходилось порой расталкивать зевак древками алебард, но их становилось все больше, и лейтенант Массэ подумал со злостью, что, пока они дойдут до ворот, соберутся зеваки со всего Парижа. И он был прав — уже бежали школяры, плясуны и жонглеры, цирюльники, кузнецы, оружейники, зубодеры, нищие с папертей, клязуники писцы, свечники, шлюхи. Из окон верхних этажей то выливали помои, то бросали монеты и цветы, приветствуя Франсуа, то призывали на его голову все божьи кары, то утешали, и на каждое словцо он отвечал.

— Марион Карга, передай привет своим товаркам. Пежо, не прячься за чужие спины, все равно рога торчат. Давай плюй в меня, бакалейщик! Перро, спасибо за плащ, дружище! А ты, Агерран, закрой свою вонючую пасть, а то дерьмо остынет! Мамаша Машеку, и ты здесь? Гийометта, не ложись сегодня с мужем, я к тебе приду.

Со стражников катился пот градом; им тоже доставались и плевки, и шипки, и нечистоты, но больше всего — лейтенанту Массэ. Школяры дергали его плащ, бросали под ноги вывернутые булыжники, так что он по минутно спотыкался.

— Смотрите-ка, а вот и бедные сиротки. Эй, Госсуэн, Марсо, Лоран, вы уж простите, что не рассчитался с вами, придется подождать годков этак десять, если вы к тому времени не сдохнете, чего вам от души желаю! Валз, свинтус неблагодарный, так-то ты платишь за подарки? А, Провэн? Твои булочки самые сладкие, я буду есть их по воскресеньям. И невинные девицы из Монмартрского монастыря пришли меня проводить? Спешите всей толпой на холм святого Валерьяна! Гарнье, я сдержал свое слово, если б была лютня, я бы сейчас тебе славную балладу спел.

Кто-то протянул Вийону лютню, но Массэ вырвал ее из рук и отшвырнул, угодив в чью-то голову.

— Приказываю разойтись! Стража, обнажить кинжалы!

Толпа отхлынула, но напирала из переулков. Ком грязь, предназначенный Франсуа, залепил щеку сержанта.

— А, братцы Пердые, ваши лживые языки еще не выварили в сальных помоях с червивой падалью? Малыш Альбер, запомни их гнусные хари и посчитайся за меня. Золотарь Лу, выше голову, я уношу свою задницу с собой.

Наконец показалась громада надвратной башни. Сложенная из обтесанных глыб известняка, она в тихом свете январского утра казалась легкой; как леденцы сверкала мокрая розовая черепица крыши. Четыре круглые башенки, врезанные по углам на высоте крепостной стены, венчали острые красные шпили с железными флажками. Из квадратных бойниц, высоко опоясавших башню и башенки, выглядывали солдаты. Заметив громадную толпу, стиснувшую стражу, солдаты выбежали с обнаженными мечами, пытаясь пробиться к лейтенанту Массэ. Уже от ворот Сен-Мартен и Монмартр мчалась на рысях подмога, кожаные спины плотно сомкнулись вокруг Франсуа, шлемы заслонили толпу, но, подняв-

шись по грязному склону холма к воротам, Вийон увидел сотни людей и всем им низко поклонился. Он прошел под сводом ворот до подъемного моста, перекинутого через ров, заполненный почерневшим снегом. Стаи ворон кружились над унылым полем с одинокой виселицей. Но дальше он не успел рассмотреть, потому что здоровенный пинок подкованного сапога свалил Франсуа с ног. Он с трудом поднялся, не сразу поняв, что стряслось, и помотал головой. Плащ испачкался в грязи, по щеке текла кровь. Стражники весело скалили зубы и шутили ради стали поднимать мост, наматывая грязные цепи на ворот, так что пришлось ему спрыгнуть прямо в грязь.

— О Париж, разве я не парижанин?! Разве у нас с тобой не один герб и девиз: «Его качает, но он не тонет»? Если ты дал своим стражникам, свирепым, как псы, башмаки, подбитые гвоздями, то почему не сделал мой зад каменным? И ты позволяешь этим сучьим детям издеваться над школяром Вийоном? Да разве после этого тебя можно назвать прекрасным городом? Ты просто куча дерьма, которую наложили триста тысяч задниц! Но я еще вернусь в эти ворота, я вернусь, дерьмовый город!

ГЛАВА 14

Страшно и одиноко стало Франсуа, когда он почувствовал под ногами раскисшую дорогу. Громадная страна лежала перед ним — с городами, крепостями, замками, с бесчисленными деревнями, но до них было шагать и шагать. А он даже не знал, где проходит граница графства Парижского, за которую ему велено убраться. Может, у той мельницы?

Он решил идти, не останавливаясь, пока совсем не стемнеет, а там будет видно — не стоять же, коченея, на ветру.

Навстречу двигались повозки, каменные столбы с высеченными крестами отмечали каждое пройденное лье, на взгорках дорога была суше, чем в низине, — и он шел, куда влекли его ноги. Пояс с зашитыми экю придавал силы, можно было даже купить повозку, но тогда пришлось бы заботиться еще и о лошади, да и приметна она слишком — в стог не спрячешь.

Но когда сзади зашлепали копыта по грязи и поравнялась телега, Франсуа не выдержал — захотелось под крышу, обсушить мокрые ноги.

— Далеко ли путь держишь, почтенный?

— Домой. Садитесь, коли по пути.

— Мне любая дорога по пути, а если у тебя найдется где переночевать да чем поужинать, я могу и заплатить.

— Что ж, почему не найдется, только уж денежки вперед.

Франсуа сел на телегу.

— И долго нам ехать?

— Если будет воля божья, приедем. А вас какая беда погнала в такую погоду из дома?

— Я — блудный сын. Не слышал про такого?

— Что ж, у каждого своя нужда. — Крестьянин поглубже закутался в овчину.

И больше не говорили. Вийон снял короб, засунул руки в рукава плаща, молча покачивался в телеге. По сторонам тянулись голые виноградники. Один раз лошадь остановилась, и крестьянин показал кнутовищем: волки.

Франсуа передвинул на поясе кинжал, но серые тени сгинули, и только храп встревоженной лошади напоминал о волках.

— Третьего дня задрали у соседа собаку, только шерсть и наши... Ну вот, приехали.

В темноте Вийон не видел двора — ни огня, ни плетня, не слышно даже собачьего лая, словно на кладбище. Скрипнула дверь.

— Проходите в дом, господин.

Хозяин посветил зажженным пуком соломы, указывая дверь. Франсуа, пригнув голову, вошел в дом. Погасший очаг, стол на козлах да две лавки; на полу лежали дети — они молча смотрели на отца. Франсуа почувствовал, как у него мурашки поползли по коже.

— Лучше бы, конечно, вам остановиться у кого побогаче. Видно, вы человек знатный.

— Ничего, хозяин, мне б только обсушиться да поспать. А жена где?

— Услуживает синьору.

— А как же дети, ведь ты небось с утра выехал?

— Чего им сделается? Не золото — не украдут. Берите хлеб, больше ничего нет.

И так тоскливо стало Франсуа, что готов был на коленях ползти к воротам Сен-Дени. Но в разлуке с Парижем предстояло прожить еще долгие годы.

ГЛАВА 15

Земля продрогла от осенних холодов, с дубов облетела листва. Ночи стояли темные, страшные. Люди и скот попрятались в жилище и хлевы, со страхом прислушиваясь к свисту, вою, уханью, скрипу — любому звуку, нарушавшему тишину. По нужде выходили, осеняя себя крестом, дети же брали с собой кусок хлеба, ибо в хлебе святость и он отгоняет нечистую силу. Зато живодерам и ворам было раздолье на дорогах.

Я вам пою, вы долго спали,
Проснитесь от дурного сна!
Господь взывает к вам в печали —
Его земля осквернена.
Господь решил неверным дать
Иерусалим на поруганье,
Чтоб нашу веру испытать.
Примите ж божье испытанье!
Иерусалим скорбит и ждет,
Кто защитит его придет!¹

¹ Перевод И. Эренбурга.

И бродяге, вроде Вийона, тихо распевавшему песню крестноносцев, ночь была суконным одеялом, а темень — масляной лампой. Расстелив плащ, он поклонился, предлагая лечь своей спутнице, о которой знал столько же, сколько она о нем, — ровным счетом ничего, лег сам, толкнул ногой посох, поддерживающий сено, и вмиг на них, шурша, упало полстожка, укрыв теплее одеяла.

Франсуа встретил босоножку днем у белого дома с красной крышей и зелеными ставнями, — плача, она отбивалась от злой собаки, а мельник, обсыпанный мукой, хохотал, подмигивая жене, смотревшей из дверей. Франсуа без лишних слов треснул собаку посохом по оскаленной пасти и, положив руку на рукоять кинжала, улыбнулся мельнику.

— Так-то ты, негодяй, исполняешь Христов завет? Пожалел сыротке кусок хлеба! Но попомни, мельник, мои слова: по-волчьи будешь выть и скрежетать зубами, когда черти начнут тебе выламывать ребра, словно жерди из этого забора.

Перепуганный мельник снял колпак, крикнул жене, чтоб не мешкая вынесла из дома сало, хлеб, вино. Франсуа достал деньги:

— За сколько продаешь?

— Что вы, господин, о какой цене тут говорить, берите и ступайте с богом!

— Видишь, сердце у тебя доброе, а ты прикинулся злым. Господь не оставит тебя своей милостью, как ты не оставил это бедное дитя.

Прихватив еще и чугунок, Франсуа пошел с девушкой по дороге. У родника они остановились. Пока девушка набирала воду, Франсуа смотрел на голый куст шиповника, выискивая плоды. Прямые ветки железного цвета были унизаны острыми колючками, но они только казались острыми и злыми — мороз и дождь смягчили их; они тыкались в ладонь, бессильно царапая пальцы неокрепшими шипами. А плодов не было — склевывали птицы.

— Как тебя зовут, красавица?

— Жаннетон, мессир.

— Не о тебе ли написал король Рено свою балладу «Рено и Жаннетон», когда я гостил у него в Анжере? Но той пастушке с тобой не сравниться. Волосы у тебя как трава, выгоревшая на солнце, а лицо белое. Дай-ка я обую твои ножки!

Он обмыл ее маленькие грязные ноги водой из родника, горестно увидел, что они в трещинах и незаживших ранах. Согрел своим дыханием посиневшие пальцы, натянул на них свои перчатки.

— Куда же ты идешь одна среди зимы?

— Не знаю. Прошу у добрых людей подаяния.

— Это ремесло и мне знакомо. Ну, пошли, мой воробушек, темно уже, а нам нужен ночлег.

Дойдя до опушки леса с забытым стожком, они набрали хворосту. Франсуа высек кресалом искру, раздул трут, и скоро они сидели рядом, протянув руки к веселому огню, смотрели в чугунок, в котором варилась очищенная репа. Славный получилась ужин... Глаза девушки заблестели, робкая улыбка тронула маленькие губы.

— А меня зовут Франсуа, красавица. Франсуа Вийон.

Жаннетон выронила репу, словно горящий уголек обжег ее ладони.

— Я видела вас в нашем монастыре.

— Так ты, стало быть, сестра Христова?

Слезы задрожали в зеленых глазах.

— Меня прогнали, мессир. Уже не помню...

— В чем же твоя вина?

— Не знаю. Но только когда зажгут свечи в алтаре, у меня все в голове кружится, как карусель, и черный покров перед глазами. Сестры сказали, что я оскверняю божий монастырь.

— Кто же у вас аббатиса?

— Была госпожа Югетта дю Амель, она женщина добрая и устроила меня в услужение к суконщику, но... лучше спать на сырой земле, чем в его кровати.

— И я знал твою аббатису... Недолго, но близко. Что ж, так и ходишь без дружка? Ведь так и речь человеческую забудешь.

— Но ведь и с цветами можно говорить.

Он погладил ее волосы, согревшиеся от пламени костра, — волосы рыжие, летящие, как листопад. Девушка смотрела на Франсуа, ни о чем не спрашивая, ни о чем не осмеливаясь молить, только поднимала и опускала острые ресницы, склоняла голову на левое, на правое плечо, словно готовясь расчесать густые волнистые волосы; зеленые глаза, дрожавшие, как два зайчонка, просили милостыню тепла.

— Да, Жаннетон, можно и с цветами...

Он смотрел на угли, уже подернутые пеплом, и видел лицо Жаннетон — розовое, как гроздь цветов душицы.

— Ты и сама словно цветок, плывущий по ручью. Знаешь, однажды я написал балладу...

— А я знаю!

— Какую же, маленькая трясогузка?

— «От жажды умираю над ручьем!» Мать-настоятельница велела нам выучить ее на голоса и петь с хоров. Сестра Цецилия играла на органе, сестра Амалия брала арфу, а мы пели.

— Вот уж не знал! И славно получалось?

— О мэтр Вийон, так согласно, что у меня слезы лились из глаз!

— А хочешь, я расскажу тебе, как написал эту балладу?

— Да, я буду лежать тихо-тихо.

— Только надо тебя укрыть хорошенько. — Он заботливо подоткнул края плаща. — Я пришел в Блуа в тот день, когда у герцога Шарля Орлеанского родилась дочь, которой я дал клятву служить вернее, чем все рыцари, ибо ей я дважды обязан спасением своей жизни. Ты, может быть, не знаешь, что герцог очень любит охоту, но больше всего ему по душе турниры поэтов. Он и сам превосходный мастер по этой части, и хотя был тогда уже стар и туговат на ухо и обкладывался на ночь пуховыми подушками, но язык его был молод. И вот однажды, когда стало пригревать солнышко, или, как изволил сочинить его светлость герцог:

Вот время сбросило свой плащ
Из ветра, холода, мороза
И распустилось словно роза...¹ —

Мы все — одиннадцать поэтов при дворе — собрались в зале состязаний, и герцог бросил нам перчатку: «От жажды умираю над ручьем». О, если бы ты слышала, Жаннетон, как дружно заскрипели перья — словно натягивали тетиву арбалетов. Толстяк Фреде обнюхивал эту фразу, трепеща ноздрями, а Жан Роберте вплетал в нее бумажные цветы метафор и синекдох, мэтр Астезан грыз перо, как мозговую кость. А я скромно сидел в углу и смотрел на виндзорские сады, на зеленые лужайки и радугу над фонтаном. Мне было холодно, а в замке жарко натоплено, и на поставце стояли розы всеребряном кувшине, слуги разносили вина. Но что они все знали о жажде, моя босоногая монахиня? Ни один влюбленный так пылко не стремится к возлюбленной, как жаждущий к воде! А они и в любви не знали толку. Мэтр Астезан и Фреде скребли перьями бумагу, а я смеялся, потому что слова гремели в моей голове, как игральные кости в стаканчике, и, сколько бы я их ни бросал, они падали «шестерками» вверх, потому что я знаю, что такое любовь и что такое жажда. Мне только оставалось продеть ниточки в слова, нанизывая их, как жемчуг, чтоб они не разбежались, а когда я нанизал последнее — опля! готово, господа, не угодно ли послушать школяра Вийона?

— А что же герцог? — прошептала Жаннетон. — Ему понравилась ваша баллада?

— Он не мог говорить от радости. А когда успокоился, сказал: «Эти стихи превосходны. Нам не мешало бы поучиться у Франсуа Вийона». Вот так, моя госпожа! Видишь, господь соединил нас этой ночью вместе: ты — монахиня, я — клирик. А теперь спи, я никому не дам тебя в обиду — ни зверю, ни человеку.

Девушка доверчиво прижалась к его груди, ее дыхание шекотало шею Франсуа, и сам он давно не дышал так ровно и глубоко, как в ту ночь. «Запомни, Франсуа, дорога воспитывает, но учит нужда», — любил поучать дядя Гийом. «Да, дядя, я запомню, но как вы узнали, что я лежу в лесу, и почему я так ясно слышу ваш голос?» — «Разве ты не видишь, я стою на сторожке Лувра и трублю в рог».

Звук рога приближался, трубя в тишине. Тру-тру-тру-ру-ру!

— Шевалье, славненькую дичь загнали наши борзые. Никогда не видел такой пугливой важеньки и такого мерзкого оленя.

Франсуа открыл глаза. Жаннетон, дрожа от страха, стояла на коленях. А вокруг... Боже мой! Всю поляну, теснясь, заполнили кони, псы и люди; алые плащи с серебряными лотарингскими крестами, сверкающие шлемы с пышными перьями, бархатные попоны, чепраки золотого шитья, кожаные рукавицы, копья, охотничьи кинжалы с широкими чашками; вокруг гремело оружием, хохотало, ржало, залиристо лаяло. Он узнал коннетабля Сен-Поля Луи де Люксембурга, кардинала Иоанна Виссариона, графа де Сен-Марена.

¹ Перевод Вс. Рождественского.

— Доброе утро, господа. — Франсуа поклонился. — Вы, наверное, охотники?

— Ха-ха! Виконт, как вам нравится учтивость этого мужлана? Да, сударь, мы, кажется, охотники. А так как вы находитесь в моих охотничьих угодьях, то по праву стали и моей добычей. Но, судя по числу отростков на ваших раскидистых рогах, филей ваш не годится для жаркого, а вот у важеньки сочное мясо, особенно грудинка.

— Прекрасно сказано, граф!

Граф рукояткой плети откинул волосы с лица Жаннетон.

— Эй, доезжачий, принеси тенета, такую добычу надо брать живьем. И в мой возок, да смотри, чтоб ни одно перышко не помялось.

Несколько молодцов спешили и, схватив девушку, повели между лошадьми.

— Господин граф, эта девушка больна, а я забочусь о ней, как брат.

— На, лови золотой, тут хватит, чтоб позаботиться о трех сестрицах.

Монета сверкнула в воздухе и упала на траву. Франсуа поднял ее.

— Вы очень щедры, ваша милость, но умоляю вас не причинять горя бедняжке. Вы так отважны и сильны, что предводителю неверных Саладину не устоять против вас в единоборстве, так неужели слезы несчастной украсят герб вашего щита?

— Граф, а язык у этого малого подвешен ловко.

— Что ж, тем приятней подвесить его самого, как освежеванную свинью. Карро, Годар! Вяжите его, да покрепче! А золотой возьмите себе, господину бродяге он не понадобится: Харон перевезет его в Аид бесплатно.

— Ваша милость, с Хароном мы давние приятели, спросите любого, кого повесили на Монфоконе. Но вы так молоды и так богаты, зачем же торопитесь на допрос к Жаку Тильяру? Он помощник парижского прево по уголовным делам и скор на приговор за воровство.

— Свинья, ты осмелился подумать, что я вор?! Эй, Карро, Годар, спустите гончих!

Псари спустили гончих и борзых, Франсуа отступил к стогу и выдернул кнужал из ножен. Но он не успел даже выбрать цель для удара, просто выставил клинок перед собой, и в тот же миг собаки сбили его с ног. Он увидел оскаленные морды, лицо обожгло жаркое псиное дыхание, и он упал без чувств. А псари безжалостно хлестали визжащих гончих, оттаскивали за ошейники от бесчувственного Вийона. Кто-то плеснул ему вином на лицо. Он открыл глаза: все, кто был, в седле и пешие, стояли на коленях перед всадником, сутуло сидящим в высоком седле на громадном белом коне без чепрака; обрую украшали золотые бляхи. На всаднике был охотничий плащ, отороченный горностаем, и черная бархатная шапочка, закрывавшая уши. На шее тяжелая цепь из золотых раковин, скрепленных серебряными бантами, — орден Михаила Архангела. Унылое обвисшее лицо с узкими глазами, притяжеленными набрякшими ве-

гами, тонкий длинный нос, расширяющийся книзу. Король рассматривал Вийона, опустившего на колени. Сказал тихо, не разжимая узких губ:

— Виконт де Труа, кто это?

— Дерзкий мужлан, ваше королевское величество.

— Граф де Сен-Марен, кто это?

— Сир, судя по выбритой макушке, этот прохвост из монахов.

— Монсиньор, может быть, вы мне скажете?

— Сир, среди моих знакомых нет бродяг, — ответил кардинал

Иоанн Виссарион.

— А мы знакомы с этим человеком. Не правда ли?

— Ваше величество, вам я обязан жизнью.

— Надеюсь, здесь не найдется дерзкого, кто посягает отнять то, что даровал король? — Свита украдкой переглядывалась, пожимая плечами. — Встань и подойди к стремени. — Король прикрыл глаза, поглаживая перчаткой гриву коня. Тихо, чтоб не слышали вокруг, сказал: «Франсуа, мы разрешаем тебе выпустить сокола на волю». — Что ж вы замолчали, господа? Смело нападайте на этого человека. Нет, граф, вложите меч в ножны, вы же видите, он безоружен. Смейтесь над ним, оскорбляйте, колите остротами! Неужели вы оробели перед безродным бродягой?

— Государь, не принуждайте меня вступать в единоборство — это противно моему высокому происхождению и кодексу рыцарских турниров. Пусть этот невежа потешит ваше величество состязанием своим оруженосцем — он, кажется, лицензиат и тоже любит поболтать. Эй, Мустон!

— Конечно, ваше величество, — Вийон низко поклонился королю, — граф де Сен-Марен прав: зачем ему подставлять свою нежную плоть под стрелы моих слов, когда есть слуги. Граф сам кусочка не возьмет, он сам вина не разольет — не утруждать бы белых рук, на то есть много резвых слуг.

Жоффруа де Сен-Марен всадил шпоры вороному, и меч, сверкнув, отсек верхушку капюшона, обдав тонзuru холодком. Все дело заняло секунду, и конь снова стоял смирно, а граф небрежно сбил шелчком хвостовый лист, опавший на луку седла.

— Вы побеждены, граф. Отдайте коня, доспехи и оружие или, если победитель согласен, заплатите выкуп.

— Но, государь, по правилам турнира я должен знать имя своего противника.

— Извольте. Я — школяр Франсуа Вийон.

— Что ж, назначайте выкуп.

— Ваша светлость, верните девушку, которую вы приказали вести силой, хотя она ничем не прогневила вас. — Сен-Марен махнул рукой, и привели девушку. — Теперь о выкупе... Сир, смилюйтесь над графом, — он не знал, что я Вийон. Должно быть, граф долго жил в деревне, поэтому ему простительно меня не знать. Да и камзол его шит у деревенского портного, — право, мои обноски ничуть не хуже графских. Пусть уж парча и бархат достанутся детишкам. — Король насмешливо смотрел на графа, а Франсуа на всякий случай прижался

к стремени короля — второй удар меча мог оказаться не таким искусным. — Моих песен хватит на всех парижан, а что достанется родне его светлости, если он, не приведя господь, скончается от золотухи? Бессмертны только короли, а он... Умрет, как жил, свинья свиньей, и к свиньям перейдет наследство. Простите, сир, но граф трижды обозвал меня свиньей, хотя я ваш подданный, — теперь мы квиты.

Сен-Марен, бледный от гнева, дрожащими пальцами снял перевязь с мечом, плащ, шлем, черный бархатный камзол, котту из мягкой козлиной шерсти, остался в сюрко и шелковых белых чулках. Слуги тотчас принесли другую одежду, подвели снаряженного коня.

— Оставьте нас, господа. — На поляне остались только шотландские стрелки — личная охрана Людовика XI. — Ну, Франсуа, тогда, в Мэне, волосы твои были темнее.

— Ваше величество, неужели вы меня помните, ведь прошло семь лет?

— Александр Великий знал всех своих солдат, мы же еще и всех подданных. Мы рады, что ты смиренно исполняешь нашу волю: послушание — добродетель. Смотри и наблюдай, а когда кончится срок твоего изгнания, мы велим тебя позвать, чтобы услышать твой рассказ.

— Но еще восемь лет, государь!

— Ничего, ты молод.

— Молодость не помешала мне выстрадать так много.

— Ну, это временно.

— Да, государь, все временно, пока есть само время.

— Мы тоже страдаем, Франсуа, — и за тебя, и за всех французов. И за это прелестное дитя болит наше сердце, ей, наверное, холодно стоять босиком. А ты побывай в Провансе, Шампани, Франш-Конте, расспрашивай синьоров, их вассалов, вилланов и ничего не бойся — такова наша воля. Скажи девизы королей, которые ты знаешь.

— У доблестного Шарлеманя — «Все дальше!», у Максимилиана — «Соблюдай меру», а на щите Филиппа было начертано — «Кто пожелает».

— А наш девиз: «Разделять, чтобы царствовать!»

— Сир, поистине это великие слова, достойные вашей мудрости. «Разделять, чтобы царствовать!» Мне же, чтобы царствовать, приходится соединять... слова в строки, строки в лэ, виреле, баллады и рондо.

— Вот и славно. Ну, ты свободен, а девчонку мы возьмем с собой. Надеюсь, ты не возражаешь?

Франсуа встал на колени. Перед глазами качнулась изрытая копытами земля. Призывно трубил рог: тру-тру-тру-ру-ру. Травили зайцев по чернотропу.

В ворота аббатства Пурро въехал всадник на вороном коне с обрезанным хвостом, в алом плаще с вышитым на спине серебряным крестом; на голове всадника был серебряный шлем с войлочным подшлемником, на поясе меч, в руке — букет колокольчиков. Вынув сафьяновый носок из чеканного стремени, рыцарь спешил, отдав поводья хмурому конюху, и, не сказав ни слова, прошел в маленький, уютный плющом дом настоятельницы.

Госпожа Берарда дю Лорье, аббатиса, встретила знатного гостя в столовой — в накрахмаленном чепце, в шелковом черном облачении, мягко вбиравшем синий утренний свет. Берарда дю Лорье была узка в плечах и бедрах, голубоглаза и в свои тридцать шесть лет чиста лицом, как девушка.

— Скажите, рыцарь, что привело вас в нашу обитель?

Рыцарь громко вздохнул, вместо ответа подал букет. Казалось, в тишине крошечные фиолетовые колокольчики нежно зазвенели. Растегнув ремень шлема, рыцарь обнажил голову — лысую, только на затылке слежались длинные седые пряди.

— Бог мой! Франсуа! — Аббатиса положила легкую руку на алое плечо. — Но скажите, ради богородицы, что значит этот шлем и меч?

— На рыцарском турнире я выбил из седла графа де Сен-Марена — и вот добыча.

— Какая прелесть! Расскажите все подробно, только сначала снимите плащ.

— Я жертвую его монастырю.

— Сапоги...

— Это отличная лимузинская кожа, в нее можно переплести «Роман о Розе».

— Садитесь рядом со мной, налейте вина и рассказывайте, милый грешник. Где вы встретили графа? При дворе его величества?

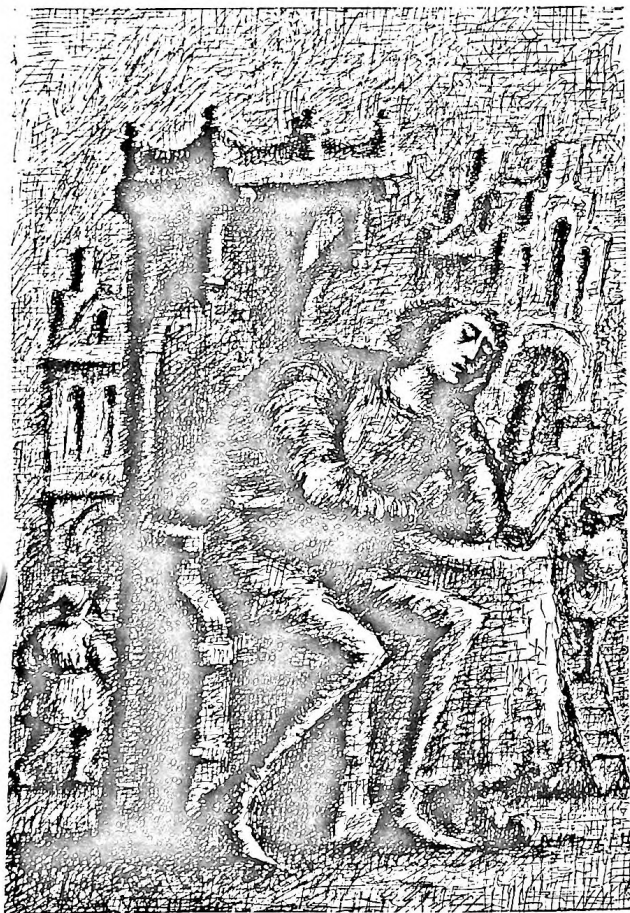
— Пожалуй, да, потому что там был и король, и коннетабль Сен-Поль, и кардинал, и графы, и виконты, не говоря уже о псарях, оруженосцах, страже, поварах. Была назначена охота, и гончие графа взяли мой след, я же спал спокойно на лесной поляне.

— И, конечно, не один?

— Да, рядом лежала некая монахиня, изгнанная из монастыря. Она невинна, как и вы, моя сладкая палочка. Клянусь вам, мы спали, как брат и сестра. Так вот, когда я проснулся, вокруг меня стояла охота и все ждали государя, а граф де Сен-Марен и виконт де Труа решили позабавиться от скуки — стали поддразнивать меня, называть свиньей и рогносцем.

— Это вас-то?

— Да, да, представьте, госпожа аббатиса. Потом подъехал король. Конечно, он сразу узнал меня, ведь мы встречались в Мэне, когда я сидел в тюрьме, ожидая последнего причастия. Государь спросил свою свиту, знают ли они, кто я такой. Вы бы видели, Берарда, как они кривлялись друг перед другом, норовя оскорбить меня обидней.



— А вы, конечно, молчали?

— Ну, не молчал, но и не отпускал поводья языка, пока государь не шепнул мне на ухо: «Мой Франсуа, раз они этого хотят, выпускай сокола на дичь!» И я выпустил. А поскольку выбор оружия остался за мной, я выбрал не клинок, а слово, и вот — я на коне графа, в его плаще, с серебряным чугуном на голове. Я нравлюсь вам в таком наряде?

— Сейчас я велю отмыть вас хорошенько и посмотрю, остались ли вы прежним мэтром Вийоном. Бедненький мой старенький школяр. Седенький, худенький! Вас видели, когда вы въезжали в ворота?

— Только конюх.

— И больше никто?

Аббатиса привела конюха, приказала знаками (он был глухой и немой) взять роскошную одежду, седлать коня и дала знать, что отныне все это — его. Вскоре из монастырских ворот выехал рыцарь, которого впоследствии видели в Сомюре, в Шартре и в Дижоне, и даже, как рассказывают паломники, в Антиохии. Никто не знал его девиза, имени его прекрасной дамы, но что меч его разит, как молния, очевидцы подтверждали в один голос. Его так и звали — Молчаливый Рыцарь.

А Франсуа остался в аббатстве. Он окапывал землю в саду, молился и писал «Завешание», которое хотел написать давно, но судьба гнала его по дорогам королевства и нигде было обдумать свою странную жизнь — пеструю, сшитую из лоскутов, как наряд жонглера.

Он жил в маленьком домике, отделенном от трапезной зарослями малины и двумя огромными вязами. Монахини в этот уголок обители не заходили, правда, иногда он слышал их голоса, но лишь улыбался, — так же, с улыбкой, он слушал пенье малиновок, будивших его ранним утром. А сердце... сердце его принадлежало госпоже аббатисе. Он научился различать шорох трав, когда она возвращалась после заутрени или обедни в свой покой; он чувствовал ее дыхание, когда она гладила нераспустившиеся бутоны роз.

Была зима... Была весна... Настало лето. Вместе с июньской жарой к Франсуа пришло отчаяние. Жизнь в монастыре, казавшаяся легкой, сытой и беспечной, стала тяготить, походка Вийона сделалась шаркающей, спина согнулась — любовь состарила его. Однажды, когда он работал в саду и, утомившись, лег на траву, что-то, похожее на облако, заслонило его от горячих ослепительных лучей. Еще не открывая глаз, он понял — это она. Он смотрел на Берарду, казавшуюся ему неправдоподобно высокой, потому что белые крылья чепца заслоняли верхушку вяза, и глаза устали подниматься к ее лицу. Это лицо легко качалось, как ветка цветущей вишни под дуновением ветра.

— Франсуа, вы заболели? Вы дрожите, и ваше лицо мокро от пота.

— Это старая болезнь, моя прекрасная владычица и госпожа, ей не поможет лекарь; она начинается не от грязной воды, как холера, и не от порчи, напускаемой дьяволом, как проказа, — пожалуй, у нее

даже нет начала, просто боль вонзается в сердце, как стрела, и человек ходит со стрелой, торчащей в груди.

— Я никогда не слышала о такой хвори, хотя сама считаюсь искусной во врачевании. — Франсуа встал; дыхание его было быстрым и горячим, а тело сотрясал озноб. — Ложитесь в постель, я велю принести вам горячего молока.

— Вы очень добры, мать-настоятельница, только не надо ничего.

— Ну не упрямитесь, Франсуа, вы так дрожите. Нет, нет, я велю вам лечь. А я... возможно, я сама принесу вам молоко.

Франсуа лежал на узкой кровати из толстых струганых досок, до подбородка укрывшись душной периной, и смотрел, как темнеют потолочные балки. Скоро они стали почти неразличимы — мягкий сумрак заволакивал глаза, но он смотрел. На колокольне зазвонили к вечерне, тяжелый медный звон раскачивал темноту. Вийон усмехнулся, вспомнив, как шесть лет назад он впервые постучал в ворота монастыря, спасаясь от стражи свирепого епископа Орлеанского, гнавшей его без передышки трое суток. Он постучал в ворота и попросил убежища, зная, что в обители, за клиросом, есть маленькая келья, в которую не мог войти даже король, — именем бога милосердного и всеспрашающего она защищала несчастных от погони и суда. Тогда он полгода забавлял монахинь своими песнями, забавными историями, ловкими фокусами. Однажды, в день Рождества Богородицы, в монастырь пришли бродячие жонглеры. Между двумя вязами туго натянули веревку с толстыми узлами. Берарда смеялась — ей нравилась мужская ловкость и отвага. Тогда и Франсуа взобрался на канат; он подпрыгивал, словно кузнечик, подбрасывал деревянные шары, ловил горящие факелы, не замечая, что узлы веревки медленно расходятся. Он упал, ударившись спиной о землю, и потерял сознание от боли. Когда очнулся, увидел склонившихся монахинь и жонглеров. «Бедненький Франсуа, вам больно?» А он не мог сказать ни слова; казалось, от него осталась только голова — все остальное он не чувствовал, даже пальцев на руках. «Франсуа, вы сейчас такой смешной! У вас нос стал такой длинный, а щеки белые, как в муке». И все засмеялись, забавляясь шуткой аббатисы.

«А сейчас ты на кого похож? — подумал Франсуа. — Сколько раз я твердил тебе: знатные дамы не для тебя, отродье нищеты! Разве ты сын ангела, венчанного диадемой звезды или другой планеты? Но у тебя страсть к высокородным. Как ребенок тянет руки к огню, так тебе неодолимая охота дотронуться до груди под лифом из фиолетового твердого шелка, расшитого жемчугом. Но ребенок обжигается, плачет и впрямь боится огня. Ты же упрямо хочешь схватить пламя. Ты, задыхаясь от счастья, ловил улыбку Амбруазы де Лоре, вызвав гнев ее супруга, парижского прево д'Эстутвиля. И в пыточной Дворца правосудия он тебе припомнил и балладу, и пылкие взгляды. Школяру ли тягаться с Робертом д'Эстутвилем, рыцарем сьером де Бейн, бароном д'Иври и Сент-Андри, который ударом копья выбил из седла короля Сицилии?! А Катерина де Воссель? По всем кабакам ты растрезвонил, что нет женщины прекрасней, но по ее

капризу тебя растянули на козлах перед ее балконом, а она со своими приятелями ела мороженое и улыбалась, пока ты извивался под ударами плетей. Нет, ты всегда был нерадивым школяром, и уроки не идут тебе на пользу».

Задумавшись, он не услышал, как отворилась дверь, не заметил, как задрожало на сквозняке пламя свечей. Но уловил запах душистой эссенции.

— Это вы, госпожа?

Аббатиса поставила на стол кувшин с горячим молоком.

— Вам уже лучше?

— Нет, хвала господу, мне стало хуже.

— Ах, Франсуа, трудно понять, когда вы шутите, когда говорите правду.

Берарда положила прохладную ладонь на морщинистый потный лоб Вийона. Он нежно обхватил ее запястье и прижал руку к сердцу. Рука испуганно дрогнула, будто попав в силос, и замерла.

— Верите ли вы, госпожа...

— Я раба божия, такая же, как мои сестры во Христе.

— Верите ли вы, госпожа, что умереть за вас было бы для меня счастьем?

Она отвела взгляд от его умоляющих глаз.

— Обет, который дала каждая из нас, суров, хотя про нас рассказывают непристойное. Не скрою, мне приятно слушать вас, ибо я еще не так стара, чтобы смотреть равнодушно на мужчину, который клянется в любви. Я еще женщина...

— Вы прекраснее всех женщин мира! Вы единственное исцеление моей боли!

— Нет, нет, не говорите так. Я знаю, вы очень ловко расставляете тенета своих слов; должно быть, и бедняжка Жаннетон запуталась в них, как доверчивая птичка. О, что монахиня?! Не из-за вас ли аббатиса из Пурро лишилась сана за распутство? У вас было много женщин, Франсуа? Что ж вы молчите? Вам трудно сосчитать?

— Я не знаю, что ответить.

— И они все были разные?

— Вы убиваете меня этими вопросами. Если я вам безразличен, зачем вы спрашиваете? Чтоб позабавиться? Заставить меня снова прыгать на канате, связанном из обрывков? Конечно, смешно до слез, когда человек от боли становится белым, как мука; моя спина до сих пор не может забыть, что земля — это твердь. Конечно, вы чисты, как первый снег, я же забрызган грязью с головы до ног. Вы Христова невеста, я вор, — не правда ли, потеха! Недавно в монастырской библиотеке я отыскал одну забавную историю. Хотите, расскажу, что случилось с некой монахиней из вашего монастыря? Звали ее Женевьева, она была молода, красива, чудесно вышивала покровы и антиминсы, но по слабости духа покинула обитель и предалась греху. Блудила, не отказывая каждому, кто ее желал, а желали ее многие, но утром не забывала возносить молитву богоматери. Пораспутничав всласть, Женевьева вернулась в монастырь и увидела, что сестры обращаются с ней так, словно она и не выхо-

дила из своей кельи, даже стали восхищаться покрывалом, натянутым на раму, — невиданный красоты.

— И как же могло случиться такое?

— Услышала ее молитвы пресвятая дева и, приняв обличье той, кто даже в грехе и блуде сберегла любовь к владычице небесной, сама выполняла ее работу в ризнице. Да вы, наверное, знаете эту историю получше меня.

— Знаю, мэтр Вийон, и покажу вам келью святой Женевьевы и антиминс, вышитый богоматерью. Но чудо, явленное нашей обители, укрепило не веру вашу, но только желание поступить со мной, как вы поступали с любой другой женщиной.

— Ах, госпожа моя, сердце мое и все, что я люблю!

— Лежите, Франсуа, я здесь, возле вашей постели. Я спросила вас о женщинах, и вы мне не ответили.

— Закройте глаза. — Берарда дю Лорье закрыла голубые глаза, но длинные ресницы дрожали. — Да, я знал многих женщин. Продажных девок, крестьянок, прачек, трактирщиц, монахинь, булочниц, портовых шлюх; я забавлял жен нотариусов, сержантов, сукошников — почтенных горожанок, к которым обращаются «дамуазель»; мне милостиво разрешали переспать с собой благородные баронессы и графини. И все они были разные: лицом, нежностью кожи, запахом волос, походкой, нравом, умением любить, даже дыханием, но, поверьте мне, ни одну из них я не любил. Хотите, убейте меня, велите забить до смерти, потому что я осмелился думать о вас. Я воспользовался вашим добрым сердцем и, откормленный, как боров, в тиши и покое дописал последнюю строку «Завещания». Но что мне делать с жизнью, если я еще живу? Она перестанет, как дождь, как снег, и никто в мире не вспомнит, что жил непутевый школяр Франсуа Вийон.

Аббатиса не ответила; она поднялась с табурета и быстро удалилась.

Ночью Франсуа вышел в сад. В бледном лунном свете он видел знакомые кусты роз, жасмина, ровный подстриженный боярышник, узнавал деревья. В стойле вздыхал мул. Острый шпиль колокольни отсвечивал свинцовой кровлей. По дорожке, присыпанной красным песком, он прошел мимо трапезной и свечной мастерской, открыл тяжелую дверь ризницы. Неугасимая лампада перед алтарем дрожащим светом освещала раку и ковчежцы, обитые пурпурным бархатом скамьи, золоченые решетки узких окон. Богоматерь смотрела на него. Он положил к ногам матери всех живущих сломанные в саду розы и опустил на колени. Нет, он не молился — стоял, опустив голову, и ничего не ждал: ни чуда, ни возмездия. Какие-то слова просачивались сквозь его душу, как сырость на стене тюремной камеры, и Франсуа усмехнулся — оставят ли они его когда-нибудь в покое, горькие слова? Он вспомнил, как умники Сорбонны объявили хину «преступной корой», и на этом основании парламент запретил хине «исцелять». Он же не мог запретить словам складываться в строки, но было ли то исцелением? Или мукой? Когда как. И сердцу он не мог велеть: «Сердце, не боли!»

«Франсуа, ты должен уйти подальше от своей любви, бежать прочь из страны неволи. Если ты не уйдешь, цепь прирастет к твоему мясу и ни один кузнец ее не расклепает. Глупец, неужели ты надеешься, что Берарда когда-нибудь полюбит тебя? Быстрее зазеленеет смоковница, проклятая Христом! Увы, школяр, поищи среди женщин попроще и поговорчивей».

Опустив голову, Вийон вышел, шатаясь, как из кабака. Проходя мимо куста нежно-желтых роз, свежих и прозрачных в лунном свете, он вдруг схватил ветку, усеянную шипами, и застонал от боли, но все сильнее сжимал окровавленные пальцы. И закричал от ярости:

— Святоша! Шлюха! Бессердечная тварь! Ты хуже развратных баб из воровских притонов! Будь ты проклята, Христова потаскуха!

Утром Франсуа хотел встать с постели, чтобы пересадить куст терновника подальше от ограды, где его обрывали мальчишки, и не смог: ноги отнялись. Он вспомнил ночь и хрипло засмеялся: Христос заступился за свою невесту.

— Господи, я и не знал, что ты ревнив, как старик, женившийся на молодой! Тебе следовало отнять не ноги мои, а грязный мой язык, вырвать из груди сердце и бросить псам за то, что оно не может не любить. Тысячу раз прав ты: доверившийся женщине — безумец; хотя есть у него глаза, он ничего не видит.

— Вот как? Уж не обо мне ли вы говорите, мэтр Вийон? — Абатиса поставила блюдо с жареной курицей, сыром и пучком промытой петрушки. — Чем же я так разгневала вас?

— Разве я смею гневаться на мать-настоятельницу? Разве снег рошлет на солнце, которое светит и убивает его своими горячими лучами? Разве прокаженный в обиде на святое причастие, которое ему не вкладывают в рот, как всем, а протягивают сквозь решетку на совке с длинной рукояткой? Я сам — причина своих горестей. Господу давно пора покарать меня, он и так был слишком терпелив. Видите, я не могу подняться с кровати. Теперь я у вас под рукой, как клубок пряжи.

— О боже, кровь! Я сейчас пришлю сестру Амалию — она перевяжет рану.

Целую неделю сестра Амалия, ворча, поила мэтра Вийона горячими настоями, изгоняя лихорадку, сжигавшую больного. Жар опалил его лоб и щеки, хриплое дыхание обжигало руку монахини, подносящую кружку к его губам.

— Послушайте, моя козочка... — Сестра Амалия зашипела от злости, поджав сморщенные губы. — Почему я не вижу мать-настоятельницу?

— Она молится за вас, хотя вы недостойны даже ее проклятия.

— Насчет проклятия я согласен, а молитва — деяние, угодное господу нашему так же, как и ваше сострадание ко мне. Хотя скорее бургундец заплачет, чем госпожа аббатиса сжалится надо мной. Сестра Амалия, скажите ей, что я больше ничего не прошу и не желаю, только три пинты вина и хлеб, но пусть мать-настоятельница сама принесет эту трапезу.

...Монахини обители Пурро никогда не видели, чтоб аббатиса

молилась так истово; ее лицо осунулось от долгого поста, глаза ввалились и потускнели, словно каждая слеза уносила капельку небесной синевы. А Франсуа стало совсем плохо, он бредил. Лишь нежная рука Берарды дю Лорье, коснувшись лба, утишала его боль, — тогда он затихал, как дитя, прижатое к материнской груди.

В одну из таких минут Франсуа открыл глаза и увидел Берарду — она стояла на коленях перед распятием, висевшим на стене.

— Госпожа моя, неужели вас я вижу? Или ангел спустился с неба за моей душой, которая воистину еще не умерла для одного лишь бога?

— Молчите, ради Христа!

— Я молчал, когда мне поджаривали пятки раскаленным железом, я молчал, когда мне дробили пальцы деревянным молотком, но вы хотите невозможного, прекрасная Берарда: чтобы я молчал в самую счастливую минуту жизни! Да я сейчас заляюсь песней, словно жаворонок. Ведь я вас люблю стократ сильнее, чем Абельяр Элоизу! Да что там люди! Так богоматерь не любила своего сына, как я вас люблю! Когда я вижу вас во сне, я плачу от счастья.

— Молчите, или я уйду.

— А я восстану, словно Лазарь. — Он поднялся, но слабость свалила его на подушки. — Мерзкая, жалкая плоть! Лучше бы мне не затевать игру «в пальцы» с господом, ведь он может поднять и шесть пальцев на одной руке. Госпожа аббатиса, возьмите в моем коробе травы — они в холщовом мешочке, окропите святой водой и сделайте отвар.

Берарда обтерла его губкой, смоченной в уксусе, усадила на скамеечку, принесла остуженный отвар в серебряной чаше. Закрыв глаза, Франсуа неустanno шептал покаянную молитву — так и заснул с именем бога на устах.

Через восемь дней Вийон уже мог ходить, опираясь на посох: то ли святая вода исцелила его, то ли молитвы настоятельницы, но вернее всего — рука матери, сорвавшей травы на горе святой Женевиевы и благословившей сына.

Отстояв вечерню, Франсуа садился в своей каморке ближе к очагу и читал «Роман о Розе». Если приходила Берарда, он смотрел на нее, как немой. Когда она спрашивала, он, случалось, отвечал невпопад. Но чаще они сидели молча, прислушиваясь, как их сердца тянутся друг к другу, переплетаясь все тесней, словно побеги хмеля.

— Госпожа моя, позвольте мне сесть у ваших ног.

Она хотела сказать «нет», но отвечала «да». Он клал голову на черный шелк рясы, чувствуя губами нежное колено, округлое, как яблоко. Берарда корила себя, что совершает грех, и он приятен ей, он сладостен; она не понимала, почему с такой нежностью смотрит на склоненное лицо Вийона — изуродованное в тюрьмах и драках, с рассеченной, вздернутой по-волчьи верхней губой. Только узкие, всегда прищуренные темно-серые глаза, пожалуй, красивы — они изменчивы и беспокойны, как река, отражающая небо. Да, он говорит, что любит ее, но что из того? Его любовь пугает, она — западня. Иногда взгляд его серых глаз твердеет и проникает в самое

сердце, словно воровская рука — ловкая и беспощадная. Если она (о, только в мыслях, только на секунду!) ответит ему любовью, он напишет еще одну балладу и забудет Берарду дю Лорье. В очаг, из которого он вытаскивает золотые угли слов, надо без устали подкладывать хворост и поленья, иначе он погаснет, и все, все для чотра Вийона годится, чтоб подбросить в жадный, неугасающий огонь: женщины, деньги, скитания, разбой, вино, — он живет только ради своих лэ, рондо, баллад.

— Франсуа, сестра Амалия сказала, будто вы просили меня принести три пинты вина и хлеб. Я принесла, но вы спали. Хотя, мне кажется, вас здесь и так недурно кормят, а вино вы пьете то же, что и король, — с виноградников Больи.

— Три пинты вина и хлеб — последняя трапеза осужденного перед смертью. Я трижды ел хлеб и пил вино повешенных, чтобы на следующий день услышать от священника: «Так гряди же, грешная душа, и да смилется над тобой господь!» — этими словами святые отцы дают знак палачам.

— Вы действительно любите меня так сильно?

— В десять сотен раз сильнее, моя госпожа и мое спасение!

— Так поклянитесь же, что ради моей любви вы отныне не напишете ни одного слова. Отпустите мою руку, больно! Значит, я права: я для вас просто ненаписанное лэ...

— Но, любовь моя, которая дороже самой жизни, послушайте: я не пишу стихи — я всего-навсего мыслю. Вы хотите, чтоб я лишился разума? Тогда вам лучше полюбить бессловесное и любвеобильное животное, как это описано у Апулея из Мадавры. Я же человек, а не осел, госпожа аббатиса, хотя у меня с ним много общего. Вы когда-нибудь думали о том, почему парижане знают Людовика XI? Потому что он король французов. Жак Кер известен, ибо он самый богатый человек в королевстве. Меня знают, потому что каждый школяр распевает мои баллады. Монахов различают по тонзуре, евреев — по желтому кругу, нашитому на плащ, кастратов — по тонким голосам, но как различить женщину? Как?! Скажите ж, госпожа! Вам господь ниспослал ангельскую красоту, богатство, славный род и непорочность, мне же — лишь дерзкий мой язык. И вы решаетесь отнять у нищего единственную милостыню бога? Что ж, завтра я уйду, а вы останетесь, прекрасная и целомудренная.

— Ах, Франсуа, ваши слова... ваши упреки... они мучают больше власяницы!

Аббатиса, сбросив рясу, осталась в черной власянице, сплетенной из колючего конского волоса: нежное тело вспухло красными рубцами, плечи были стерты до крови, соски грудей растрескались и сочились кровью. Пораженный, Франсуа смотрел на истерзанное тело любимой. Но, увы, не он один. Сестра-привратница, возвращавшаяся из дортуария, слышала голоса и, заглянув сквозь решетку окна, увидела обнаженную аббатису и мужчину.

Утром следующего дня одна из монахинь была спешно послана к епископу с доносом. Но мать-настоятельница, предупрежденная сестрой Амалией, вывела подземным ходом Вийона к мельничной

запруде, одарив его кошелем, полным золота. Он должен был ждать вестей на постоялом дворе «Веселый мельник».

Но вестей из аббатства Франсуа так и не дождался.

ГЛАВА 17

Оставшись один в каморке под крышей, Франсуа плотно закрыл ставни, навесил на дверь кованый крюк и, приложив палец к губам, высыпал содержимое кошелька на матрас. Монеты желтели, как цыплята в траве. Он был сказочно богат! Мог купить этот трактир, наряды из лионского бархата и брабантских кружев, книги — такие же прекрасные, как эта, переплетенная в алое сукно с распустившейся белой розой, вышитой искусной и любящей рукой Берарды дю Лорье.

Он ждал вестей до вечера. Спустившись к ужину, Франсуа сел в самый темный угол, заказал тушеного зайца и кружку белого вина. Рядом сидели скорняк, бочар и деревенский кюре.

— Попалась, стерва! А уж такая гордая ходила, бывало, прине-сешь ей кунцу или выдру — так и смотреть не хочет.

— Нет, Пьер, — вступился бочар, — она была добрая женщина.

— Может, она и тебе уступила по своей доброте? Мне-то от нее и одного денье не перепало.

— Не спорьте, дети мои, сегодняшний день — день печали, а не радости. Конечно, мать-настоятельница погрязла в грехе и разврате, но быстро ты забыл, Пьер, как в прошлом году она поставила на дорогах большие котлы и велела кормить всех, потому что люди пухли от голода. Коротка память человеческая на добро. Вот ты радуешься, что согрешила она, но кто ж из нас безгрешен? Запомни, сын мой: самые прославленные святые выходили из числа кающихся, и коль скоро раскаяние соответствует проступку, то у самых великих грешников есть надежда стать величайшими святыми. Трижды в день повторяй слова Иисуса Христа: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Может, тогда твое сердце смягчится.

— Вот это верно, святой отец, — сказал бочар. И Франсуа, прислушивавшийся к разговору, согласился с ним. — Что ж теперь будет с матерью-аббатисой?

— Епископ лишил ее сана и, как я слышал, велел несчастной идти в Рим — просить отпущение грехов у святейшего папы.

— С кем же она грешила, отец мой?

— С одним из нас, Жан. А ты что так побледнел, Пьер? Кому бог дал мужское естество, с тем и согрешила.

— Живой бы ее, гадину, закопать, чтоб другим шлюхам неповадно было.

Франсуа отнял кружку от губ, крикнул через головы сидевших за столом:

— Скорняк, зачем ты так упорен в злобе? Язык твой подлый недостойн, чтоб о него вытирали грязные сабо, а ты осмеливаешься судить самую чистую из женщин! Что знаешь ты о женщинах? Ты с головы до ног пропах мочой, в которой вымачивают кожи, но огля-

нудся ли хоть раз вокруг, взглянул на звезды, на вершины вязов к дубов, вдыхающих ветер полной грудью, на человеческие лица?

Все, кто был в трактире, посмотрели на Вийона.

— Сын мой, ты, видать, чужой в наших краях, а говоришь так, словно знал мать-настоятельницу. Садись за наш стол, места хватит. — Кюре подвинулся на скамье. — Люди в моем приходе простые, и не нам с тобой судить их строго.

— Кого за что судят, я знаю не хуже прокуроров. — Тут скорняк перемигнулся с богачом. — Да, скорняк, знаю. Не бойся, поднеси свечу к моему лицу и рассмотри хорошенько, у тебя ведь ноги чешутся сбегать за стражей. Не медли, доносчик должен быть проворным. Но я тебе отсыплю вдесятеро больше и щедро заплачу любому, кто мне скажет, где искать настоятельницу. Может, ты слышал, бочар? Может, ты, святой отец?

— Сын мой, успокойся, вино у нас крепкое, а ты выпил довольно. Эй, Робер, помоги подняться своему постояльцу, а ты, Жан, бери под левую руку.

Франсуа замотал головой. Держась за перила лестницы, тяжело поднялся в каморку. Скрипели половицы, в трубе гудел ветер, и он с ума сходил, не зная, что делать, как отыскать Берарду. Он так ясно видел, как, истерзанная власяницей, ступает она босыми ножками по острым камням, по колючей стерне, и падает, и плачет, что завыл от горя, зажав руками рот. То он хватал плащ, чтобы немедленно бежать подальше от аббатства, то замирал, прислушиваясь к скрипу лестницы.

Всю ночь он просидел в каморке под крышей и пил, стараясь не думать об ужасном дне, набившем золотом его кошель и обобравшем сердце. Когда-то, впервые увидев Берарду, угощавшую жареными каплунами коадьютора, потиравшего пухлые руки, он, дождавшись, когда коадьютор вышел из трапезной, прочитал аббатисе стихи, слушая которые она смеялась.

Толстяк монах, обедом разморенный,
Разлегся на ковре перед огнем,
А рядом с ним блудница, дочь Сидона,
Бела, нежна, уселась нагишом;
Горячим услаждаются вином,
Целуются, — и что им куши рай!
Монах хохочет, рясу задирая...¹

И хотя он прочитал их одной Берарде, стихи быстрее чумы разнеслись по Франции. И епископ Жан де Бово прочитал их королю Рено, который ласково принял Вийона в Анжере. Когда смущенный Франсуа стал божиться, что первый раз слышит эти стихи, монсьеюр де Бово погрозил ему пальцем: «Полноте, мэтр Вийон, кто способен на большее, тот способен и на меньшее».

Утро застало Франсуа пьяным. С трудом объяснив трактирщику, что он больше не намерен оставаться в «Веселом мельнике», постоялец расплатился и побрел по дороге, даже не спросив, куда она

¹ Перевод Ф. Мендельсона.

ведет. Так же, едва передвигая ноги, шел он три года назад во Дворец правосудия. Да, уж он-то знает, кого и за что судят. И знает, как судят ни за что.

ГЛАВА 18

Песчаная волна взлетела и замерла над дорогой. Пучки травы качались, осыпая струйки песка. На самом гребне дюны рос синий цветок цикория. Высоко в небе шумели вершины сосен, пахло смолой и хвоей. В зарослях вереска жужжали пчелы, неумоимо перелетая от цветка к цветку; их слетелись сюда тысячи, и в крепком солнечном воздухе стояло звенящее гуденье. А вокруг сосен, у подножий стволов, распахнулись зубчатые папоротники, и громадные пушистые лопухи укрывали скользкие шляпки грибов с прилипшей хвоей. Франсуа зарыл босые ноги в горячий песок, радуясь дню. Солнечный ветер обсушил пот на лице. Проклятая лихорадка, прицепившаяся еще в «Камере трех нар», изредка напоминала о себе волнами жара, слабостью в ногах, головокружением. Похоже, на этот раз болезнь вцепилась крепко — он чувствовал ее в себе.

Белая дорога огибала бугор, заросший лебедой и голубыми цветами, над бугром виднелась макушка придорожного креста, поставленного, наверное, очень давно, потому что, проходя мимо, Франсуа увидел потемневшее дерево, распятого Христа — темного и потрескавшегося, словно всего залитого запекшейся кровью. Он долго смотрел на поникшую голову в терновом венце и, отойдя два шага, почувствовал, что хочет вернуться и посмотреть на бородатое лицо, искаженное мукой, на толстые веревки, которыми привязано тело: эти веревки и не давали уйти — он раньше не видел их на распятых, а тут Иисус висел на них обессиленный, и видно было, как они сдирают кожу с ребер. Сейчас, глядя на вершину креста, Франсуа снова захотелось подойти к принявшему смерть, встать коленями в белый песок, но мешало солнце, запах нагретой смолы, выступившей в морщинах коры, жужжание пчел.

Песчаная дорога приглушала топот копыт, но он слышал и, спрятавшись за ствол сосны, увидел женщину, ехавшую на муле, — лицо ее скрывала бархатная маска, рядом ехал всадник. «Куда они спешат? О господи, ты дал мне дух и тело, ты видел, что оно терпело, и, снизойдя, умерил боль. Эта дамуазель, хотя я не увидел ее лицо, наверное, молода и красива, как авиньонка. Она спешит туда, где ее ждут, но где не ждут меня... И все-таки не поспешить ли вслед, найти приют, пока болезнь не свалила меня прямо на дороге?»

Сосны шумели; там, где они широко расступились, нежно желтели поля колосившегося ячменя. Откуда-то сбоку выбежала узкая речушка, весело всплескивая крупной рыбой; закатав штаны, Франсуа вошел в прохладную шкочущую воду и увидел маленькую выдру, быстро плывущую к другому берегу, где над водой чернела нора. Он смыл с лица пот.

— Если эту водицу обрядить в латынь и назвать «аква фонтана», она, пожалуй, станет не такой уж пресной. — Склонив лицо, он

раздвинул рукой желтые кувшинки, отпил прямо из речки. — Увы, вином она не стала. Но, Франсуа, не будь слишком привередлив — ты пьешь напиток, который утоляет жажду Александра Великого и Шарлеманя, да и господь наш предпочитал воду всем остальным напиткам.

Выдра высунула мордочку из норки и снова скрылась.

За бревенчатым мостом Франсуа остановил босоногий крестьянин с огромной дубиной.

— Здесь владения господина де Кайерака. Уплатите деньги.

— Как ты сказал? Уж не того ли господина де Кайерака сеньора Марбуз?

— Того самого.

— Постой, приятель, да ведь я его давно ишу, уж и забыл, сколько лет, чтоб передать письмецо от славного господина де Лонэ. Сними-ка с меня короб. О пресвятая дева, как тяжело быть ослом хотя бы раз в неделю! Где же письмо? Ага, вот оно. Так ты говоришь, что со своих гостей сеньор тоже берет мостовщину?

— Ну, ежели гость, тогда оно...

— Нет, если ты настаиваешь... — Франсуа отдал деньги, добавил еще одно. — А что это за дама проехала на муле?

— Племянница нашего господина.

— Что же, она молода?

— Ей семнадцать, но она уже вдова.

Перед воротами замка Вийона снова остановили — на этот раз латник, которому от жары лень было даже спрашивать, — он просто преградил дорогу копьем.

— Скажи сеньору, что у меня письмо от господина де Лонэ.

Стражник поднял копьё, пропуская Франсуа под арку ворот. Должно быть, когда-то замок окружала стена, но сейчас остались ворота и две башни, которые не могли защитить обитателей замка. Да и сам замок был чуть больше башни. Сумрачный горбатый коридор привел наконец в зал, выложенный булыжником, как парижская мостовая. Громадные балки поддерживали свод, почерневший от копоти факелов, вставленных в кольца, вмурованные в стены. Окна, забранные толстыми решетками, едва пропускали свет. В стенах зала виднелись двери, и Франсуа, подумав, выбрал ту, что вела прямо, и едва не поплатился жизнью — в створку вонзилась тяжелая стрела. Из ниши вышел человек с опущенным луком и спокойно вытащил стрелу, дрожащую над плечом Вийона.

— Обычно сюда в это время никто не входит, ибо я укрепляю руку, и, смею вас уверить, сударь, она тверда, как прежде.

— Я могу это засвидетельствовать перед кем угодно. Господин де Лонэ говорил мне, что в этом замке живет отважный рыцарь сеньор Марбуз господин Гюго де Кайерак.

— О, вы знакомы с де Лонэ! Он здоров?

— Ручаюсь, он здоровее трех таких, как я. А вот и письмо.

Сеньор Марбуз громко прочитал слова приветствия и просьбу радужно встретить мэтра Франсуа Вийона.

— Давно в моем дворце не собиралось столько гостей. Мар-

тин! — Вошел крестьянин с алебардой. — Проводи мессира в Родосский зал.

Родосский зал, куда вела винтовая лестница, помещался в башенке замка и представлял собой круглую маленькую комнату. Над каждой из трех бойниц висел щит с потускневшим пурпурным полем, украшенным золотой чашей и черным единорогом — гербом Марбуэ. Простенки завешаны пыльными коврами. На полукруглой лавке сложены подушки, напротив такая же лавка, но на локоть выше и с дверцами. Кресло с высокой прямой спинкой, над ним деревянное распятие — вот и все, если не считать медной лампы, висящей на серебряной цепи, и ночного горшка под лавкой. Лучи света, косо падавшие из бойниц, сходились точно под лампой, и свет был так причудлив, что, казалось, его можно зачерпнуть в ладони, как воду из реки.

— Мартин, и что мне здесь делать?

— Ждать, пока сеньор призовет вас к себе.

— Как ты думаешь, он не забудет это сделать?

— Он придет за вами Люка.

— Люка? — спросил Франсуа, но Мартин не считал нужным ответить.

Люк оказался рослым выпуклогрудым псом неизвестной породы. Янтарные глаза смотрели настороженно, складчатый загривок напрягся, когда Люк взял белыми клыками полу плаща и потянул Франсуа. Отпустил и снова потянул. Так, следуя за собакой, Франсуа пришел в зал, где под руку прохаживались две пары: племянница сеньора Марбуэ с кавалером и дама значительно старше с тшедушным мужчиной странного вида — на нем был камзол серого сукна, в густых черных волосах курчавилась стружка. Видно было, что свою спутницу он вовсе не слушает и даже делает какие-то странные движения рукой. Обе дамы были в длинных платьях, подвязанных под лифом шелковыми поясами, концы которых спускались до пола. Обе в высоких рогатых колпаках палевого шелка, но у младшей на плечи спадало черное кружевное покрывало, а у старшей — белая кисея. Вырезы лифа у обеих оторочены мехом. У пожилой на худой шее янтарные бусы в три ряда. Что касается жениха, то он был одет по парижской моде — в зеленый камзол с буфами, туго стянутый кушаком вишневого шелка, в коричневых штанах, обтягивающих стройные мускулистые ноги, и такого же цвета остроносых туфель без задников. На голове красовалась крошечная голубая шляпка, перевязанная желтой лентой.

Люк подбежал к юной даме, дождался, пока его почешут за ушами, и улегся на кабанью шкуру, расстеленную перед громадным очагом, в котором горели сосновые чурбаки. На маленькой башенке в углу зала, под балками потолка, стоял мальчик-трубач; он часто зевал, но, как только раздались удары колокола, вскинул трубу и так пронзительно и мерзко затрубил, что Франсуа вздрогнул. После третьего душераздирающего сигнала послышался цокот копыт, и в зал на соловом кастильском жеребце въехал сеньор Марбуэ, господин Гюго де Кайерак — в рыцарских доспехах, с копьем,

опертым в стремя, опоясанный мечом. За ним шел латник с мечом и арбалетом. При каждом шаге коня, еле тащившегося под тяжестью ржавого железа, шарниры доспехов скрипели, но все равно картина была достаточно грозной. Рыцарь с грохотом спешил и, сотрясая пол тяжелыми шагами, прошел к столу. Оруженосец встал за креслом господина.

Справа от сеньора села дама постарше, слева — племянница. Мужчины сели за другой стол — сбоку, напротив резного поставца, заставленного тарелками, кувшинами, кубками. Лошадь потопталась и, повернувшись ушла.

— Дамы и господа, это мэтр Франсуа Вийон, добрый знакомый господина де Лонэ, доблестного слуги короля. А вам, мэтр Вийон, я рад представить мою сестру Луизу де Кайерак, мою племянницу Франсуазу дю Карден, господина Шарля де Моле и Гастона Пари, мастера. А это мой оруженосец Жильбер — я спас его от страшной смерти... гм... как, впрочем, и он меня.

Слуга обнес всех блюдом с жареным поросенком, обложенным печеными яблоками, расставил оловянные тарелки с молодой фасолью, запеченным в тесте карпом, рубленой бараниной, тушеной в виноградных листьях.

Первым кубок поднял господин де Кайерак.

— Богу — слава, королю — держава!

Захрустели пороссячьи косточки и куриные крылышки, застучали ножи по тарелкам. Племянница подавала дяде вино, сестра кормила брата, кладя в открытый рот куски мяса. Жильбер вытирал чистой тряпкой жир и соус с губ господина.

Франсуа во все глаза смотрел на рыцаря, не заметив, как мастер придвинул к себе его тарелку, и листья винограда вместе с бараниной мигмом исчезли в его редкозубом рту. Франсуа не огорчился — болезнь лишила его аппетита, но мучила жажда, и он никак не мог напиться.

— Дядя, каким замечательным рассказом вы нас сегодня развлечете?

— О Франсуаза, здесь так много молодых людей! Господин де Моле недавно вернулся из Лиссабона, а мэтр Вийон, я думаю, расскажет о Париже.

Франсуа хотел сказать, что уже почти четыре года не был в Париже, но придержал язык, — может, и доблестный де Лонэ уже покоится на кладбище.

— О, мэтр Вийон, должно быть, прочитал новый роман Антуана де Ла Саля «Маленький Жан из Сентре»?

— Увы, госпожа де Кайерак, я не читал этого достойного сочинителя.

— И правильно, мой друг! Если бы я рассказал вам, что мне пришлось пережить, вы бы поняли, какие небылицы выдумывают те, кто пишет романы. Они рассказывают о драконах и великанах, но мне довелось сражаться с чудовищем во сто крат страшнее. Представьте зверя с этот зал, с кожей толстой, как стена в два кирпича; его огнедышащая пасть унизана громадными клыками, каждый из

которых длиннее моего меча. Увидев этого дракона, многие испустили крик ужаса и даже мой конь присел от страха. Но я даю ему шпоры и мчусь с копьем наперевес, вручив свою жизнь деве Марии и святому Георгию. Я налетаю, как ураган, и что же вы думаете? Копье ломается, как сухая ветка, а я чувствую, как пламя чудовища охватило мои доспехи адским огнем, и льняная рубашка от жары начинает тлеть, нестерпимо обжигая тело. И если бы не кусочек животворящего креста, вделанный в рукоять меча, не знаю, говорил бы я сейчас с вами. Я рубил чудовище, как дровосек рубит дуб в четыре обхвата, едва уворачиваясь от громадных клыков, пока оно не рухнуло, едва не проломив землю. Мой оруженосец еле поднял ух этого дракона.

— Бедное животное! — сказал Гастон Пари.

Но господин де Кайерак не слышал этих слов, он пришел в такое волнение от собственного рассказа, что попытался вытащить меч из ножен — словно чудовище уже было в воротах замка и пожрало ненадежную охрану смердящим огнем. А племянницу пришлось обрызгать водой — так она побледнела.

— Признайтесь, мэтр Вийон, что вам не доводилось слышать ничего подобного?

— Что касается меня, — честно ответил Франсуа, — то я просто ошеломлен и, признаюсь, умер бы от страха при одном виде этого чудовища.

— Ну, мне-то доводилось одерживать и более славные победы. Верно, Жильбер?

— Да, господин.

— Мой милый брат, а нельзя было приручить дракона, чтобы он стерег наш замок от стражников барона?

— Не бойтесь, сестра, пока я сжимаю рукоять меча, вашей чести никто не угрожает.

Судя по тоскливому лицу дамуазель Луизы, морщины которой не мог скрыть даже толстый слой румян, ее чести вообще никто не угрожал. Другое дело племянница; когда она встала из-за стола, Франсуа увидел пушистую ложбинку на гибкой спине.

Дамы ушли вышивать, а мужчины остались, но вскоре господин де Кайерак захрапел, и гости вышли из зала.

— Сударь, — обратился Франсуа к мастеру, — нет ли здесь поблизости трактира?

— Есть — «Под замком», но вино там дрянь, и трактирщик вор. Если хотите, угощу вас отменной виноградной водкой.

Мастер жил в одной из башен, оставшихся от стены. Вокруг башни были свалены стволы сосен, громадные пни с переплетенными корневищами, доски. Тут же стоял широкий верстак, над которым свисали веревки блоков. Одно бревно было крепко врыто в землю, и Франсуа показалось, что оно напоминает человека. Да это и был человек — громадный, высотой в два роста, вырубленный топором и теслом, — он выступал из светло-желтого ствола, уже отчетливо виднелись воздетые руки и голова.

— Кто это? — спросил Франсуа.

— Святой Лука.

«Хорошо бы поселиться в этой башне», — подумал Вийон.

ГЛАВА 19

Гарь и смрад подняли в небо тысячи парижских ласточек, гнездившихся на колокольнях, башнях, под карнизами. Они стремительно кружились над городом, над морем черепичных, шиферных, свинцовых, медных крыш, не в силах отыскать в пожарах и дыму потерянные гнезда с осиротевшими голодными птенцами. С высоты птицам казалось, что дым окутал не только весь громадный город, но грозовой тучей расплзается над бескрайней равниной, золотящейся полями, до деревушек Исси, Жантильи, Вожирар, Виль л'Эвек — до темно-зеленых округлых холмов, видневшихся на севере, до меловых откосов Монмартра, белевших на юге.

Ветер кружил перепончатые крылья ветряных мельниц, воды Сены и Бьевра вращали тяжелые жернова, но не могли намолоть и пригоршню муки, зато чума не уставала перемалывать людские жизни. В полях, шурша, осыпалось спелое зерно, но не видно было жнецов с острыми серпами, зато чуме в то лето досталась обильная жатва. Горели дома, ревел скот, плакали женщины и дети, молча смотрели мужчины, шепотом творя молитву. И по двенадцати дорогам к воротам Парижа нескончаемо тянулись беженцы, скрипели повозки, брели коровы, лошади, ослы, вздымая красную и серую пыль, оседавшую на землю уже черной — от жирного копотного дыма. Но все двенадцать городских ворот уже третью неделю были наглухо закрыты; в кованые скобы стража вбила громадные железные брусья; подъемные мосты, перекинутые через рвы, подняли.

Коровы стояли в воде, мыча от боли, даже не отгоняя оводов, — их не доили третий день. Должно быть, проточная речная вода облегчала страдания животных, — они все дальше заходили в Сену, вздымая морды. Волна захлестывала их, и наконец черная корова с обломанным рогом поплыла к Сите, за ней еще три коровы и теленок. Выбравшись на вязкий илистый берег, животные побрели, звеня бубенцами. Стража, охранявшая ворота, расстреливала их из арбалетов. Рыжей телке стрела попала в бок, она упала, поднялась, разезжаясь копытами, и, подталкивая рогами теленка, тяжело побежала к реке, чтобы вернуться на остров Коровий перевоз. Островом владел парижский епископ Гильом Шартье, но в те дни никто не решался ступить на клочок земли с одиноким шалашом паромщика, куда сбежались все бездомные псы, рвавшие на куски обезумевших коров.

Через ворота Сен-Мартен из Ситэ в город въехал всадник на игреневом злом жеребце. На горбатом мосту Богоматери он придержал коня, лениво разглядывая плывущую корову с раздутым бурым брюхом. Несмотря на жару, всадник был одет в пунцовый, расшитый серебром камзол и плащ с широкими парчовыми рукавами в голубых разводах. Голые гладкие колени, не прикрытые корот-

кими шелковыми штанами, сжимали бока рыжего коня. Вздыхнув, он обтер потное лицо кружевным платком, смоченным в чесночном соке, оглянулся — следом ехали латники.

Граф Жоффруа де Сен-Марен не знал, зачем король с такой поспешностью призвал его в Париж из замка, куда он удалился подальше от чумы, и был недоволен — он, де Сен-Марен, не ровня какому-нибудь красавчику Филиппу де Комину по прозвищу Дамуазель, которого в любое время дня и ночи можно призвать в королевский покой во дворце Турнель. Подземелье Турнель король называл «мой зверинец»: злодеи там томились в железных клетках и, подобно диким зверям, рычали, потеряв от холода, голода, пыток человеческий облик.

Правда, в последние месяцы государь чаще останавливался в Бастилии, но и здесь стеноания и крики узников, доносившиеся через окованные железом двери, смущали слух венценосца.

13 июля 1466 года Людовик XI повелел прево Роберу д'Эстутвиллю выпустить узников, заточенных в Гран Шатле, Пти Шатле, Консержери, Бастилии и Турнель, — некому стало охранять тюрьмы. Но самых опасных преступников, уличенных в сношениях с бургундцами и пикардийцами, палач Анри Кузэн и его подмастерья без лишнего шума удавили той же ночью и бросили в громадные ямы кладбища Невинно убиенных, куда со всего города свозили умерших от чумы.

Стража, выехав вперед, оттесняла к стенам домов черные повозки погребальщиков, груженные трупами; там были вперемишку свалены и босые кармелиты в серых рясах, подпоясанных узловатыми веревками; и дамы с задранными нижними юбками, с длинными вуалями, закрывшими лицо; и школяры в сутанах голубого и фиолетового сукна; и даже невеста в красном подвенечном платье — чума не щадила никого.

Госпитали превратились в чумные загоны, куда стражники стогнали стеноающие толпы больных. На Свином рынке и живодернях пустовали торговые ряды, зато на Хлебном рынке печи булочников не остывали даже ночью — хлеб подорожал в два раза. Нажились и домовладельцы: постояльцы, уплатившие денежки за полгода и за год вперед, нашли вечное прибежище, съехав из квартир на кладбища. В конторах нотариусов скрипели перья — писцы не успевали писать завещания. Охрипшие священники по двадцать раз на день отпускали грехи умирающим. Плотники уповали на святого Иосифа, сапожники — на святого Криспина, пекари — на святого Гонория, лекари — на святого Кузьму, садовники — на святого Фиакра, плотовщики и лодочники — на святого Николая, а все вместе — на деву Марию, владычицу и заступницу. В гавани матросы рубили топорами канаты, оставляя якоря на дне Сены, лишь бы скорее отплыть в Марсель и Тулон; под тяжестью людей трещали сходни; в грязной воде барахтались люди, овцы, свиньи.

Ту часть города, куда свернула кавалькада, называли по привычке Болотом — когда-то здесь было болото, куда Камюложон заманил Второй галльский легион Цезаря. Станным казалось, что здесь,

на булыжной мостовой, со всех сторон стесненной подступившими великолепными дворцами, некогда опасно зыбилась трясина, со свинным чавканьем пожравшая глупых римлян. На великолепной звучной латыни они истошно проклинали коварство паризиев. Они нашли смерть в вонючей жиже, но их речь осталась, окаменев в сводчатых порталах, стрельчатых шпилях, толстостенных мощных башнях, крепостных стенах из грубо отесанного камня.

Вдоль стен аббатства Сен-Мор всадники направили коней в узкую и глубокую, как овраг, сумрачную улицу Сент-Антуан, поднимающуюся к Ангюлемскому подворью, сиявшему позолотой крутых крыш, над которыми вонзались в небо шпили и колокольни королевского дворца Турнель. Обогнув подворье справа и миновав арку ворот Сент-Андре, всадники достигли мрачной громады Бастилии — грозных башен, казавшихся стволами исполинских пушек, нацеленных в небо. Громовые раскаты крепостного колокола заглушали здесь перезвон колоколов всех сорока четырех церквей правого берега, служивших молебам по велению папы Павла II.

Подъехав к воротам главной башни Бастилии, де Сен-Марен, которого встречал комендант, спрыгнул с коня и поднялся по крутой каменной лестнице в круглую комнату, обитую золотистыми соломенными циновками. В единственном кресле сидел король. Не переставая макать перо в медную чернильницу, он внимательно слушал прево Робера д'Эстутвиля — рослого рыжебородого мужчину в алом плаще, наброшенном поверх легкого панциря из алой кордовской кожи; когда король переставал писать, почесывая пером длинный нос, придворный поглаживал пальцем коротко стриженные усы или глубокую вмятину на шлеме. Закончив письмо, король запечатал его желтым воском.

Людovicу XI исполнилось сорок три года, но он казался значительно старше. Возможно, такое впечатление усугубляла не только его внешность — морщинистые руки, поседевшие немытые волосы, прилипшие к бледному лбу, тонкогубый неулыбчивый рот, но и бедная неряшливая одежда: потертое черное трико, серый обносившийся плащ, засаленная шляпа из самого скверного сукна. Две желтые витые свечи освещали властное угрюмое лицо.

Даже не обернувшись, чтобы взглянуть на вошедшего, Людовик упорно смотрел на прево. Его раздражали подстриженные усы.

— Государь, вчера герольды объявили королевский указ: отныне считать одно денье равным трем денье.

— Это мы знаем и без вас. Мы бы предпочли сейчас услышать о тех, кто распространяет гнусные слухи о скорой высадке англичан в Арфле.

— Ваше величество, позвольте мне ответить на этот вопрос вечером, хотя, вполне возможно, тех, кого мы разыскиваем с великим тщанием, успела раньше нас выследить чума.

— Монсеньор, не сваливайте свои заботы в могилы кладбища Невинных — оставьте немного и себе. А что за дело Жиле Сулара? — Людовик вытащил из вороха бумаг самую нижнюю, близко поднес к прищуренным глазам.

— Жиле Сулара и его свинью казнили, ибо следствием установлено тягчайшее злодеяние — чернокнижие.

— Как?! И свинья читала? Уж не считаете ли вы нас таким же дураком, как ваших следователей?

— Свинья покусала трех горожан, а именно тех, которые донесли на Жиле Сулара. Преступник сожжен, свинья закопана живьем.

— Тут написано, что пятьсот вязанок хвороста для костра взяты в Морсанском порту. Неужели не нашлось дров поближе?

— Увы, государь!

— Но это не все, чем мы недовольны. Прокорм свиньи составил восемь парижских денье ежедневно, а следствие продолжалось одиннадцать дней. Это слишком дорого, монсеньор, если вспомнить, сколько наших подданных вдоволь не едят даже хлеба. Как вы нам только что сообщили, отныне одно денье равняется трем, так что разницу за прокорм свиньи велите взыскать в королевскую казну немедленно из жалованья прокурора Корбейля. А сейчас оставьте нас. Да, и передайте нашу просьбу своей очаровательной супруге: пусть она вам купит новый шлем — этот погнут.

— В битве при Монлери, государь!

— Народ хочет мира, не надо напоминать ему о войне. А заботу о наших победах оставьте историографу Матье, он с удовольствием послушает рассказ о ваших подвигах на поле боя. Вы согласны с нами, Жоффруа?

Граф де Сен-Марен молча поклонился. Прево, пятясь, вышел в низкую сводчатую дверь.

— Граф, вы, кажется, удивлены, что мы призвали вас? Да, да, удивлены, судя по вашему лицу. А знаете ли вы, сколько подданных мы потеряли за эти дни? Лишь парижан почти шестьсот сотен. А с мертвых подати в казну не взыщешь.

— Но их имущество, ваше величество...

— Для королевства живой пахарь или оружейник куда нужнее мертвого вельможи, а посему мы повелели объявить Париж священным городом; указ уже скреплен печатью, и чем скорее герольды огласят его во всех уголках нашей Франции, тем быстрее поспешит сюда народ. Весь конный и пеший гарнизон Парижа отныне мы подчиняем вашей власти, граф, и всех гонцов тоже — епископских, торгового старшины, ректорских. Прево уже уведомлен об этом и окажет вам любую помощь, какую вы сочтете нужной для исполнения нашей воли без промедления.

— Но, ваше величество, объявить Париж священным городом — значит распахнуть ворота для всех головорезов и висельников королевства!

— Вот вы и позаботитесь о городских воротах, мы вам поручаем их охрану. — Король замолчал и подул на перо, вытянув губы. Черные волоски вороньего пера затрепетали. — То, что ваше усердие будет должным образом вознаграждено, вы, зная нашу милость, понимаете и сами. Да, вот что еще, наш преданный Жоффруа: насколько мы помним, вы знакомы с мэтром Франсуа Вийоном...

Ну, ну, не хмурьтесь так! Увы, в Париже не осталось ни одного поэта — живого, конечно, а это непорядок, граф, это возмутительно. Так вот, мэтра Франсуа Вийона — а он непременно поспешит в Париж, услышав наш указ, — мы повелеваем доставить в нашу резиденцию Турнель. Надеюсь, вы его узнаете, даже если он будет одет в ваш плащ и камзол. Ну вот и хорошо, мы знали, вы согласитесь с нашей просьбой. А вам очень подошло бы платье кавалера ордена Золотого руна. Велите портному сшить платье, а орден мы пожалуем сами.

Оставшись один, Людовик, шаркая ногами по ковру, подошел к узкому окну, забранному позолоченной решеткой, и долго смотрел на город. Пять лет назад он взшел на престол, и с тех пор не случилось ни одного дня, когда бы дела оставили его в покое: «Шестая университетская смута» — бунт строптивых школяров; осада Парижа богопротивным герцогом Карлом; страшная комета 1465 года, и вот теперь — чума. Он один, а полчища врагов Франции несметны. Он разгромил бургундцев при Монлери; он сжал Сорбонну в своем жилищном кулаке так, что из чернильных душ магистров или лицензиатов брызнула кровь; он навел порядок в столице; запретив горожанам под страхом смертной казни носить кинжалы, повелел с наступлением темноты зажигать на окнах свечи и привязывать собак; он, как собач, посадил на цепь наглых баронов; он дал власть парламенту; он наполнил оскудевшую казну золотом. Но сейчас его ум и воля бессильны, — он смотрел на Париж, окутанный смрадным дымом, как мать, склонившаяся над больным ребенком.

...Граф Жоффруа де Сен-Марен мог быть доволен — платье кавалера ордена Золотого руна сшили на день раньше срока: длинную алую мантию, отделанную петельками из крученой серебряной нити; камзол багряного атласа, подбитый мехом и затканый золотыми искрами и крестами; шляпу с меховой опушкой; белые вышитые перчатки. В открытом ларце, отражая пламя свечей, сверкала золотая цепь с барашком — орден Золотого руна. Граф двумя пальцами вытянул цепь, собрал на ладони. «Ну что же, посмотрим, как завтра вытянется нос у графа де Шеврез!»

— Ваша светлость, капитан Тюска спрашивает, не соизволите ли вы удостоить его своим вниманием.

— Тюска? Это еще что за болван?

— Капитан городской стражи, — ответил слуга.

Граф погладил мочку уха, встал у кресла, опершись кулаком на подлокотник.

— Пусть войдет.

Тюска поклонился, высоко откинув руку со шляпой, исподлобья с восхищением оглядел графа.

— Клянусь кровью Христовой, мне не доводилось видеть такого великолепного платья даже на государе.

— Вам нравится?

— О ваша светлость, эти складки подчеркивают мощь вашей фигуры, а сочетание алого шелка, белого батиста и золотого шитья просто изумительно!

— А сзади? Не морщит под мышками? Взгляните-ка, милейший.

Граф прошел по зале — от кресла к стене, завешанной оружием.

— Чтобы передать мое восхищение, нужен поэт, а не солдат. — Сен-Марен брезгливо поморщился. — Хотя, как я считаю, самое подходящее место для поэта — тюремная камера с крепкими засовами и прочной решеткой. Ведь и птичка звонче поет в клетке.

— В клетке?

— В клетке, ваша светлость.

— Поет?

— Заливается, ваша светлость.

— Ну, ладно... А что вас привело ко мне, капитан? Только восхищение моей особой или еще что-нибудь?

— Возможно, вы слышали, что чума прибрала капитана де Лонэ, коменданта Шатле...

— Этого старого пройдоху?

— Удивительно метко сказано, ваша светлость. Уж не знаю, как он относился к своим детям, но преступников защищал, как насадка своих цыплят. Упаси господи было дотронуться до убийцы или заговорщика, замышлявшего козни против нашего короля. Я думал, он прикажет расстелить в камерах перины и велит стражникам развлекать негодяев танцами и пением.

— По-моему, вы слишком пристрастны к де Лонэ.

— Я?! Ваша светлость, я говорю вам, как на исповеди. Дознанием по делу стражника Гарнье, которое я сам проводил, установлено, что он приносил лютню заключенному Франсуа Вийону, он же выносил из крепости его мерзкие стихи, высмеивающие влиятельных особ и почтенных горожан. Кроме того, комендант разрешил Вийону содержать в камере животное.

— Что за животное? Собаку, что ли?

— Мышь, которую этот висельник... О нет, я не могу повторить в вашем присутствии.

— Да говорите, черт возьми!

— Ваша светлость, он звал свою мышь Жоффруа.

— Как?! Моим именем! Назвать мерзкую тварь именем графа де Сен-Марена! Всей крови этого балаганщика не хватит, чтобы смыть грязь с моего герба. Ну что же... А где она порхает сейчас, ваша певчая птичка?

— Увы, точно не установлено. Возможно, в Реймсе, а может, в Авиньоне, но где бы ни порхала, она скоро залетит сюда. Узнав, что государь объявил Париж священным городом, Вийон непременно поспешит сюда, уж можете не сомневаться, ваша светлость. Мышь со всех ног побежит в мышеловку.

— Вы, кажется, смысленный малый, капитан. А что вы там болтали насчет де Лонэ?

— Ваша светлость, я человек военный, к тому же обремененный семьей... Жалованье в пятнадцать турецких ливров было бы не лишним для меня. И если вы будете так добры, что замолвите за меня словечко перед господином прево...

— Перед этим выскочкой! Зарубите на своем носу, капитан, что

граф де Сен-Марен не нуждается в посредниках, когда обращается к господу богу и королю. Но, любезный, не рассчитывайте на мое покровительство раньше того... Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю? У вас есть надежные люди?

— Еще бы! Лейтенант Массэ д'Орлеан, сержанты Маркэ, Филибэр, Перне Маршан — у каждого из них должок к Вийону, и они с радостью спустят с него шкуру.

— Я приказу своим людям оказать вам помощь, если понадобится. Можете на них рассчитывать. Поступайте как хотите, но мышеловка должна захлопнуться. Сен-Марен никому не прощает обид! Запомните, капитан. Так, значит, под мышками камзол не морщит?

ГЛАВА 20

Второй этаж башни замка сеньора Марбуэ мастер Гастон Пари сдал в аренду Вийону. Он сам сложил очаг, сколотил дубовый стол на козлах, сделал высокий резной поставец для посуды.

С утра до вечера мастер вытесывал своих святых, а Франсуа сидел рядом на бревне и молча строгал кинжалом щепки. Когда ему надоело сидеть, он уходил по дороге, которая вела мимо мельницы, мимо запруды, в лес. Впервые ему не надо было никуда спешить, бежать, просыпаться ночью от страха. Покой шуршал под босыми ногами песчаным пригорком, шумел вершинами сосен, свистел птичьими голосами, льнул к коленям лобастой черной мордой Люка. Но покой ли это был? Или усталость? Ничего не хотелось. Ничто не обижало. Ничто не радовало.

...Он долго смотрел на муравья, спешившего с бурой хвоинкой между стеблями травы, пока муравей выполз за пределы круга, очерченного взглядом. Когда же он исчез, Франсуа стал разглядывать шишку, упавшую с сосны, под которой он сидел. Поднял голову — увидел белку, быстро цепляющуюся острыми коготками за кору; мелькнул пушистый пепельный хвост.

Франсуа показал ей шишку. Белка сбегала по стволу. Бегала вверх и вниз, не решаясь спуститься, потом на сосне затихло, и Франсуа увидел зверька уже на другом дереве. А может, совсем другую белку: прижав лапки к груди, она держала шишку, быстро-быстро обкусывая смолистые чешуйки. Вылушив шишку, спустилась на землю и плавными прыжками поспешила дальше в лес. И вдруг раздался жалобный крик; что-то, как пламя, метнулось наперерез, тоже с хвостом пушистым, но огромным, — лиса! И снова тихо, спокойно, поют птицы, ветер раскачивает скрипучие стволы.

«Вот и все, — подумал Франсуа. — Еще одной жизнью меньше. Кто же из них справедлив? Белка права тем, что хотела жить, а лиса хотела есть и, значит, тоже жить хотела. Но неужели так бывает, что и убитый и убийца правы? И значит, пытавший меня Жан Маз тоже справедливый человек? И Тибо д'Оссины, упрятавший меня в Каменный мешок? А что же тогда несправедливо, если справедливы смерть и пытки?»

Так он размышлял, не находя ответа, когда увидел запыхавшегося Люка. Пес подбежал, положил сильные лапы на худые плечи Франсуа и лизнул горячим языком в щеку.

— Что, Люк, сеньор Марбуз изволил пригласить меня к обеду? Знаешь, сегодня ему придется рассказывать свои небылицы кому-нибудь другому, а я решаю трудную задачу. К тому же мне что-то ныне нездоровится, мой славный пес: такая боль в паху и голова словно в огне. Чума в наших краях, чума! А разве есть в мире такая напасть, которая минует Франсуа Вийона? Да она за сто лье не поленится навестить меня! Люк, как бы я хотел стать собакой и рыскать по дорогам королевства, отыскивая след Берарды дю Лорье! Я бы расспросил всех встречных собак — не видели ли они госпожу аббатису? Ее очень легко узнать среди других женщин — она прекрасней всех! Но вместо того чтобы бежать, ловить дрожащими ноздрями запах ее тела, я сижу в дурацкой башне или валяюсь под сосной, как упавшая шишка. Раньше я вертелся как волчок, теперь остановился и, как остановившийся волчок, свалился набок. Волчок не может стоять — он или вертится, или лежит. А что там подделывает мастер? Долбит, как дятел, свои бревна? Скоро он уставит святыми все перепутья. Пусть поторопится вырезать святого Роха — нашего заступника от чумы и всех других болезней. Вчера я видел в Марбуз крестьян: они шли за монахом и бичевали обнаженные тела плетьюми с острыми крючьями, на которые так хорошо ловятся налим и сазан; эти крючья вонзаются в кожу и рвут ее. А я сижу здесь и чувствую — болезнь уже вышла мне наперерез, опалив жарким смрадом, как тот дракон, о котором рассказывал мессир де Кайерак.

Пес нетерпеливо потянул зубами плащ, заскулил. Франсуа почесал ему сморщенный черный загривок; Люк закрыл янтарные глаза и ласково подныривал под ладонь.

— А сколько лет живут собаки? Не знаешь? Ну, тогда пошли.

Вийон с удивлением смотрел на свои ноги — они подламывались и ступали вовсе не туда, куда ему хотелось: вдруг сворачивали в сторону, пятились, дрожали.

— Давай-ка отдохнем. Нет, еще подальше, в кустах орешника, а то солнце бьет прямо в глаза. О-о! Я, пожалуй, останусь здесь, а ты беги, иначе останешься без обеда. Ангелы едят раз в день, люди — два раза, животные — трижды. Ты слышал, Люк, умер Карл Орлеанский... Когда ему было двадцать лет, он написал рондо «Мадам, я слишком долго играл!» — и велел вышить слова и мелодию на рукавах длинного бархатного упеланда, для чего понадобилось девятьсот шестьдесят жемчужин, которые обошлись ему в двести семьдесят шесть ливров. А нотные линейки на рукавах были вышиты золотом. Ну и что же? Где теперь это золото? Потускнело и расползлось. Где жемчужины? Слуги оборвали их, как куст малины, — и не осталось ни музыки, ни слов. Но все равно он был поэтом. И я теперь остался один из нашего славного цеха. Ах, Люк, откуда тебе знать, что значит быть поэтом! Когда по городу идет великан, выше всех на две головы, за ним бегут мальчишки и все люди смотрят на него изумленно, показывая пальцем. Но пройди в этот миг

Овидий или Данте, никто не удостоит их взглядом — они такие же, как все. Их можно задеть плечом, ударить, растянуть на кожаной скамье и выпороть плетью, заставить служить на задних лапах, как тебя, дразня мозговой косточкой. Когда же проходят столетия, они, они, а не великаны, не рышари, не короли возвышаются выше всех — так высоко, что на них оглядываются народы. Ты понял, пес?

Но Люка уже не было рядом, — высунув язык, он большими прыжками несся к воротам замка.

Франсуа подтянул колени к животу и застонал — внутри нестерпимо жгло, словно кто-то тянул за ноги, стараясь оторвать их от тела. Вийону казалось, что он уже не умещается в лесу, что его руки тяжело и далеко легли между корнями сосен, голова загородила дорогу громадным валунам. Перед глазами, как на качелях, раскачивались облака, кружилась голова, и тошнота подступала к горлу. И боль, во всем теле боль.

...Он никак не мог поднять руку, чтоб вытереть со лба горячий пот.

— Тише, мэтр Вийон, тише!

— Пустите меня!

«С каких пор мать называет меня мэтром?»

Он открыл глаза — так далеко от матери, так далеко от дома! Лицо мастера Гастона Пари склонилось совсем низко — был виден каждый волос в густой бороде, морщины в уголках тревожных глаз. Содранный лоб сочился розовыми капельками сукровицы.

— Кто это вас так отделал, мастер?

— Меня? Спросите-ка лучше, что было с вами! Нас осадили в этой башне, словно англичан, но мы с Люком доблестно отбили штурм, правда, мне вышибли три зуба, ну и бока намяли.

— Чума?

— Люди говорят, чума. — Гастон приподнял жесткой ладонью голову Вийона и поднес к серым губам оловянную кружку с холодным вином. — Это дурачье хотело добраться до вас, но я встал в дверях с топором и пообещал нарубить из них поленьев.

— А господин де Кайерак?

— Он сейчас со своим оруженосцем воюет в преисподней или рассказывает о своих подвигах ангелам. Увы, доспехи не защитили его от болезни.

— Дамуазель дю Карден?

— О, жених поспешил увезти ее в Париж, как только услышал про чуму. Да ведь вы успели попрощаться с ними.

— Не помню.

— Во всем замке остались лишь мы с вами и Люк. Если бы не он, вас отволокли бы на кладбище.

Люк, лежавший на полу, поднялся, положил морду на одеяло — кожа на боках обвисла, в черной шерсти загривка, как в бороде мастера Гастона, серебрилась седина.

— Мастер, у меня есть деньги, и я хочу отплатить вам за добро. Я дам вам двадцать экю! Ведь вы спасли мне жизнь.

— О, вы ошибаетесь, Франсуа. Я просто не впустил вашу смерть. Она постояла под дверями, как нищенка, и поплелась дальше. Возможно, вы ее встретите по дороге в Париж...

— Ах, Гастон, в Париж я бы пополз на брюхе! Любой домишко на улице Сен-Жан я не променял бы на самый роскошный замок. Но мне еще шесть лет скитаться...

— Так вы ничего не знаете? Господи, неужели вы не знаете! Ведь наш король Людовик повелел объявить Париж священным городом!

— Поднимите меня, Гастон. — Мастер приподнял Франсуа, подложил под голову подушку. — Дайте вина.

— Так что, мэтр Вийон, нагуляйте немного жира на ребрах — и в добрый путь. Что же касается меня, то я и за сто экю не соглашусь перебраться из этой развалины даже в Лувр. Представляю, сколько сброда со всего королевства сейчас торопится в Париж — все убийцы, живодееры, любители поживиться за счет чужого кошелька.

— Ну, они-то мне не страшны, язык их мне знаком получше латыни. О, завтра же в дорогу!

— Вы не пройдете и двух лье.

— Нет, нет, я дойду. Я здоров!

Вийон попытался встать, но все закружилось, закачалось перед глазами.

ГЛАВА 21

Франсуа оглянулся — замок остался далеко, виднеясь башней, словно выглядывавшей над черными от дождей соснами, наклоненными ветром.

Снова ремни короба сжимали грудь, пояс с зашитым золотом сползал, больно натирая кожу. Рядом, понурив лобастую голову, шел Люк. Молча они дошли до придорожного креста. Франсуа встал на колени в примерзшую грязь; пес лег, положив морду на вытянутые лапы. Все было как год назад, только не слепило глаза солнце, не жужжали пчелы, раскачивая чашечки цветов.

Помолившись, Вийон соскреб кинжалом грязь с колен, подбросил спиной короб. Пес тоже встал, беспокойно оглядываясь назад. Постоял, повернулся и затрусил по дороге к замку.

У запустевшей мельницы Франсуа перешел речку по шатким мосткам. Чума прошла в этих местах не милосердней вражеских солдат — остались только поскотины без скота, снопы без зерна, придорожные часовни без свечей и приношений. Что за проклятая земля, если не с кем на ней перекинуться словом, пропустить стаканчик вина.

Корки льда лопались, и грязная вода заливала сабо. Франсуа проклинал пустынную дорогу, юлившую между холмов с заброшенными виноградниками, с ямами, полными грязи, такими глубокими, что и святой Мартин верхом на коне вряд ли перебрался б через них. Что же говорить о простом смертном? Ремень короба, стянувший грудь, туго спеленал руки, и только кончиками пальцев он вытирал



пот с наклоненного лба. Откинул капюшон плаща, подставив холодному ветру седые волосы. Лицу было жарко, ноги озябли, руки онемели. Прошло уже время четырех молитв, как он вышел ранним утром из замка, свернув шею нерасторопной курице, беззаботно копавшейся в кучке остывшей золы. Сперва она, спрятанная под рубаху, согревала Вийона, теперь он своим теплом согревал ее. Красная морщинистая лапка царапала живот, словно просясь на волю, но он не думал о курице — искал взглядом и носом дым очага, чтобы согреться у огня, передохнуть.

От посоха в грязи оставались маленькие ямки, глубокие, как мышиные норки. Его ли это ноги, резвее которых не было во всей Сорбонне? Его ли тонкие гибкие пальцы, ласкавшие чужие кошечки, как любезных его сердцу девок — когда и где ему хотелось? Да сейчас он не развязал бы и петлю на собственной шее! И этот проклятый снег, он все сыплет и сыплет, перемешиваясь с грязью.

Франсуа поправил узел веревки, перепоясавшей плащ. «Клянусь кровью Христовой, если мне суждено избежать петли, то это вервие, с каждым днем все туже стягивающее мое брюхо, вздернет меня не хуже Дубового Носа. И когда я задрыгаю ногами, мои сабо выбьют дробь последнего похода». Он подкинул короб выше и запел:

Соседи, спящие давно,
Идите с нами пить вино,
И грянем мессу хором!
Школяр до дна стакан свой пьет,
Да будет тот, кто упрекнет,
Навек покрыт позором!¹

Далекий колокольный звон послышался из-за лесочка. Ворона взлетела с придорожного столба и, простуженно каркая, тяжело полетела в лес.

— Ну, значит, чума прибрала еще не всех французов — пономарь зря звонить не станет. Мэтр Вийон, пришпорьте свои тощие бока, курочка уже просится на вертел.

Он свернул с дороги в лес, надеясь сократить путь. Ветви, задеваемые коробом, стряхивали на путника дождь капель, но он весело посвистывал. Идти здесь было легче — не так сыро, правда, сучья валежника царапали голые щиколотки, но удары колокола слышались все ближе.

— Эй, приятель, где у вас тут согревают бедных путников? — спросил Франсуа дровосека.

— В «Золотой розе». Как увидишь метлу на крыше, значит, и стучи.

Вийон скинул короб, ополоснул в луже башмаки и руки. Еще не доходя до трактира, увидел бегущих мальчишек; один из них бросил в него камень: «Хромой, хромой!»

— Ах ты, пострел! Вот я сейчас спущу на тебя медведя, как святой Кузьма, он с тебя шкуру живо дерет.

¹ Перевод Вс. Рождественского.

Мальчишки завизжали от страха и помчались, сверкая грязными пятками. Да и парни торопливо сворачивали за ограду кладбища.

— Эге, уж не веселит ли там вилланов жонглер или актер? Поспеши и ты, Франсуа, может, встретишь кого из знакомых.

На маленькой площади ходил барабанщик, выстукивая дробь на барабане, а сержант-вербовщик зазывал парней в солдаты. Парень, стоявший рядом с Франсуа, нерешительно переступал босыми ногами. Женщина в черном платке гладила его руку.

— Матушка, а мне тоже можно в солдаты?

— Ах, сыночек, ведь кинжалы дают солдатам не для того, чтобы куропаток жарить. Так больно телу, когда в него железо входит!

— А вдруг войны не будет, а денежки я получу.

— Ну и олух ваш сыночек, мамаша! — захохотал Вийон. — Да где ж ты видел, чтоб короли не восвали! Паси своих свиней и радуйся, что носишь свою шкуру на себе, а то мигом обдерут не хуже кролика.

— Хоть вы вразумите его!

Пока они говорили, худой парень с бельмом на правом глазу подошел к сержанту, еще издали протягивая ладонь за обещанными деньгами. Сержант ошупал его руки, сутулую спину, поковырял пальцем во рту и отсчитал пятнадцать монет. Барабанщик снова ударил в барабан. Солдаты, стуча кулаками в кожаные панцири, горланили песню. Новобранец шел за ними, шлепая босыми ногами по грязи, и радостно улыбался.

«Вот так и ловят простаков, кроша хлеб от норки к мышеловке. Потом шелк! — и ты в клетке. Давай, барабан, бей веселей, громче звени монетами, сержант, а я пойду промочу горло».

Ставни «Золотой розы» были опущены, у коновязи, понурился морду, стоял расседланный конь. Францисканец в коричневой рясе мочился с крыльца.

— Мир вам, отче.

— Проходи с богом, сын мой, грех лицезреть человеческое естество.

— Не из золота ли оно у вас, святой отец, что вы вцепились в него обеими руками?

Монах захохотал, обрызгивая рясу.

В комнате было жарко. На решетке очага горели дрова; в котле, подвешенном на цепи, кипела похлебка. Хозяин крошил в котел чеснок и укроп.

— Уважаемый, я так давно в пути, что даже забыл, как выглядит тушеная капуста с салом. Не сделаешь ли доброе дело, накормив голодного? Может, ты глухой, хозяин?

— Я дам тебе корку хлеба.

— У меня зубы плохо держатся в деснах, и корка может причинить им боль. Нет ли у тебя чего помягче?

— Если есть деньги, найдется и помягче.

— Чего нет, того нет. Но посмотри на эту курицу, разве она не стоит день?

Трактирщик взвесил курицу на ладони.

— Я дам тебе за нее обед и ужин.

— И ночлег, добрый хозяин. А раз дело решено, ставь на стол угощение и про вино не забудь, или его выпил францисканец? И прими во внимание, что я магистр семи свободных искусств, а стало быть, человек образованный и знающий толк в хорошей пище.

Трактирщик обтер руки о штаны, поставил на стол миску.

— Выходит, я знаю больше тебя, ибо одним-единственным искусством кормлю себя, жену и пятерых детей, а ты и самого себя не можешь прокормить.

Вошел монах, без лишних слов сел за стол, засучив рукава рясы.

— Далеко ли путь держишь, сын мой?

— В Париж, святой отец.

— А что у тебя в коробе?

— Был товар, да весь продал.

— Судя по тебе, ты купец не из удачливых.

— Да и глядя на вас не скажешь, что вы папа римский. А что касается меня, то лишь превратности судьбы навьючили меня этим коробом, а вообще я человек ученый.

По скрипучей лестнице из верхней комнаты спустился заспанный сержант.

— Юбер, твои клопы кровожадней пикардийцев, они прокусывают даже панцирь. О, и брат Робэр здесь! — Хозяин поставил на стол кувшин и две кружки. — А что ж ты господину ученому не предлагаешь выпить?

Трактирщик, ворча, принес третью кружку. Преломили ржаной хлеб. Каждый взял по куску; отделив корку от мякоти, обвязал ее веревочкой и спустил в котел. Сидели, как рыболовы, жадно вдыхая запах чесночной похлебки. Франсуа потянул свою корку первым, и вовремя, потому что монаху досталась лишь нитка — корка разварилась. Брат Робэр выругался, но его сотрапезники были заняты делом.

— Эге, да вы даже предобеденной молитвы не дожидаетесь, набросились на жратву, как сарацины.

— Солдатам короля грехи отпущены, так что поторопись с молитвой, брат Робэр, а то я уже скребу ложкой по дну. А вы, мэтр, налейте нам еще вина.

— С удовольствием, сержант. Если вы не прочь, я могу порадовать вас балладой всего за два су.

— Вот все они такие, называющие себя образованными, — впадают в уши, как пиявки. Знал я одного, так он двух слов не мог связать без вздохов и ужимок.

Сержант грыз кость, кося выпученными глазами на монаха. А тот, найдя слушателя, поносил всех, кто хоть раз взял перо в руки.

— Совесть у них чернее этих котлов, хотя и пишут на белой бумаге. От них и болезни, и ладеж, и град. Вот ты, отвечай, каким-растаким званием тебя удостоили канальи из университета?

— Я магистр искусств и бакалавр.

— А вот у спасителя нашего было двенадцать учеников, хотя ни один из них не был бакалавром.

Франсуа, не обращая внимания на монаха, подливал вино себе и сержанту. Тот подмигнул ему.

— Я, конечно, господа, человек неученый, да в нашем деле это и ни к чему, но встречал бакалавров, недурно владеющих арбалетом и мечом. Вы же, брат Робэр, бранитесь, как наш капитан, а кажется мне, посади вас на боевого коня да дай вам в руки копье — и не так-то легко вас будет выбить из седла. Рука у вас потяжелее языка.

Монах сжал кружку.

— Это правда. В молодости я мог быка свалить одним ударом, сейчас сила не та, хотя могу постоять за веру Христову и за себя. Эй, Юбер, хватит греть зад у очага, спустись в подвал за вином. Ах, друзья мои, немногим человек отличается от скота, и, увы, мало господь вложил в него такого, за что стоит выпить от чистого сердца. Выпьем за то, что пастырь защищает именем Христовым, дама — целомудрием, а воин — мечом. За честь! Она крепка, как сталь, и нежна, как снег. Не так ли, сын мой?

— Да, как прошлогодний снег, святой отец.

— Какой снег?

Где Элоиза, та, чьи дни
Прославил павший на колени
Пьер Абеляр из Сен-Дени?
Где Бланш, чей голос так сродни
Малиновке в кустах сирени?
Где Жанна, дева из Лорэни,
В огне окончившая век?..
Мария! Где все эти тени?
Увы! Где прошлогодний снег?¹

— Я уже когда-то слышал эти стихи. Наш отряд нес гарнизонную службу возле ворот Дю-Тампль, и школяры распевали их во все горло.

— Я давно не был в Париже, не знаю, кого там сейчас распевают, а кого уже забыли. Забыли, как прошлогодний снег.

«Когда-то меня встречали во всех кабаках, каждую мою балладу хватали еще горячей, обжигаясь, перекачивали слова на губах, как каштаны с жаровни. Дамы прятали их в вырез лифа, воры пели в притонах. Герцог Орлеанский выпускал против меня свору прирученных рифмоплетов: «Ату, ату его!» И епископ Тибо д'Оссиньи, слыша треск моих костей, велел шуту гнусавить мои баллады. Но нет, господа, язык моего колокола еще не заржавел, и вы, монсеньор, услышите его удары. И вы, прекрасная Катерина де Воссель... Я умолял вас о любви стихом и прозой, но вы велели выпороть меня плетью. Клянусь ранами Иисуса, вы тоже услышите мой голос, и тогда в шелковом платье вам станет жарче, чем в бочке с кипятком. О, я не поскуплюсь на плату всем, кто презирал меня, кто гнал меня пинками от своих домов, кто моим сердцем играл в мяч!»

Так думал Франсуа Вийон, решив более не оставаться в «Золотой розе», а поспешить в Париж.

¹ Перевод Вс. Рождественского.

— Хозяин, дай-ка мне ту часть курицы, которую я уплатил за ужин и ночлег, я вспомнил о неотложном деле.

— Но курица уже на вертеле.

— Не будем ее беспокоить и расплатимся монетой. Насыпь-ка мне «беляшек». — Трактирщик что-то шептал, загибая пальцы. — Ладно, не утруждай себя. Дай мне хлеб, кусок сала, головку чеснока и полную бутылку.

— Юбер, последуй совету мэтра, тогда и курица останется на вертеле, и деньги в кошельке, — подсказал монах.

— Я что-то не пойму, в чем тут выгода для трактирщика? — удивился сержант.

— В том же, в чем у моего знакомого купца, который в прошлом году продавал сукно на ярмарке в Павии. Он занял у одного немца сто экю, отдав в залог золотую цепь. Потом пришел к его жене и сказал: «Возьми сто экю и приласкай меня в своей постели». Какая женщина не согласится на такое? А на другой день купец пришел к нему и потребовал цепь, так как долг он вернул жене. Та не могла этого отрицать, и оказалось, что уступила моему приятелю задаром.

— Ловко же он их провел! — сержант стукнул по столу.

— Не думаю, чтоб тут кому-нибудь была обида, — рассудил Франсуа. — Каждый подержал в руках то, что хотел. Ну, хозяин, готово?

Уложив в короб вино, сало и хлеб, Вийон пошел дальше. У последнего дома селения, оглядевшись, нет ли кого рядом, он остановился перевязать пояс. Подложил под него тряпку, взятую у трактирщика. Устало присел на колоду, мокрую от дождя, с куриными изломанными перьями — рыжими, атласно-черными, вбитыми тупым топором в годовые кольца пня, потемневшего от засохшей крови.

— Вот так и от тебя, школяр Вийон, останутся лишь перья и неосторожно пролитая кровь.

ГЛАВА 22

Осень протрубила великий час взлета на крыло. Летели над полями и лесами гуси, красноклювые цапли, журавли. Белый лебедь, озаренный солнцем, распластав пламенеющие крылья над землей, пронзительно трубил. Франсуа смотрел, запрокинув голову, а птица кружилась, опираясь ангельскими крылами на стеклянный воздух. Ветер гнул тонкие деревья, обрывал червонное золото кленов, пламенеющее мерцание осин, неся листья вслед за птицами. Все, что могло взмахнуть крыльями, покидало Францию, лишь он без усталости шел по ее дорогам, размытым дождем, видя сквозь хлещущие струи берега Сены, склонившиеся над водой вязы.

Четыре года он ждал этой осени, обжегшей его сердце пламенем надежды. Четыре года, которые он вдруг сбросил, как прошлогоднюю листву, и простер корявые ветви рук, упав на колени, прижавшись губами к мокрому придорожному столбу с высеченным

крестом в двенадцати лье от Парижа — города, где бьется изменчивое и доброе сердце самой прекрасной Дамы в мире — Франции.

Словно подшучивая над Франсуа, дорога разрослась, как дерево, выпустив из черного ствола три ветви. Глубокая колея, проложенная повозками, свернула влево; справа виднелись отпечатки копыт, а прямо, между стволами диких слив, он увидел столпившихся людей. Перехватив посох, Вийон пошел прямо. Еще не дойдя до толпы, увидел жонглера, подбрасывающего разноцветные кольца — по одному, по два, по три; когда Франсуа растолкал зевак, жонглер, обтянутый в разноцветные штаны и голубую котту с нашитыми бубенцами, запрокинув голову, медленно погрузил шпагу в горло по самую рукоять. Его товарищ, перекувырнувшись через голову, встал на руки и, сняв ногой шляпу, обошел зевак. Пот катился по его наруганным щекам.

— Благодарю вас, господа, еще несколько су, несколько денье, я уже не говорю о ливрах и экю, и мы расскажем вам удивительную историю. Верно, Себастьян?

— О, такой истории не слышал никто из вас. — Жонглер уже вытащил шпагу и, воткнув в землю, повесил на нее плащ, сшитый из лоскутов, и шляпу с пером. Достал из футляра лютню, прислушался к нежным звукам. Второй артист сел на чей-то сундук и, скрестив руки на груди, закрыл глаза.

— Слушайте, люди, я начинаю. Начинается рассказ об Ираклии, который никогда не думал о своей выгоде. Его купил сенешаль, бедного, голодного и босого; и все, что получила за него его мать, она раздала за упокой души его дорогого отца. Юноша прекрасно разбирался в драгоценных камнях, в женщинах и в лошадях. Расскажу вам, каким испытаниям подверг его император, и какие поручения ему давал, и как не доверял ему, как он дважды испытал его и как благодаря ему был женат государь, когда Ираклий нашел то, что было нужно. И если вы послушаете, что я расскажу, то узнаете, как над ним зря потешались, как затем он был посвящен в рыцари, как он достиг вскоре такой славы, что сам был избран императором и стал править в Константинополе. А если вы послушаете дальше, то узнаете, как он отвоевал святой крест у Козроэса, которого он убил, как за это был вознагражден и как крест был перенесен туда, где подобает беседовать о боге. Итак, я начинаю свой рассказ...

Жонглер замолчал и, сняв шляпу со шпаги, обошел слушателей. Старая крестьянка подала ему кусок сыра, Франсуа опустил пригоршню медяков. Он слушал рассказ о бедном Ираклии, вспоминая годы изгнания и невзгоды своей жизни.

— А теперь, добрые люди, Себастьян покажет вам нечто удивительное и неслыханное. Есть ли у кого из вас крепкая веревка? Ну, нет, эта гнилая. А эта коротка. Вот, пожалуй, то, что пригодится.

Артист ловко завязал петлю, поискал глазами дерево и, попросив крестьян ближе подогнать повозку, вспрыгнул на нее и привязал веревку к толстому суку громадного дуба. Лошадь отвели на место, а

под суком Себастьян поставил табурет с круглым сиденьем, обшитым пунцовым бархатом, встал на него и просунул голову в петлю.

— Сейчас те из вас, почтенные зрители, кто хочет увидеть невиданное зрелище, пусть положат в шляпу по одному денье, монахам и детям разрешается смотреть без платы. Так, спасибо, вы очень добры. Любой из вас может выбить табурет из-под ног несчастного Себастьяна. Смелей, смелей, господа!

Но подбадривать собравшихся не пришлось. Отталкивая друг друга, люди бросились к табурету — крестьяне, монахи, ремесленники, нищие; Вийону даже показалось, что в толпе мелькнуло красивое лицо лейтенанта Массэ д'Орлеана — «шлюшонки Массэ», но он, должно быть, обознался.

— О, какой успех, не все сразу, господа, бедный Себастьян всего один. Кто из вас вытащит длинную веточку, тот и палач. — Жонглер зажал в обеих кулаках веточки, и десятки рук потянулись к нему. — О, вы самый счастливый, сударь!

Виллан довольно засмеялся. Франсуа знал, что уже никогда не забудет эту жилистую руку, обветренные морщинистые щеки, крепкую шею, словно сплетенную из корней, и вмятину на лбу под нечесаными рыжими волосами.

Жонглер зажал коленями барабан и выбил дробь. Себастьян стоял на табурете, вздрагивая от холода. Крестьянин поднял ногу в сабо, облепленном грязью, и выбил табурет. Женщины вскрикнули. Тело рухнуло, и ветка скрипнула, по тугим листьям защелкали желуди. Франсуа в ужасе закрыл глаза, почувствовав, что нечем дышать. А когда открыл, Себастьян уже стоял на земле и кланялся публике, потирая тонкую шею с бегавшим кадыком.

Представление окончилось. Скрипели колеса повозок, мычали коровы, кудахтали связанные куры, блеяли овцы, привязанные к задкам телег, и вся толпа крестьян, солдат, ремесленников, монахов растянулась по дороге — только комедианты пошли в другую сторону.

Впереди Франсуа женщина тянула за веревку упрямую козу, гончар сидел на возу с горшками, уложенными в солому. Бородатый торговец, обвешанный образками, что-то говорил человеку, блестящему чешуей, прилипшей к кожаной рубашке, — он катил тележку с бочкой, в которой сонно ворочались черные сомы и золотистые язи, словно закованные в кольчугу.

Франсуа не хотелось идти с толпой, и, дойдя до первого постоянного двора, он подошел к хозяину, скоблившему ножом стол.

— Хотя сегодня и пятница, но от мяса я не откажусь. Хозяин, возьми золотой и поторапливайся.

Хозяин поставил на стол кувшин с вином, свиной окорок, оловянную миску с бобами в чесночном соусе. И так как кроме Вийона никого больше не было, принес и себе кружку вина.

— Хозяин, дверное кольцо в твоём доме обернуто белым шелком.

— Жена рожает. Слышите, как кричит. Да что толку? Она-то кричит, а они молчат — поживут неделю-другую и мрут. Не живут

мои дети — только и успеваем крестить да хоронить. Вот над старшей сжалился господь, а она ушла в монастырь кармелиток.

Франсуа положил обглоданную кость в миску.

— Хозяин, скажи во имя бога и его искупительной жертвы, далеко ли еще до Парижа?

— Всего четыре лье, в ясную погоду видно городские ворота.

— Сен-Дени?

— Нет, Сен-Мартен. Если хотите войти в город, поспешите.

— Да, да, я поспешу — мне непременно надо быть сегодня у францисканского монастыря. Благослови господь тебя и твою жену.

— И вас храни бог.

Розовый туман поднимался над рекой, блестевшей между стволами вязов и платанов, когда Франсуа увидел потемневшие башни ворот. Он поправил ремень короба, вытер лоб; от быстрой ходьбы сердце стучало в горле и больно шемило. Там, над Парижем, солнца уже не было видно, но все небо пылало. Вдруг он остановился: близко, справа или слева, он сразу не понял, кто-то часто ударял колотушкой по доске — шел прокаженный. Низко опустив голову с длинными спутанными волосами, посыпанными пылью, прокаженный брел, стуча по доске, привязанной к поясу. Увидев Вийона, он захохотал и пошел, продираясь сквозь кусты к нему. Франсуа в испуге бросился бежать — ему казалось, что страшный человек вот-вот настигнет его, схватит обезображенной культией. Кто он, этот несчастный, еще при жизни причисленный к умершим внезапной смертью? Кто он, над которым — рыдающим и дышащим! — отслужили панихиду? Кто он, обреченный стучать колотушкой по доске, чтоб каждый встречный знал: идет тот, кто проклят богом?

«О сердце, потерпи еще немного, посмотри на ноги — они хотя и дрожат, но совсем не устали. А глаза? Они стали даже зорче, я вижу башни, за ними улицы, кудрявые, как усики хмеля, в каждом доме тесно от людей, словно в гороховом стручке. Скоро эти стручки лопнут, и все люди высыпят на улицу встретить школяра Вийона. Да, да, сердце, не смейся!»

Рядом остановилась повозка, на тулупе сидели старик и старуха, и вся повозка была заставлена лукошками с земляникой, прикрытыми рогожей. Но разве запах спрячешь? Ягоды пахли так душисто, что Франсуа вдруг вспомнил мать, давным-давно принесшую в дом такое же лукошко, он видел каждую ягодку в нем; мать улыбалась и качала головой, когда Франсуа протягивал ей землянику: «Ешь, мальчик мой, я уж столько их съела по дороге». И ему захотелось купить этот сказочный воз, чтобы матушка хоть раз в жизни всласть поела ягод, чтобы лукошки стояли на полу, на ларе, сундуках, чтоб красной горкой лежали на столе.

— Сколько стоит земляника, огородник?

— Два су.

— Я хочу купить весь воз.

— Три ливра, но малость уступлю, если найдется покупатель, да только по вашему виду не скажешь, что у вас есть и половина этих денег.

— Два су, говоришь? — К повозке, прихрамывая, подошел человек в залатанном плаще, с низко надвинутым капюшоном. — Вот тебе пять су за три лукошко. На, держи!

Старик поднес к глазам монеты, передал старухе. Франсуа смотрел на ягоды, жадно втягивая ноздрями душистый запах.

— Ну, что уставился? Бери! — Человек в плаще протянул лукошко.

— Сударь, он угощаться не желает, ему целый воз нужен.

Старуха с козой, оказавшаяся здесь же, дернула Франсуа за рукав.

— Где же твоё золото, богач? Что-то непохоже по тебе, что в твоём кошельке пасутся желтенькие «барашки». Разве что грех на душу взял.

— Взял, старая карга, взял и еще возьму, когда тебя на этой веревке черти в ад потащат. А ты, старый пень, кати свою телегу дальше. Хотел я весь воз купить, да передумал. Куплю в Париже, там торговцы сговорчивей.

Вийон обогнал повозку и пошел дальше. Недолго прошел, когда услышал за спиной шепот: «Жена, дай-ка кошель, а то...» — «Да тише ты! Вот пять экю тебе, а пять я под подол суну». Скосив глаза, Вийон увидел, как крестьянин, озираясь по сторонам, положил кошель в корзину и прикрыл тряпками. Увидел он и человека в плаще: сойдя с дороги, тот срезал кинжалом ветку терновника и осторожно пошел за телегой. Завидев впереди обоз, незаметно, но больно кольнул шипами кобылу, и та, вскинув морду, рванулась, опрокидывая людей и тележки.

— Стой, проклятая, куда!

А кобыла уже сцепилась оглоблями со встречной повозкой, телега накренилась, посыпались корзины, серпы, вилы. Заблеяли овцы, испуганная корова боднула лошадь в брюхо, и такая кутерьма вспилела на дороге, что даже стражники у ворот, приложив ладони к шлемам, всматривались в свалку.

— Куда лезешь!

— Да оттаскивай свою кобылу, мужлан!

— Назад подай!

Хлестали лошадей кнутами, оттаскивали мычащих коров, ловили разбежавшихся овец, хватили за руки детей, а человек в плаще, высмотрев нужную корзину, схватил кошель и сунул под плащ. И, обойдя кричащую толпу по полю, вышел на дорогу.

Под сотнями копыт, колес и ног скрипел настил подъемного моста. На цепи сидела стайка воробьев, прилетевших поживиться. Латники зорко всматривались в лица входивших в город — нет ли прокаженных и больных чумой. Заглядывали в бочки, корзины, кололи кинжалами сено, открывали дверцы карет.

Франсуа уже был в пяти шагах от моста, когда кто-то схватил его за плащ.

— Попался, вор!

И тут же его обступили со всех сторон: визжали женщины, дети, мужчины. И снова, как наваждение, мелькнула ухмылка на смуглом лице лейтенанта Массэ. Это действительно был лейтенант Массэ

д'Орлеан; он взмахнул шляпой, подавая знак сержантам и слугам графа де Сен-Марена, и те, одетые, как крестьяне, монахи, нищие, сомкнулись вокруг Вийона.

— Попался! Попался! Попался!

— Господа, клянусь, вы меня с кем-то перепутали.

— Вы посмотрите на него — перепутали! Ах ты, бесстыжий, я тебе покажу, как красть чужие кошельки!

Острые когти впились ему в щеку.

— Прочь, подлая душа!

Франсуа схватился за кинжал, но его пальцы нащупали только ножны — кинжала не было.

— Перне, у него кинжал! Бей его!

От удара по затылку у Франсуа полыхнуло перед глазами. Он рванулся, услышал, как затрещал плащ, но его окружили оравшие, остервеневшие от злости. Кто-то ударил башмаком по колену, болью пронзило поясницу.

— Опомнитесь, люди, не нужны мне ваши деньги!

— А это?!

Тяжелый кошелёк ударил его по лицу так, что из носа хлынула кровь. И еще били. Лица почему-то были высоко над ним, а сам он корчился на земле, хватая босые ноги, сапоги, сабо, тяжело бившие его.

— Живодер!

— Висельник проклятый!

Боль разрывала тело, и при каждом вздохе он словно проглатывал раскаленные угли.

— А ну, разойдись!

— Именем короля, прочь с дороги!

Вдруг боль вонзилась в самое сердце, вырвала его, трепещущее, через бок, раздирая осколками ребер. Пальцам стало горячо и красно.

— Тащи его на Монфокон!

— На виселицу!

— Да что его тащить? Прихлопнуть эту падаль!

— Душегуб! Подонок!

— Я не подонок — я Франсуа Вийон.

Какие-то руки подхватили его, подняли высоко-высоко, к самому солнцу, так что он боялся задеть головой арку ворот Сен-Мартен, хотел наклониться, но не помнил, как это сделать, ибо тело, руки, голову несли отдельно, как в праздник «Тела господня». Наверное, и сейчас настал праздник, потому что июнь пылает желтым яблочным блеском, а по кварталу Сен-Бенуа несут «Тело господне» под балдахинем с золотыми позументами по краям. Маленький Франсуа идет за матушкой в процессии — за епископом в белоснежном облачении, священниками в белых стихарях, церковными старостами в желтых и зеленых одеждах, в венках из маойрана и белых фиалок. Запах листвы, цветов, ладана захватывает дух, из окон неподвижно спадают разноцветные полотнища, ни одно дуновение не колышет их прямые складки. Дробится солнце на пурпурных, густо-зеленых,

оранжевых и синих сколах витражей. Между четырьмя алтарями, воздвигнутыми на улицах, горят толстые восковые свечи в детских руках; пламя их поднимается прямо, очень ярко. И все вокруг желто от пламени свечей.

«Куда меня несут эти добрые люди с мягкими руками? К матушке? Конечно, вот и земляника — целый воз. Но почему ее высыпали из лукошек? Господа, осторожнее ведите лошадь, иначе ягоды скатятся на землю. Матушка, остановитесь, не спешите так! Это я, вы узнаете меня?.. Помните, я рассказывал вам, как жена узнала Улисса по шраму на колене?»

Матушка сидит на низкой скамеечке, в ногах ивовая корзина с вязаньем. Клубки шерсти выпрыгивают из корзины и катятся по ступенькам, по булыжной мостовой. Из окон высовываются соседи, выбегают из дверей, из подворотен — смеются, кричат.

— Ешьте землянику, люди.

И все едят полными пригоршнями, а земляники становится все больше — вся улица зацвела белыми цветочками в резных зеленых листьях, и вспыхивают капельки ягод. И только мать держит на морщинистой ладони ягоду, не решаясь поднести к губам. Она протягивает ее Франсуа, но почему-то отдаляется от него, хотя стоит. И все люди медленно отплывают, как на лодке, все выше поднимая лица.

— Смотрите, это же наш Франсуа!

— Школяр Вийон вернулся!

— Франсуа, спускайся скорее к нам, мы тебя ждем!

— Да, я вернулся и всем сердцем, всем сердцем приветствую вас.

ГЛАВА 23

— Я здесь, господи. А жизнь моя осталась на земле — в кабаках, на площадях, мостах и улицах Парижа, на дорогах Франции, в пыточных и у позорных столбов... Все ты отнял у меня, милосердный: старуху мать, любовь мою, друзей, обуглил горем мою душу и вот теперь сорвал яблоко моей жизни.

— Но разве не я трижды вытаскивал тебя из петли? И каждый раз ты божился начать жизнь сначала. Нет, не я обуглил горем твою душу, — ты сам, как прокаженный, осквернял заразой все, к чему прикасался, ты не признавал над собой власти ни папы римского, ни короля французов, ни божий, ни людской суд. Каждый умирает своей смертью, Франсуа: мучительной, нелепой или слишком ранней, но все равно своей — той, которую он заслужил у бога.

— Нет, ты срезал мою счастливую и горестную жизнь, как вор срезает кошелек у зазевавшегося шеголя.

— В таком случае послушай, что я тебе напомним:

— Ведь жить ты хочешь? — Мне не надоело.

— И ты раскаяшься? — Нет, время не пришло.

— Людей шальных оставь! — Во как запело!

Людей оставь... А с кем гулять?

- Опомнись! Ты себя погубишь, Тело!
- Но ведь иного нет у нас удела...
- Тогда молчу. — А мне... мне наплевать!

Ты узнаешь эти слова?

— Еще бы! «Спор сердца и тела Вийона». Эту балладу я написал в Шатле, в «Камере трех нар».

— Что же винишь меня, ведь тебе было наплевать на все — на тело, сердце, душу.

— Я мало жил...

— Достаточно, чтобы стать первым поэтом Франции. Через двадцать лет твои «Заветы» и «Завешание» наберут в типографии свинцовыми литерами, переплетут в бархат, кожу и сукно, как ты и желал. О тебе будут писать и век спустя, и два, и три... И через полтысячи лет сыщутся такие, кто станет раскапывать обломки твоей жизни, прилаживать один к другому.

— Вот это здорово! И что же скажут обо мне?

— Одни напишут, что тебя повесили на Монфоконе.

— Благодарю покорно, с меня хватит и трех раз, когда ошейник из пеньки грозил сломать мне шею. Нашли потеху — вешать школяра Вийона!

— Другие скажут, что ты переплыл моря и погиб, сражаясь с неверными в святой земле.

— Вот брехуны! Да я бы и за сто ливров не сделал шага из Парижа, если бы меня не выдернули из него, как редьку с огородной грядки.

— А третьи станут доказывать, что тебя зарезали воровские дружки.

— Зарезали, да не дружки. Теперь-то я знаю, кто меня убил, когда после стольких лет изгнания я возвращался в свой Париж, когда я уже видел ворота Сен-Мартен. Я никого не убивал, а меня убивали все: епископ Тибо д'Оссины, граф де Сен-Марен, прокурор де ля Дзор, капитан Тюска, все судейские крючки, все кредиторы, все богачи, все сержанты конной и пешей стражи, вся свора псов твоих, господи. Нет, не за то меня пытали в пыточных, что я был вор и взломщик, не за убийство священника Шермуа и нотариуса Ферребу меня гноили в подземельях, а за мои баллады. Что ж, вы все раздели меня донага, обчистили не хуже живодеров на Мэнской дороге, но, все отняв, даже ты не сможешь отнять мои стихи — они как ветер в поле, как сердцевина вяза, которую не выжечь и не вырвать из ствола. Но что же все-таки напишут про меня? Клянусь паской, хотелось бы взглянуть!

— То и напишут, что ты заслужил: как ты крал, распутничал, услужал за миску похлебки богатым, обманывал, кривил душой, льстил, завидовал, бражничал, обжирался на дармовщину...

— Прости, господи, но я не верю! Хотя, возможно, и через полтыщи лет найдутся доброты-следователи вроде Жана Матэна, подсчитают, сколько виновных бочек я опорожнил, с кем переспал,

¹ Перевод Ф. Мендельсона.

кого и впрямь обчистил с дружками, но разве я жил только, чтобы тешить плоть и набивать жратвой утробу? Я был ни плохим, ни хорошим, ни добрым, ни злым; как косточка в вишне, я врос в добро и зло, в свой век и в свой Париж, и кто разделит мою мякоть жизни?

— Я и разделю, Франсуа: черное к черному, белое к белому. Все дела твои известны мне, все помыслы, все слова, одного лишь не могу понять — зачем ты жил?

— Зачем я жил? А верно ведь, зачем я жил? Мальчишкой — чтоб хлеба досыта поесть, школяром — чтоб учиться, юнцом — чтоб меня кто-нибудь полюбил. Потом... потом я просто жил. Я испробовал ремесло переписчика, торговца образками, придворного стихоплета, бродячего жонглера, но ничего из этого не получилось. Я, словно птица, умел только одно — петь, и я пел, рассказывая людям об их и своих обидах, о нашем Париже, о том, как прекрасна любовь и как тяжело терять любимых, я рассказывал, как великолепна Франция и как жестоки ее палачи, как тяжело и холодно живет беднякам, а богачам тепло и сытно. Куда же, господи, ты сложишь все мои слова — к черному или белому? Ведь мои слова и есть мое Слово, моя молитва, моя бессмертная душа!

Господь ничего не ответил, ибо кому он мог ответить? Некому было отвечать — славная и горестная жизнь Франсуа Вийона кончилась, прошла...

1978—1981

Ли Бо
701 — 762

ПЕСНЯ О ВОСХОДЕ И ЗАХОДЕ СОЛНЦА

Из восточного залива солнце,
Как из недр земных, над миром всходит.
По небу пройдет и канет в море.
Где же пещера для шести драконов?
В древности глубокой и поныне
Солнце никогда не отдыхало,
Человек без изначальной силы
Разве может вслед идти за солнцем?
Расцветая, травы полевые
Чувствуют ли к ветру благодарность?
Деревя, свою листву роняя,
На осеннее не ропшут небо.
Кто торопит, погоняя плетью,
Зиму, осень, и весну, и лето?
Угасанье и расцвет природы
Совершаются своею волей.
О, Си Хэ, Си Хэ, возница солнца,
Расскажи нам, отчего ты тонешь
В беспредельных и бездонных водах.
И какой таинственной силой
Обладал Лу Ян? Движение солнца
Он остановил копьём воздетым.
Много их, идущих против Неба,
Власть его присвоивших бесчинно.
Я хочу смешать с землею небо,
Слить всю необъятную природу
С первозданным хаосом навеки.

ЛУНА НАД ПОГРАНИЧНЫМИ ГОРАМИ

Луна над Тянь-Шанем восходит светла,
И бел облаков океан,
И ветер принесся за тысячу ли
Сюда от заставы Юймынь.
С тех пор как китайцы пошли на Бодэн,
Врагryшет у бухты Цинхай,
И с этого поля сраженья никто
Домой не вернулся живым.
И воины мрачно глядят за рубеж —
Возврата на родину ждут,
А в женских покоях как раз в эту ночь
Бессонница, вздохи и грусть.

НА ЗАПАДНОЙ БАШНЕ В ГОРОДЕ ЦЗИНЬЛИН
ЧИТАЮ СТИХИ ПОД ЛУНОЙ

В ночной тишине Цзиньлина
Проносится свежий ветер,
Один я всхожу на башню,
Смотрю на У и на Юэ.
Облака отразились в водах
И колышут город пустынный.
Роса, как зерна жемчужин,
Под осенней луной сверкает.
Под светлой луной грущу я
И долго не возвращаюсь.
Не часто дано увидеть,
Что древний поэт сказал.
О реке говорил Се Тяо:
«Прозрачней белого шелка», —
И этой строки довольно,
Чтоб запомнить его навек.

ПРОВОЖАЯ ДО БАЛИНА ДРУГА, ДАРИЮ ЕМУ
ЭТИ СТИХИ НА ПРОЩАНИЕ

Я друга до Балина провожаю.
Потоком бурным протекает Ба,
Там на горе есть дерево большое,
Оно состарилось и не цветет.
Внизу весенняя пробилась травка,
Что ранит душу слабостью своей.
Я спрашиваю жителей окрестных:
«Куда меня дорога приведет?»
Мне отвечают: «По дороге этой
«На юге» некогда Ван Цань всходил».
Не прерываясь, тянется дорога
До города столичного Чанъань,
Садясь, тускнеет солнце над дворцами,
Плывут по небу стаи облаков.
И вот сейчас, когда прощаюсь с другом,
Разлуки место ранит душу мне.
И голос друга, «Иволгу» поющий,
Мне слушать нестерпимо тяжело.

Перевод А. Ахматовой

СМОТРЮ НА ВОДОПАД В ГОРАХ ЛУШАНЬ

За сизой дымкою вдали
Горит закат,

Гляжу на горные хребты,
На водопад.

Летит он с облачных высот
Сквозь горный лес —

И кажется: то Млечный Путь
Упал с небес.

В ГОРАХ ЛУШАНЬ СМОТРЮ НА ЮГО-ВОСТОК, НА ПИК ПЯТИ СТАРИКОВ

Смотрю на пик Пяти Стариков,
На Лушань, на юго-восток.

Он поднимается в небеса,
Как золотой цветок.

С него я видел бы все кругом
И всем любоваться мог...

Вот тут бы жить и окончить мне
Последнюю из дорог.

СТРУЯЩИЕСЯ ВОДЫ

В струящейся воде
Осенняя луна.

На южном озере
Покой и тишина.

И лотос хочет мне
Сказать о чем-то грустном,

Чтоб грустью и моя
Душа была полна.

ОДИНОКО СИЖУ В ГОРАХ ЦЗИНТИНЦАНЬ

Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,

Стремительных птиц
Улетела последняя стая.

Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,

И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.

СОСНА У ЮЖНОЙ ВЕРАНДЫ

У южной веранды
Растет молодая сосна,

Крепки ее ветви
И хвоя густая пышна.



Вершина ее
Под летящим звенит ветерком,

Звенит непрерывно,
Как музыка, ночью и днем.

В тени, на корнях,
Зеленеет, курчавится мох,

И цвет ее игл —
Словно темно-лиловый дымок.

Расти ей, красавице,
Годы расти и века,

Покамест вершиной
Она не пронзит облака.

ЛИЛОВАЯ ГЛИЦИНИЯ

Цветы лиловой дымкой обвивают
Ствол дерева, достигшего небес,

Они особо хороши весною —
И дерево украсило весь лес.

Листва укрыла птиц поющих стаю,
И ароматный легкий ветерок

Красавицу внезапно остановит,
Хотя б на миг — на самый краткий срок.

СТИХИ О ЧИСТОЙ РЕКЕ

Очищается сердце мое
Здесь, на Чистой реке;

Цвет воды ее дивной —
Иной, чем у тысячи рек.

Разрешите спросить
Про Синьянь, что течет вдалеке:

Так ли камешек каждый
Там видит на дне человек?

Отраженья людей,
Словно в зеркале светлом, видны,

Отражения птиц —
Как на ширме рисунок цветной.

И лишь крик обезьян
Вечерами, среди тишины,

Угнетает прохожих,
Бредущих под ясной луной.

РАНО УТРОМ ВЫЕЗЖАЮ ИЗ ГОРОДА БОДИ

Я покинул Боди,
Что стоит средь цветных облаков,

Проплывем по реке мы
До вечера тысячу ли.

Не успел отзвучать еще
Крик обезьян с берегов —

А уж челн миновал
Сотни гор, что темнели вдали.

НОЧЬЮ, ПРИЧАЛИВ У СКАЛЫ НЮЧЖУ, ВСПОМИНАЮ ДРЕВНЕЕ

У скалы Нючжу я оставил челн,
Ночь блистает во всей красе.

И люблюсь я лунным сияньем волн,
Только нет генерала Се.

Ведь и я бы мог стихи прочитать —
Да меня не услышит он...

И попусту ночь проходит опять,
И листья роняет клен.

ОСЕНЬЮ ПОДНИМАЮСЬ НА СЕВЕРНУЮ БАШНЮ СЕ ТЯО В СЮАНЬЧЭНЕ

Как на картине,
Громоздятся горы

И в небо лучезарное
Глядят.

И два потока
Окружают город,

И два моста,
Как радуги, висят.

Платан застыл,
От холода тоскуя,

Листва горит
Во всей своей красе.

Кто б ни взошел
На башню городскую —

Се Тяо вспомнят
Неизбежно все.

ХРАМ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

На горной вершине
Ночую в покинутом храме.

К мерцающим звездам
Могу прикоснуться рукой.

Боюсь разговаривать громко:
Земными словами

Я жителей неба
Не смею тревожить покой.

ЛЕТНИМ ДНЕМ В ГОРАХ

Так жарко мне —
Лень веером взмахнуть.

Но дотяну до ночи
Как-нибудь.

Давно я сбросил
Все свои одежды —

Сосновый ветер
Льется мне на грудь.

О ТОМ, КАК ЮАНЬ ДАНЬ-ЦЮ ЖИЛ ОТШЕЛЬНИКОМ В ГОРАХ

В восточных горах
Он выстроил дом

Крошечный —
Среди скал.

С весны он лежал
В лесу пустом

И даже днем
Не вставал.

И ручейка
Он слышал звон

И песенки
Ветерка.

Ни дразг и ни спор
Не ведал он —

И жить бы ему
Века.

НАВЕЩАЮ ОТШЕЛЬНИКА НА ГОРЕ ДАЙТЯНЬ,
НО НЕ ЗАСТАЮ ЕГО

Собаки лают,
И шумит вода,

И персики
Дождем орошены.

В лесу
Оленей встретишь иногда,

А колокол
Не слышен с вышины.

За сизой дымкой
Высится бамбук,

И водопад
Повис среди вершины.

Кто скажет мне,
Куда ушел мой друг?

У старых сосен
Я стою один.

СЛУШАЮ, КАК МОНАХ ЦЗЮАНЬ
ИЗ ШУ ИГРАЕТ НА ЛЮТНЕ

С дивной лютней
Меня навещает мой друг,

Вот с вершины Эмзя
Спускается он.

И услышал я первый
Томительный звук —

Словно дальних деревьев
Таинственный стон.

И звенел,
По камням пробегаю, ручей,

И покрытые инеем
Колокола

Мне звучали
В тумане осенних ночей...

Я, старик, не заметил,
Как ночь подошла.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

И ясному солнцу,
И светлой луне

В мире
Покоя нет.

И люди
Не могут жить в тишине,

А жить им —
Немного лет.

Гора Пэнлай
Среди вод морских

Высится,
Говорят.

Там в рощах
Нефритовых и золотых

Плоды,
Как огонь, горят.

Съешь один —
И не будешь седым,

А молодым
Навек.

Хотел бы уйти я
В небесный дым,

Измученный
Человек.

РАЗВЛЕКАЮСЬ

Я за чашей вина
Не заметил совсем темноты,

Опадая во сне,
Мне осыпали платье цветы.

Захмелевший, бреду
По луне, отраженной в потоке.

Птицы в гнезда летят,
А людей не увидишь здесь ты...

ПРОВОЖУ НОЧЬ С ДРУГОМ

Забыли мы
Про старые печали —

Сто чарок
Жажду утолят едва ли.

Ночь благосклонна
К дружеским беседам,

А при такой луне
И сон неведом,

Пока нам не покажутся,
Усталым,

Земля — постелью,
Небо — одеялом.

ПРОВОДЫ ДРУГА

Там, где Синие горы
За северной стали стеной,

Воды Белой реки
Огибают наш город с востока.

На речном берегу
Предстоит нам расстаться с тобой,

Одинокий твой парус
Умчится далёко-далёко.

Словно легкое облачко,
Ветер тебя понесет.

Для меня ты — как солнце.
Ужели же время заката?



Я рукою машу тебе —
Вот уже лодка плывет.

Конь мой жалобно ржет —
Помнит: ездил на нем ты когда-то.

ПРОЩАЮСЬ С ДРУГОМ У БЕСЕДКИ ОМОВЕНИЯ НОГ

У той дороги,
Что ведет в Гушу,

С тобою, друг,
В беседке я сижу.

Колодеи
С незапамятных времен

Здесь каменной оградой
Обнесен.

Здесь женщины,
С базара возвратясь,

Смывают с ног своих
И пыль и грязь.

Отсюда —
Коль на остров поглядишь —

Увидишь:
Белый там цветет камыш...

...Я голову
Поспешно отверну,

Чтоб ты не видел
Слез моих волну.

ПРОВОЖАЮ ДРУГА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В УЩЕЛЬЯ

Любуемся мы,
Как цветы озаряет рассвет,

И все же грустим:
Наступает разлука опять.

Здесь вместе с тобою
Немало мы прожили лет,

Но в разные стороны
Нам суждено уезжать.

Скитаясь в ущельях,
Услышишь ты крик обезьян,

Я стану в горах
Любоваться весенней луной.

Так выпьем по чарке —
Ты молод, мой друг, и не пьян:

Не зря я сравнил тебя
С вечнозеленой сосной.

ПРОВОЖАЮ ГОСТЯ, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ В У

Тихий дождик окончился.
Выпито наше вино.

И под парусом лодка твоя
По реке полетела.

Много будет тебе на пути
Испытаний дано,
А вернешься домой —
Там слоняться ты станешь без дела.

Здесь, на острове нашем,
Уже расцветают цветы,

И плакучие ивы
Листву над рекою склонили.

Без тебя мне осталось
Сидеть одному у воды

На речном перекате,
Где вместе мы рыбу удили.

БЕСЕДКА ЛАОЛАО

Здесь душу ранит
Самое название

И тем, кто провожает,
И гостям.

Но ветер,
Зная горечь расставанья,

Все не дает
Зазеленеть ветвям.

ПОСВЯЩАЮ МЭН ХАО-ЖАНЮ

Я учителя Мэн
Почитаю навек.



Будет жить его слава
Во веки веков.

С юных лет
Он карьеру презрел и отверг —

Среди сосен он спит
И среди облаков.

Он бывает
Божественно пьян под луной,

Не желая служить —
Заблудился в цветах.

Он — гора.
Мы склоняемся перед горой,

Перед ликом его —
Мы лишь пепел и прах.

**ПРОВОЖАЮ ДУ ФУ НА ВОСТОКЕ
ОКРУГА ЛУ У ГОРЫ ШЫМЫНЬ**

Мы перед разлукой
Хмельны уже несколько дней,

Не раз поднимались
По склонам до горных вершин.

Когда же мы встретимся
Снова, по воли своей,
И снова откупорим
Наш золоченый кувшин?

Осенние волны
Печальная гонит река,

Гора бирюзовою
Кажется издалика.

Нам в разные стороны
Велено ехать судьбой —

Последние кубки
Сейчас осушаем с тобой.

ПОСЫЛАЮ ДУ ФУ ИЗ ШАЦЮ

В конце концов для чего
Я прибыл, мой друг, сюда?

В безделье слоняюсь здесь,
И некому мне помочь.

Без друга и без семьи
Скучаю, как никогда,

А сосны скрипят, скрипят
По-зимнему, день и ночь.

Луское пью вино,
Но пей его хоть весь день —

Не опьяняет оно:
Слабое, милый друг.

И сердце полно тоской,
И, словно река Вэнь,

Безудержно, день и ночь,
Стремится к тебе — на юг.

ОПЛАКИВАЮ СЛАВНОГО СЮАНЬЧЭНСКОГО ВИНОДЕЛА, СТАРИКА ЦЗИ

Ты, старый друг,
Ушел в загробный мир,

Где, верно,
Гонишь ты вино опять.

Там нет Ли Бо,
И кто устроит пир?

Кому вино
Ты станешь продавать?

ДУМЫ ТИХОЙ НОЧЬЮ

У самой моей постели
Легла от луны дорожка.

А может быть, это иней? —
Я сам хорошо не знаю.

Я голову поднимаю —
Гляжу на луну в окошко,

Я голову опускаю —
И родину вспоминаю.

ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ В ЛОЯНЕ СЛЫШУ ФЛЕЙТУ

Слышу: яшмовой флейты музыка,
Окруженная темнотой,

Пролетая, как ветры вешние,
Наполняет Лоян ночной.

Слышу «Сломанных ив» мелодию,
Светом полную и весной...



Как я чувствую в этой песенке
Нашу родину — сад родной!

В СЮАНЬЧЭНЕ ЛЮБУЮСЬ ЦВЕТАМИ

Как часто я слушал
Кукушек лесных кукованье,

Теперь — в Сюаньчэне —
Гляжу на «кукушкин цветок».

А вскрикнет кукушка —
И рвется душа от страданья,

Я трижды вздыхаю
И молча гляжу на восток.

ВСПОМИНАЮ ГОРЫ ВОСТОКА

В горах Востока
Не был я давно,

Там розовых цветов
Полным-полно.

Луна вдали
Плывет над облаками,

А в чье она
Опустится окно?

ТОСКА О МУЖЕ

Уехал мой муж далеко, далеко
На белом своем коне,

И тучи песка обвывают его
В холодной чужой стране.

Как вынесу тяжкие времена?..
Мысли мои о нем,

Они все печальнее, все грустней
И горестней с каждым днем.

Летят осенние светлячки
У моего окна,

И терем от инея заблестел,
И тихо плывет луна.

Последние листья роняет утун —
Совсем обнажился сад.

И ветви под резким ветром в ночи
Качаются и трещат.

А я, одинокая, только о нем
Думаю ночи и дни.

И слезы льются из глаз моих —
Напрасно льются они.

ВЕТКА ИВЫ

Смотри, как ветви ивы
Гладят воду —

Они склоняются
Под ветерком.

Они свежи, как снег,
Среди природы

И, теплые,
Дрожат перед окном.

А там красавица
Сидит тоскливо,

Глядит на север,
На простор долин,

И вот —
Она срывает ветку ивы

И посылает — мысленно —
В Лунтин.

ОСЕННИЕ ЧУВСТВА

Сколько дней мы в разлуке,
Мой друг дорогой, —

Дикий рис уже вырос
У наших ворот.

И цикада
Смирилась с осенней порой,

Но от холода плачет
Всю ночь напролет.

Огоньки светляков
Потушила роса,

В белом инее
Ветви ползучие лоз.

Вот и я
Рукавом закрываю глаза,

Плачу, друг дорогой,
И не выплачу слез.

Перевод А. Гитовича

ПРИМЕЧАНИЯ

- С. 267 *Лу Ян* — герой древности. По преданию, когда он воевал с царством Хань, битва еще продолжалась, а солнце стало заходить, он взмахнул копьем, солнце вернулось обратно на сто ли (1 ли = 576 м).
- С. 268 *У и Юэ* — древние царства на юго-востоке страны.
Се Тяо (464—499) — знаменитый поэт, был губернатором в Сюаньчэне.
«На юге» некогда Ван Цань *всходил...* — В одном из стихотворений известный поэт Ван Цань (177—217), спасавшийся от мятежа, писал: «На юге поднимаюсь на Балинскую гору, оборачиваясь, смотрю на Чанъань».
- С. 269 *Горы Лушань* — в нынешней провинции Цзянси, знамениты своими пейзажами. Здесь в эпоху династии Тан (618—907) было много храмов, монастырей, скитов отшельников.
Пик Пяти Стариков — находится к юго-востоку от главной вершины горы Лушань.
- С. 270 *Чистая река (Цинси)* — в нынешней провинции Аньхуэй, получила название благодаря прозрачности своих вод.
Синьянь — река, также знаменитая прозрачностью вод.
Крик обезьян в китайской поэзии является символом глубокой тоски.
- С. 271 *Боди* — город на высоком берегу Янцзы, в нынешней провинции Сычуань. Поэт воспевает быстрое течение в верховьях Янцзы, в районе трех знаменитых ушей.
Скала Нючжу — на берегу Янцзы. В эпоху Южной династии Цзинь (265—419) генерал Се Шан, знаменитый «покоритель Запада», услышал, как Юань Хун, тогда еще неизвестный поэт, лунной ночью в одиночестве читал свои стихи. Генерал призвал его и похвалил стихи, чем и положил начало его известности.
- С. 272 *Юань Дань-цю* — даос-отшельник, друг Ли Бо.
- С. 274 *Покрытые инеем колокола* — Согласно легенде, на горе Фыншань было девять колоколов, которые сами начинали звучать, когда на них оседал иней.
- С. 274 *Гора Пэнлай* — даосский рай; по повериям древних китайцев, находится на острове в Восточном море.
- С. 277 *Беседка Лаолао* — буквально «Беседка удрученных», традиционное место расставания, ибо уезжающих друзей было принято провожать до этой беседки.
...не дает зазеленеть ветвям — Если бы ветви ивы зазеленели, от них, по обычаю, друзья при расставании отломали бы на память ветви, и тогда горечь разлуки была бы еще острее.

Мэн Хао-жань (689—740) — выдающийся поэт, старший друг Ли Бо.

С. 278 *Ду Фу (712—770)* — великий китайский поэт. Стихотворение написано Ли Бо при расставании с молодым Ду Фу, возвращающимся из путешествия по Шаньдуну в столицу Чанъань.

С. 279 *Лоян* — одна из двух столиц Танской империи, так называемая Восточная столица (Чанъань — Западная столица).

Омар Хайям

1048 — 1131

РУБАЙЯТ

В одном соблазне юном — чувствуй всё!
В одном напеве струнном — слушай все!
Не уходи в темнеющие дали:
Живи в короткой яркой полосе.

Пей! И в огонь весенней кутерьмы
Бросай дырявый, темный плащ Зимы.
Недлиннен путь земной. А время — птица.
У птицы — крылья... Ты у края Тьмы.

Добро и зло враждуют: мир в огне.
А что же небо? Небо — в стороне.
Проклятия и яростные гимны
Не долетают к синей вышине.

Мечтанья прах! Им места в мире нет.
А если б даже сбылся юный бред?
Что, если б выпал снег в пустыне знойной?
Час или два лучей — и снега нет!

Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь... А пешки? — мы с тобой.
Подвигают, притиснут — и побили.
И в темный ящик сунут на покой.

Мир с пегой клячей можно бы сравнить,
А этот всадник, — кем он может быть?
«Ни в день, ни в ночь, — он ни во что не верит!»
— А где же силы он берет, чтоб жить?

Без хмеля и улыбок — что за жизнь?
Без сладких звуков флейты — что за жизнь?
Все, что на солнце видишь, — стоит мало.
Но на пиру в огнях светла и жизнь!

Кто в чаше Жизни капелькой блеснет —
Ты или я? Блеснет и пропадет...
А виночерпий Жизни — миллионы
Лучистых брызг и пролил и прольет...

Там, в голубом небесном фонаре, —
Пылает солнце: золото в костре!
А здесь, внизу, — на серой занавеске —
Проходят тени в призрачной игре.

На блестку дней, зажатую в руке,
Не купишь Тайны где-то вдалеке.
А тут — и ложь на волосок от Правды,
И жизнь твоя — сама на волоске.

Хоть превзойдешь наставников умом, —
Останешься блаженным простаком.
Наш ум, как воду, льют во все кувшины.
Его, как дым, гоняют ветерком.

Мгновеньями Он виден, чаше скрыт.
За нашей жизнью пристально следит.
Бог нашей драмой коротает вечность!
Сам сочиняет, ставит и глядит.

Хотя стройнее тополя мой стан,
Хотя и щеки — огненный тюльпан,
Но для чего художник своенравный
Ввел тень мою в свой пестрый балаган?

Дар своевольно отнятый — к чему?
Мелькнувший призрак радости — к чему?
Потухший блеск и самый пышный кубок,
Расколотый и брошенный, — к чему?

В венце из звезд велик Творец Земли! —
Не истощить, не перечесть ядали
Лучистых тайн — за пазухой у Неба
И темных сил — в карманах у Земли!

Один припев у Мудрости моей:
«Жизнь коротка, — так дай же волю ей!
Умно бывает подстригать деревья,
Но обкорнать себя — куда глупей!»



Что мне блаженства райские — «потом»?
Прошу сейчас, наличными, вином...
В кредит — не верю! И на что мне Слава:
Под самым ухом — барабанный гром?!

Живи, безумец!.. Трать, пока богат!
Ведь ты же сам — не драгоценный клад.
И не мечтай — не сговорятся воры
Тебя из гроба вытащить назад.

Вино не только друг. Вино — мудрец:
С ним разнотолкам, ересям — конец!
Вино — алхимик: превращает разом
В пыль золотую жизненный свинец.

Вина! — Другого я и не прошу.
Любви! — Другого я и не прошу.
«А небеса дадут тебе прощение?»
Не предлагают, — я и не прошу.

В словах Корана многое умно,
Но учит той же мудрости вино.
На каждом кубке жизненная пропись:
«Прильни устами — и увидишь дно!»

Ты опьянел — и радуйся, Хайям!
Ты победил — и радуйся, Хайям!
Придет Ничто — прикончит эти бредни...
Еще ты жив — и радуйся, Хайям.

Для раненой любви вина готовь!
Мускатного и алого, как кровь.
Залей пожар, бессонный, затаенный,
И в струнный шелк запутай душу вновь.

В том не любовь, кто буйством не томим,
В том хворостинок отсырелых дым.
Любовь — костер, пылающий, бессонный...
Влюбленный ранен. Он — неисцелим!

Все ароматы жадно я вдыхал,
Пил все лучи. А женщин всех желал.
Что жизнь? — Ручей земной блеснул на солнце
И где-то в черной трещине пропал.

Над розой — дымка, вьющаяся ткань,
Бежавшей ночи трепетная дань...
Над розой щек — кольцо волос душистых...
Но взор блеснул. На губках солнце... Встань!

Вплетен мой пыл вот в эти завитки.
Вот эти губы — розы лепестки.
В вине — румянец щек. А эти серьги —
Уколы совести моей: они легки...

В учености — ни смысла, ни границ.
Откроет больше тайны взмах ресниц.
Пей! Книга Жизни кончится печально.
Укрась вином мелькание страниц!

Я у вина — что ива у ручья:
Поит мой корень пенная струя.
Так бог судил! О чем-нибудь он думал?
И брось я пить — его подвел бы я!

Взгляни и слушай... Роза, ветерок,
Гимн соловья, на облачко намек...
— Пей! Все исчезло: роза, трель и тучка,
Развеял все неслышный ветерок.

Подвижники изнемогли от дум.
А тайны те же сушат мудрый ум.
Нам, неучам, сок винограда свежий,
А им, великим, — высохший изюм!

Прах мудрецов — уныл, мой юный друг.
Развеяна их жизнь, мой юный друг.
«Но нам звучат их гордые уроки!»
А это ветер слов, мой юный друг.

«Не пей, Хайям!» Ну, как им объяснить,
Что в темноте я не согласен жить!
А блеск вина и взор лукавый милой —
Вот два блестящих повода, чтоб пить!

Ты — воин с сетью: уловляя сердца!
Кувшин вина — и в тень у деревца.
Ручей поет: «Умрешь и станешь глиной.
Дан ненадолго лунный блеск лица».

Любовь вначале — ласкова всегда.
В воспоминаньях — ласкова всегда.
А любишь — боль! И с жадностью друг друга
Терзаем мы и мучаем — всегда.

Мне говорят: «Хайям, не пей вина!»
А как же быть? Лишь пьяному слышна
Речь гнацинта нежная тюльпану,
Которой мне не говорит она.

Шиповник алый нежен? Ты — нежней.
Китайский идол пышен? Ты — пышней.
Слаб шахматный король пред королевой?
Но я, глупец, перед тобой слабей!

Любви несем мы жизнь — последний дар!
Над сердцем близко занесен удар.
Но и за миг до гибели — дай губы,
О, сладостная чаша нежных чар!

До шек ее добраться — нежных роз?
Сначала в сердце тысячи заноз!
Так гребень: в зубья мелкие изрежут,
Чтоб слаще плавал в роскоши волос!

Пока хоть искры ветер не унес, —
Воспламеняй ее весельем лоз!
Пока хоть тень осталась прежней силы, —
Распутывай узлы душистых кос!

«Наш мир — аллея молодая роз,
Хор соловьев и болтовня стрекоз.
А осенью? «Безмолвие и звезды,
И мрак твоих распушенных волос...»

В небесном кубке — хмель воздушных роз.
Разбей стекло тшеславно-мелких грез!
К чему тревоги, почести, мечтанья?
Звон тихий струн... и нежный шелк волос...

«Стихий — четыре. Чувств как будто пять,
И сто загадок». Стоит ли считать?
Сыграй на лютне — говор лютни сладок:
В нем ветер жизни — мастер опьянять...

Рубин огромный солнца засиял
В моем вине: заря! Возьми сандал:
Один кусок — певучей лютней сделай,
Другой — зажги, чтоб мир благоухал.

Как мир хорош, как свеж огонь денниц!
И нет Творца, пред кем упасть бы ниц.
Но розы льнут, восторгом манят губы...
Не трогай лютни: будем слушать птиц.

Сегодня оргия, — с моей женой,
Бесплодной дочкой Мудрости пустой,
Я развожусь! Друзья, и я в восторге,
И я женюсь на дочке лоз простой...

Я снова молод. Алое вино,
Дай радости душе! А заодно
Дай горечи и терпкой, и душистой...
Жизнь — горькое и пьяное вино!

Не видели Венера и Луна
Земного блеска сладостней вина.
Продать вино?! Хотя золото и веско, —
Ошибка бедных продавцов ясна.

Сковал нам руки темный обруч дней —
Дней без вина, без помыслов о ней...
Скупое время и за них взимает
Всю цену полных, настоящих дней!

Жил пьяница. Вина кувшинов семь
В него влезало. Так казалось всем.
И сам он был — пустой кувшин из глины...
На днях разбился... Вдребезги! Совсем!

Я стар. Любовь моя к тебе — дурман.
С утра вином из фиников я пьян.
Где роза дней? Ошипана жестоко.
Унижен я любовью, жизнью пьян!

Пируй! Опять настройшься на лад.
Что забегать вперед или назад! —
На празднике свободы тесен разум:
Он — наш тюремный будничный халат.



На тайну жизни — где хотя б намек?
В ночных скитаньях — где хоть огонек?
Под колесом, в неугасимой пытке
Сгорают души. Где же хоть дымок?

Дни — волны рек в минутном серебре,
Пески пустыни в тающей игре.
Живи Сегодня. А Вчера и Завтра
Не так нужны в земном календаре.

Что жизнь? Базар... Там друга не ищи.
Что жизнь? Ушиб... Лекарства не ищи.
Сам не меняйся. Людям улыбайся.
Но у людей улыбок — не ищи.

Друзей поменьше! Сам день ото дня
Туши пустые искорки огня.
А руку жмешь, — всегда подумай молча:
«Ох, замахнутся ею на меня!..»

Как жутко звездной ночью! Сам не свой,
Дрожишь, затерян в бездне мировой,
А звезды в буйном головокруженье,
Несутся мимо, в вечность, по кривой...

Осенний дождь посеял капли в сад.
Взошли цветы. Пестреют и горят.
Но в чашу лилий брызны алым хмелем —
Как синий дым, магнолий аромат...

Гнев розы: «Как, меня — царицу роз —
Возьмет торгош и жар душистых слез
Из сердца выжжет злою болью?!» Тайна!
Пой, соловей! «День смеха — годы слез».

Смеялась роза: «Милый ветерок
Сорвал мой шелк, раскрыл мой кошелек,
И всю казну тычинок золотую,
Смотрите, — вольно кинул на песок».

Что алый мак? Кровь брызнула струей
Из ран султана, взятого землей.
А в гиацинте — из земли пробился
И вновь завился локон молодой.

Завел я грядку Мудрости в саду.
Ее лелеял, поливал — и жду...
Подходит жатва, а из грядки голос:
«Дождем пришла и ветерком уйду».

Я спрашиваю: «Чем я обладал?
Что впереди?..» Метался, бушевал...
А станешь прахом, и промолвят люди:
«Пожар короткий где-то отпылал».

— Что песня, кубки, ласки без тепла?
— Игрушки, мусор детского угла.
— А что молитвы, подвиги и жертвы?
— Сожженная и дряхлая зола.

Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть...

«Не станет нас». А миру — хоть бы что!
«Исчезнет след». А миру — хоть бы что!
Нас не было, а он сиял и будет!
Исчезнем мы... А миру — хоть бы что!

Ночь. Брызги звезд. И все они летят,
Как лепестки Сиянья, в темный сад.
Но сад мой пуст! А брызги золотые
Очнулись в кубке... Сладостно кипят.

Что там, за ветхой занавеской Тьмы?
В гаданиях запутались умы.
Когда же с треском рухнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы.

«Из края в край мы к смерти держим путь.
Из края смерти нам не повернуть».
Смотри же: в здешнем караван-сарае
Своей любви случайно не забудь!

«Предстанет Смерть и скосит наяву
Безмолвных дней увядшую траву...»
Кувшин из праха моего слепите:
Я освежусь вином — и оживу.

Гончар. Кругом в базарный день шумят...
Он топчет глину, целый день подряд.
А та угасшим голосом лепечет:
«Брат, пожалей, помнись — ты мой брат!..»

Сосуд из глины влагой разволнуй:
Услышишь лепет губ, не только струй.
Чей это прах? Целую край — и вздрогнул:
Почудилось — мне отдан поцелуй.

Нет гончара. Один я в мастерской.
Две тысячи кувшинов предо мной.
И шепчутся: «Предстанем незнакомцу
На миг толпой разряженной людской».

Кем эта ваза нежная была?
Вдыхателем! Печальна и светла.
А ручки вазы? Гибкою рукою:
Она, как прежде, шею обвила.

Над зеркалом ручья дрожит цветок;
В нем женский прах: знакомый стебелек.
Не мни тюльпанов зелени прибрежной:
И в них — румянец нежный и упрек...

Сияли зори людям — и до нас!
Текли дугою звезды — и до нас!
В комочке праха сером, под ногою
Ты раздавил сиявший юный глаз.

Прощалась капля с морем — вся в слезах!
Смеялось вольно Море — все в лучах!
«Взлетай на небо, упадай на землю, —
Конец один: опять — в моих волнах».

Бог — в жилах дней. Вся жизнь — Его игра.
Из ртути он — живого серебра.
Блеснет луной, засеребрится рыбкой...
Он — гибкий весь, и смерть — Его игра.

Светает. Гаснут поздние огни.
Зажглись надежды. Так всегда, все дни!
А свечерее — вновь зажгутся свечи,
И гаснут в сердце поздние огни.

Вовлечь бы в тайный заговор Любовь!
Обнять весь мир, поднять к тебе, Любовь!
Чтоб, с высоты упавший, мир разбился,
Чтоб из обломков лучшим стал он вновь!

Вообрази себя столпом наук,
Старайся вбить, чтоб зацепиться, крюк
В провалы двух пучин — Вчера и Завтра...
А лучше — пей! Не трать пустых потуг.

Влек и меня ученых ореол.
Я смолоду их слушал, споры вел,
Сидел у них... Но той же самой дверью
Я выходил, которой и вошел.

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбой:
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истерся. Надо бы другой...

Внимание, странник! Ненадежна даль,
Из рук змеится огненная сталь.
И сладостью обманно-горькой манит
Из-за ограды ласковый миндаль.

О, если бы в пустыне просиял
Живой родник и влагой засверкал!
Как смятая трава, приподнимаясь,
Упавший путник ожил бы, привстал.

«Вперед! Там солнца яркие снопы!»
«А где дорога?» — слышно из толпы.
«Нашел... найду...» — Но прозвучит тревогой
Последний крик: «Темно, и ни тропы!»

Где цвет деревьев? Блеск весенних роз?
Дней семицветный кубок кто унес?..
Но у воды, в садах, еще есть зелень...
Прожгли рубины одяянья лоз...

На самый край засеянных полей!
Туда, где в ветре тишина степей!
Там, перед троном золотой пустыни
Рабам, султану — всем дышать вольней!

Ты нагрешил, запутался, Хайям?
Не докучай слезами Небесам.
Будь искренним! А смерти жди спокойно:
Там — или Бездна, или Жалость к нам!

Холм над моей могилой, — даже он! —
Вином душистым будет напоен.
И подойдет поближе путник поздний
И отойдет невольно, опьянен.

Как месяц, звезды радуя кругом,
Гостей обходит кравчий за столом.
Нет среди них меня! И на мгновенье
Пустую чашу опрокинь вверх дном.

Наполнить камешками океан
Хотят святоши. Безнадежный план!
Пугают адом, соблазняют раем...
А где гонцы из этих дальних стран?

Не правда ль, странно? — сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор
И ни один оттуда не вернулся.
Все б рассказал — и кончен был бы спор!

«Я побывал на самом дне глубин.
Взлетал к Сатурну. Нет таких кручин,
Таких сетей, чтоб я не мог распутать...»
Есть! Темный узел смерти. Он один!

Перевод И. Тхоржевского

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трешит мороз — я вижу розы мая,
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отопреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
Кому презренье, а кому почёт.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю,
Я ночью бодр, а сплю я только днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не ведам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
Я знаю, что полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

БАЛЛАДА ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ
ДЕВУШКАМ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Швея Мари, в твои года
Я тоже обольщала всех.

Куда старухе? Никуда.
А у тебя такой успех.
Таши ты и хрыча и шкета,
Таши блондина и брюнета,
Таши и этого и тех.
Ведь быстро песенка допета,
Ты будешь как пустой орех,
Как эта стертая монета.

Колбасница, ты хоть куда,
Колбасный цех, сапожный цех —
Беги туда, беги сюда,
Чтоб сразу всех и без помех!
Но не зевай, покуда лето,
Никем старуха не согрета,
Ни ласки ей и ни утех,
Она лежит одна, отпета,
Как без вина прокисший мех,
Как эта стертая монета.

Ты, булочница, молода,
Ты говоришь — тебе не спех,
А прозеваешь — и тогда
Уж ни прорух и ни прорех,
И ни подарков, ни букета,
Ни кожи жаркой, ни рассвета,
Ни поцелуев, ни потех,
И ни привета, ни ответа,
А позовешь — так смех и грех,
Как эта стертая монета.

Девчонки, мне теперь не смех,
Старуха даром разодела,
Она как прошлогодний снег,
Как эта стертая монета.

ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ

Ответьте горю моему,
Моей тоске, моей тревоге.
Взгляните: я не на дому,
Не в кабаке, не на дороге
И не в гостях, а здесь — в остроге.
Ответьте, баловни побед,
Танцор, искусник и поэт,
Ловкач лихой, фигляр хваленый,
Нарядных дам блестящий цвет,
Оставьте ль вы здесь Вийона?

Не спрашивайте, почему,
К нему не будьте слишком строги,
Сума кому, тюрьма кому,
Кому роскошные чертоги.

Он здесь валяется, убогий,
Постится, будто дал обет,
Не бок бараний на обед,
Одна вода да хлеб соленый,
И сена на подстилку нет.
Оставьте ль вы здесь Вийона?

Скорей сюда, в его тюрьму!
Он умоляет о подмоге,
Вы неподвластны никому,
Вы господа себе и боги.
Смотрите — вытянул он ноги,
В лохмотья жалкие одет.
Умрет — вздохнете вы в ответ
И вспомните про время оно,
Но здесь, средь нищеты и бед,
Оставьте ль вы здесь Вийона?

Живей, друзья минувших лет!
Пусть свиньи вам дадут совет,
Ведь, слыша поросенка стоны,
Они за ним бегут вослед.
Оставьте ль вы здесь Вийона?

БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот.
Смеемся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
Лентяй один не знает лени,
На помощь только враг придет,
И постоянство лишь в измене.
Кто крепко спит, тот стережет,
Дурак нам истину несет,
Труды для нас — одна забава,
Всего на свете горше мед,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

СПОР МЕЖДУ ВИЙОНОМ И ЕГО ДУШОЮ

— Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты?
— Твоя душа. Я не могла стерпеть.
Подумай над собою. — Неохота.
— Взгляни, подобно псу, — где хлеб, где плоть,
Не можешь ты ни жить, ни умереть.
— А отчего? — Тебя безумье охватило.
— Что хочешь ты? — Найди былые силы.
Опомнись, изменись. — Я изменюсь.
— Когда? — Когда-нибудь. — Коль так, мой милый,
Я промолчу. — А я, я обойдусь.

— Тебе уж тридцать лет. — Мне не до счета.
 — А что ты сделал? Будь умнее впредь.
 Познай! — Познал я все, и оттого-то
 Я ничего не знаю. Ты заметь,
 Что нелегко отпетому запеть.
 — Душа твоя тебя предупредила.
 Но кто тебя спасет? Ответь. — Могила.
 Когда умру, пожалуй, примирюсь.
 — Поторопись. — Ты зря ко мне спешила.
 — Я промолчу. — А я, я обойдусь.
 — Мне страшно за тебя. — Оставь свои заботы.
 — Ты — господин себе. — Куда себя мне деть?
 — Вся жизнь — твоя. — Ни четверти, ни сотой.
 — Ты в силах изменить. — Есть воск и медь.
 — Взлететь ты можешь. — Нет, могу истлеть.
 — Ты лучше, чем ты есть. — Оставь кадило.
 — Взгляни на небеса. — Зачем? Я отвернусь.
 — Ученье есть. — Но ты не научила.
 — Я промолчу. — А я, я обойдусь.
 — Ты хочешь жить? — Не знаю. Это было.
 — Опомнись! — Я не жду, не помню, не боюсь.
 — Ты можешь все. — Мне все давно постыло.
 — Я промолчу. — А я, я обойдусь.

РОНДО

Того ты упокой навек,
 Кому послал ты столько бед,
 Кто супа не имел в обед,
 Охапки сена на ночлег,
 Как репа, гол, разут, раздет —
 Того ты упокой навек!
 Уж кто его не бил, не сек?
 Судьба дала по шее, нет,
 Еще дает — так тридцать лет.
 Кто жил похуже всех калек —
 Того ты упокой навек!

ЭПИТАФИЯ, НАПИСАННАЯ ВИЙОНОМ ДЛЯ НЕГО И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ В ОЖИДАНИИ ВИСЕЛИЦЫ

Ты жив, прохожий. Погляди на нас.
 Тебя мы ждем не первую неделю.
 Глади — мы выставлены напоказ.
 Нас было пятеро. Мы жить хотели.
 И нас повесили. Мы почернели.
 Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
 Не вздумай осуждать — безумны люди.
 Мы ничего не возразим в ответ.
 Взглянул и помолился, а бог рассудит.

Дожди нас били, ветер тряс и тряс,
 Нас солнце жгло, белили нас метели.
 Летали вороны — у нас нет глаз.
 Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели.

Ты посмотри — от глаз остались щели.
Развеет ветер нас. Исчезнет след.
Ты осторожней нас живи. Пусть будет
Твой путь другим. Но помни наш совет:
Взглянул и помолился, а бог рассудит.

Господь простит — мы знали много бед.
А ты запомни — слишком много судей.
Ты можешь жить — перед тобою свет,
Взглянул и помолился, а бог рассудит.

БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-щегоольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю — у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю — нет им дела до тебя,
Я знаю все затрешины, все плюхи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю — проведут тебя простухи,
Я знаю — пропадешь с такой, любя,
Я знаю — пропадают с голодухи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя.

ЭПИТАФИЯ

В сей горнице стрелой ужасной,
Любви стрелой навек сражен,
Покойно спит школяр несчастный
По имени Вийон.

БАЛЛАДА О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажите, где они, в какой стране
Таис и Флоры сладостные тени?
И где принявшая венец в огне
Святая девственница — дщерь Лоррени?
Где нимфа Эхо, чей напев весенний
Порой тревожил речки тихий брег,
Чья красота была всех совершенней?
Но где же он — где прошлогодний снег?
Где Берта и Алиса — где оне?
О них мои томительные песни.
Где дама, плакавшая в тишине,
Что Буридана утопили в Сене?
О где оне, подобны легкой пене?
Где Элоиза, из-за коей век
Окончил Пьер под схимой отречений?
Но где же он — где прошлогодний снег?

Я королеву Бланш узрю ль во сне?
По песням равная былой сирене,
Что запевала на морской волне,
В каком краю она — каких пленений?
Еще спрошу о сладостной Елене.
О, дева дев, кто их расцвет пресек?
И где оне, владычица видений?
Но где же он — где прошлогодний снег?

Принц, все проходит мимо в быстрой смене,
Но пусть припев сей прозвучит навек
Тшетой припоминаний и томлений:
Но где же он — где прошлогодний снег?

БАЛЛАДА, КОТОРУЮ ВИЙОН НАПИСАЛ СВОЕЙ МАТЕРИ, ЧТОБЫ ОНА ПРОСЛАВЛЯЛА БОГОРОДИЦУ

Небесная царица и земная,
Хранительница преисподних врат
И госпожа заоблачного края,
Прими убогую в твой райский сад,
Где дети славословят и кадят.
Я, грешная, жила не так, как надо,
Я, нерадивая, прошу пощады,
Грехов изведала я злую сеть,
Но ныне к деве обращаю взгляды —
Хочу в сей вере жить и умереть.

Ты сыну своему скажи — темна я,
Чтоб он не оттолкнул меня назад.
Так Магдалину принял он, прощая,
Да и монаха, что грешил стократ.
Продавши черту душу, выпив яд
Всей дьявольской науки и улады,

Простил он, добрый пастырь злого стада.
Заступница, моли его и впредь,
Ты лилия невидимого сада.
Хочу в сей вере жить и умереть.

Я женщина убогая, простая.
Читать не знаю я. Меня страшат
На монастырских стенах куши рая,
Где блещут арфы, и под раем ад,
Где черти нечестивцев кипятят.
Сколь радостно в раю, сколь страшно ада
Среди костров, и холода, и глада!
К тебе должны бежать и восхотеть
Твоих молений и твоей ограды.
Хочу в сей вере жить и умереть.

Ты, Матерь Божия, — печаль и страда!
Твой сын оставил ангелов усладу,
За нас он принял крест, и бич, и плеть.
Таков он и в такого верить рада,
Хочу в сей вере жить и умереть.

**ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, СЛОЖЕННОЕ ВИЙОНОМ,
КОГДА ОН БЫЛ ПРИГОВОРЕН К СМЕРТИ**

Я Франсуа — чему не рад! —
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Перевод И. Эренбурга

СОДЕРЖАНИЕ

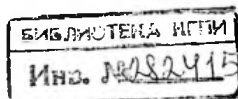
Б. Окуджава
Вместо предисловия
5

ПУТНИК СО СВЕЧОЙ*
9

ЗАПАХ ШИПОВНИКА
91

БАЛЛАДА СУДЬБЫ
173

Приложение
267



Вардван Варткесович Варжапетян
ПУТНИК СО СВЕЧОЙ

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Н. В. Дишкловская*
Художник *А. Г. Антонов*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Э. В. Ежова*

ИБ № 1487. Сдано в набор 11.09.86. Подписано к печати 4.05.87. А02501. Формат 60 × 90¹/₁₆. Бум. офс. № 1-70 г. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 38,0. Уч.-изд. л. 20,98. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4243. Заказ 1568. Цена в бумвиниле 1 р. 70 к., в колленкоре 1 р. 90 к.

Издательство «Кинга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Варжапетян В. В.
В Путник со свечой. — М.: Книга, 1987. — 304 с. —
(Писатели о писателях).

Книга посвящена трем поэтам «Путник со свечой» — повесть, давшая название всей книге, рассказывает о великом китайском поэте VIII в. Ли Бо. «Запах шиповника» знакомит с судьбой знаменитого поэта Древнего Востока Омара Хайяма. Творчество Франсуа Вийона, французского поэта XV в., его жизнь, история его произведений раскрыты в повести «Баллада судьбы».

Внутреннее единство судеб поэтов, их мужественная способность противостоять обстоятельствам во имя высоких идеалов, соединило три повести в одну книгу.

В 4702010200-045 72-87
002(01)-87

